

 **АЛЕКСАНДР
ПРОХАНОВ**



Война с Востока

Александр Проханов

**Война с Востока. Книга
об афганском походе**

«ИТРК»

Проханов А. А.

Война с Востока. Книга об афганском походе / А. А. Проханов — «ИТРК»,

В старину ставили храмы на полях сражений в память о героях и мучениках, отдавших за Родину жизнь. На Куликовом, на Бородинском, на Прохоровском белеют воинские русские церкви. Эта книга – храм, поставленный во славу русским войскам, прошедшим Афганский поход, с воевавшим войну в Чечне. Я писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов – офицеры и солдаты России, а вместо коней и нимбов – бэтээры, и танки, и кровавое зарево горящих Кабула и Грозного.

© Проханов А. А.

© ИТРК

Содержание

ДВОРЕЦ	5
Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	17
Глава четвертая	24
Глава пятая	27
Глава шестая	33
Глава седьмая	39
Глава восьмая	44
Глава девятая	49
Глава десятая	54
Часть вторая	65
Глава одиннадцатая	65
Глава двенадцатая	71
Глава тринадцатая	80
Часть третья	87
Глава четырнадцатая	87
Глава пятнадцатая	91
Глава шестнадцатая	94
Глава семнадцатая	96
Глава восемнадцатая	99
Глава девятнадцатая	102
Глава двадцатая	104
Глава двадцать первая	111
Глава двадцать вторая	115
Часть четвертая	118
Глава двадцать третья	118
Глава двадцать четвертая	123
Глава двадцать пятая	125
Глава двадцать шестая	128
Глава двадцать седьмая	132
СОН О КАБУЛЕ	136
Часть первая	136
Глава первая	136
Глава вторая	151
Конец ознакомительного фрагмента.	155

Александр Проханов

Война с востока. Книга об афганском походе

ДВОРЕЦ

Роман

Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?
Иеремия, гл. 4, ст. 21

Часть первая

Глава первая

Иногда, в редкие минуты одиночества и покоя, он пытался представить, откуда, из какой глубины возникла его душа. Из какого невнятного мерцающего тумана она всплыла в жизнь. По крохотным пылинкам памяти, по мимолетным корпускулам света он восстанавливал момент своего появления. Цеплялся за младенческие хрупкие образы, вслушивался в слабые отголоски, стремился различить, уловить ту черту, за которой из туманного, неразличимого целого возникло отдельное, осязаемое, чувствующее – он сам. Перебирая воспоминания, удаляясь в прошлое, в юность, в детство, он словно уносился вспять на тончайшем световом луче, врывался в дымное непроглядное облако, из которого вышел. Сверкающая бесконечность чудилась ему за этой мглой и туманом. Туда, в это необъятное сверкание, пройдя сквозь сумрак, вернется его душа.

Танки в пустыне, скрежет песка и железа. Корма зарывается в белый горячий бархан. Прыгать с брони в раскаленное пекло, в песчаную жижу и бежать, хватая губами прозрачный огонь. Солдат, как ящерица, вьется на склоне, сволакивает на себя лавину песка. От подошвы в глаза – колющие брызги. И в броске, в кувырке, ослепнув от солнца, бить очередями в небо, в бархан, в белый жидкий песок.

Все это там, вдалеке, в азиатском гарнизоне, где надывается его батальон – водит машины, дырявит мишени, ведет рукопашный бой, вяжет из слег штурмовые лестницы. В казармах, в ружейных комнатах, – запах пота и смазки, тусклый блеск остывающего после пустыни оружия.

А здесь – мягкая тьма уютной московской квартиры, тихий шелест ночных машин, сочный свет фонарей, старомодных, как зонтичные соцветия. Безлистые деревья бульвара, окаймленные чугунной решеткой. И она, хозяйка этого дома, синеватого окна, картины в старинной раме, мохнатого густого ковра, бронзовых безделушек на столике, – она наклонилась над ним, сыплет ему на лицо щекочущие душистые волосы, шепчет:

– А вот так меня видишь?... А вот так слышишь?...

Калмыков лежал не отвечая, чувствуя на себе ее тяжесть, лениво и сладостно думал: в этом доме, малознакомом, со множеством таинственных мелочей, загадочных вещей и предметов, он счастливо отделен от тревог и опасностей, освобожден от угрюмых забот, больших мыслей, грозных и жестоких предчувствий.

– Когда я тебя первый раз увидела в музее, меня удивило, как ты смотришь картины. Ты медленно издалека приближался, словно картина тебя засасывала, ты как бы уходил в картину, растворялся в ней. Вот-вот исчезнешь, превратишься в того прохожего, который идет по мокрой дороге в Аверне, и мимо тебя, отражаясь в лужах, катит двуколка. Или окажешься среди красноватых камней на козьей тропе, где девочка танцует на шаре, и сидит на жаре атлет, и пасется белая лошадь. Или войдешь в хоровод, в красный бешеный круг, и тебя охватят неистовые танцоры. Когда я тебя увидела, я пошла за тобой по залам. Подглядывала, удивлялась...

Он закрыл глаза: тут зеленый луг, сине-стальной от росы, и по травам, сминая их пятками, несутся танцоры, красное запущенное колесо, голошение, удары ног, выпуклые раскаленные мускулы. Зелень луга бледнела, наполнялась злой желтизной, рыжим сыпучим песком. Солдаты скребли руками барханы, падали и катились, а на них проливался вялый язык песка. Спецназ хороводил в пустыне, и он, комбат, облизывал шершавые губы, выдувал из них, как из газовой горелки, прозрачный огонь.

– Ты полежи, подреми, я тебя усыплю, убаюкаю...

Он лежал на спине, закрыв глаза, чувствуя приближение ее руки, как набегающую, чуть слышную волну тепла. Пальцы осторожно коснулись лба, проникли в глубь волос, медленно заскользили. Он слышал шелест ее пальцев, словно с них ссыпалось легчайшее электричество. Казалось, пальцы ее разбинтовывают его голову, разматывают виток за витком жесткий бинт, и он освобождается от тревожных видений.

«Шилка», четырехствольная установка, ведет огонь по горе. В вечернем воздухе – ливень пламени. И там, где он касается дальнего склона, – месиво стали, гранита, дыма. Снаряды вырывают нишу в горе, заталкивают в нее непрерывные взрывы.

И это видение исчезло с витком бинта, ее пальцы скользят по лбу, шелестят в волосах.

«Миги», как крохотные осколки стекла, пикируют на позиции. Космы вялого дыма, подземный грохот и гул. Солдат-новобранец поднимает к небу потное худое лицо, ищет в слепящем свете разящий укол самолета.

И это отпало с витком повязки. Ее осторожные пальцы отклеивают от воспаленного лба сухую коросту пустыни, фольгу звенящих небес, крестик пикирующего самолета.

Хрип рукопашного боя. Кувырки и удары. Еканье селезенки.

Сержант, оскалив желтые зубы, с выдохом бьет по запястью солдата, выбивает штык-нож. Тяжелое лезвие, проблестев, ударяет в стену казармы, уходит со стуком в белую сухую доску. И это сняла, отмотала витком бинта. Лоб, освобожденный от спекшейся марли, чувствует прохладу и свежесть, близкое тепло ее пальцев.

– Ты мой милый, любимый...

Он дремал, как под наркозом. Думал, грезил, и мысли, подобно туману, таяли над тихой темной водой, где округлые листья кувшинки, сочный желтый цветок, легкая рябь водомерки.

Он приехал в отпуск в Москву, где прошло его детство. Перед этим все лето и осень рыскал по туркестанским пескам, по гарнизонам в пустыне. Формировал батальон, специальную секретную часть, выполняя приказ командования. Перегонял на платформах технику, отбирал на складах оружие и сразу бросал на учения. Ревели на танкодромах моторы, грохотали стрельбища, солдаты в марш-бросках падали от тепловых ударов.

Батальон спецназа выстраивался для проверок. Генералы, сменяя друг друга, всматривались в лица солдат. В разведцентре под листом плексигласа пестрела карта Кабула. И он, Калмыков, вчитывался в названия улиц. Майванд, Дарульамман, Шари-Нау.

Батальону предстояло задание. Его цели и смысл были скрыты в кабинетах Генштаба, составляли тайну политиков. Он, комбат, был орудием в неясной игре. Гонял по директрисам машины, изнурил батальон в марш-бросках. Расходовал тройные нормы боекомплектов. Чувствовал – приближается грозное, задуманное кем-то деяние, где его батальону отведена опасная роль.

Но теперь, приехав на краткий отпуск в Москву, в солнечно-туманное предзимье, он старался забыть о пустыне. Ходил в театры, наслаждаясь не только спектаклями, но и зрелищем золочено-сумрачных лож, хрустальных ослепительных люстр. На улицах он ловил выражения лиц, вчитывался в названия с детства памятных улиц. В консерватории бархатный рев органа создавал из звуков великолепные громады, напоминая звучащие горы. Картины, которые он видел на выставках, складывались ночью в разноцветные сны, где возникали забытые и уже не существующие подворья, убранство исчезнувших комнат, образы умерших родителей. Несколько дней назад он познакомился с этой женщиной в утреннем полупустом музее. В бледном солнце, драгоценные, висели картины. Алый, в неистовом плясе мчался и топтал хоровод.

Теперь он лежал утомленный, счастливый, слышал шелесты ее пальцев. И она говорила:

– Все эти дни смотрю на тебя, слушаю, стараюсь понять. Что знаю о тебе? Ты военный, занят непонятным мне ремеслом, наверное, очень трудным, опасным. Я всегда почему-то сто-

ронились военных. А тебя не боюсь. Знаешь, у тебя как бы два лица. Одно очень мягкое, доброе, даже беззащитное, обращено на меня. А другое жесткое, даже жестокое, которое обращено на что-то непонятное мне, страшное. Иногда ты робкий и наивный, как ребенок, а иногда, как суровый старик. Ничего, что я тебе это сказала? Я тебя не обидела?

Ее пальцы чуть касались его лба. Казалось, с них падают капли пота, проникают в глубины памяти, освещают забытые, затаенные уголки. Каждая беззвучная капля освещала малое пространство минувшего. Оно озарялось и гасло.

Бабушкин столик из красного дерева, открытый томик Евангелия, бабушкины очки. Она сама где-то рядом, ее белые, гладко причесанные волосы, торопливая легкая поступь.

Открытая форточка, и в дрожащей студеной синеве – звон переулка, запах снега, крики мальчишек. Он разложил на полу книги из отцовской библиотеки. На старинных цветных литографиях – индийские пагоды, турецкие минареты, островерхая германская готика. Влекущий загадочный мир, в который можно умчаться, превратившись в солнечный лучик и скользнув в голубую форточку.

Его детские санки, наборные цветные дощечки. Из-под полозьев золотые дорожки. Мама тянет бечеву, и он, закутанный в шубу, перепоясанный шарфом, будто впервые прозрел и увидел, – голубоватый снег переулка, золотые песчинки от санок, материнская узорная варежка.

Ее пальцы касались лба, и их продолжением были невесомые лучи, проникавшие в сумрачную глубину памяти, озарявшие потаенные уголки.

– Ты лежи, дреми... А я еще одну твою морщинку расправлю...

Он дремал – не дремал. Удивлялся – она и впрямь угадала его. Его два лица, его двойственность, будто он проживал две отдельные жизни, две несопоставимые судьбы. Одна – военная, явная, грозная фатальная сила,двигающая государствами, армиями, толкала его в угрюмое неизбежное будущее. Другая – неясная, касавшаяся его одного, из тончайших невинных энергий, из прозрений, предчувствий, бессловесных ночных молитв, вымаливающих недостижимое счастье.

– Мы так мало знаем друг друга, – говорила она. – Поссоримся из-за какого-то пустяка, расстанемся и больше не вспомним. Забудем друг друга. Или наоборот, мелочь за мелочью, пустячок за пустячком, сблизимся, привыкнем друг к другу, станем неразлучны. Мы ведь себя испытываем, присматриваемся друг к другу. Давай все эти дни будем вместе. Я поведу тебя к моим друзьям, может быть, ты с ними тоже подружишься. Поведу тебя по улочкам, переулочкам, покажу мои любимые особнячки и церквушки, может, ты их тоже полюбишь. Почитаю тебе мои любимые стихи, вдруг они тебе понравятся. И когда ты узнаешь меня и ничего тебе во мне не будет чуждо, я тебе что-то скажу, в чем-то признаюсь. Не сейчас, а через месяц, когда уже выпадет снег и на бульваре, напротив, будет стоять большая елка в огнях!..

Он верил – не верил в этот предстоящий чудесный месяц, где короткие холодные дни, студеной камень домов, зябкие деревья бульвара. Бархатный, смуглый сумрак ее теплой, уютной комнаты. Рюмки с красным вином, на скатерти розовая капля. Белый снегопад за окном, мягкие ровные хлопья окружают огни фонарей. Они выходят на бульвар. Елка черным конусом в ветряных хлопушках и флагах, в мигании разноцветных точек. Они идут по бульвару, оглядываются – елка мерцает, искрится. Особняки и колонны, вихри пролетных машин. И пройдя весь длинный, черно-белый бульвар, выйдут к реке. Кремль, как розовое парящее диво, золотые глазницы соборов, и на льдистой воде маленький стучащий кораблик.

Ему казалось возможным одоление фатальных сил, уход из реальности, толкающей мир в катастрофу. Казалась возможной другая, сокровенная жизнь, где будет их дом и семья, новорожденный млечный ребенок. Все было доступным, возможным. Нужно только дремать, слушать шелесты ее пальцев, ловить капли света, падающие в сонную память.

Капля – и золотое колечко с бриллиантом на маминой белой руке.

Капля – и веточка тополя на подоконнике в бутылке с водой.

Капля – и цветной черепок в крапиве на влажной грядке.

– Я недавно получила письмо, анонимное, какая-то пророчица пишет. Что будет беда, со мной, с тобой, со всеми. Будет война, и нас спялят и разрушат. И мор, когда все умрут от голода и от страшных болезней. И другая напасть, когда все перессорятся, возненавидят друг друга, ополчатся один на другого. Такие письма подбрасывают, многие их получают. Что-то ужасное ходит рядом, заглядывает в каждый дом, высматривает себе добычу. Будет несчастье, не знаю какое, но будет!..

Ее ладони лежали у него на груди. Они задрожали, и ему показалось, что она плачет. Он испытал к ней нежность. Еще недавно незнакомая и чужая, она за эти дни стала близкой, родной. Он протянул к ней руки, обнял, прижал:

– Не тревожься... Все будет у нас хорошо...

Он прижался к ней плотно, тесно. Слышал ее дыхание, биение сердца. Чувствовал – невидимая угрюмая сила стремится их разлучить, слепая могучая воля отрывает их друг от друга. Острый железный вектор, как громадный гарпун, нацелен сквозь них, и там, куда смотрит кованое острие, действует его батальон. Зарывается в сухие барханы. Катит под туманными звездами. Рассылает во тьму огненные брызги трассеров. Там, за линией гор, Иран стенает, казнит и молит. Пенят волны залива громады авианосцев. На красной метле взмывает ночной штурмовик. Там, в афганских ущельях, начинается смута, горят кишлаки, бунтуют полки и дивизии. Граница страны дрожит, как мембрана, выгибается, готова прорваться. Кабул среди снежных предгорий, голубые главки мечетей, голошенье рынков и торжищ. Туда, в этот город, нацелен отточенный вектор, мчатся пункты трассеров, стремится ночной батальон.

Калмыков не хотел разлучаться. Она казалась ему воплощением той самой желанной жизни, от которой каждый раз его отлучали. Он целовал ее. Губы, хрупкие с ложбинкой ключицы, теплые тугие соски. Тьма разгоралась. Туманно бродили огни. Мигали и гасли пункты... Он бежал, задыхаясь, на гору, на скользкий слепящий склон, и там, на вершине, бело-снежный, возник дворец, огромный, парящий, качался, струился, как облако, и канул. Пустота. Дыра в мироздании, окруженная мерцающей пылью... Они лежали, не касаясь друг друга, и были слышны стуки часов.

Резко зазвонил телефон. Еще и еще. Она встала, шурша босыми ногами, подошла, сняла трубку.

– Тебя, – удивленно сказала она. – Разве ты давал телефон? Чувствуя стопами жесткий ворс ковра, он подошел к аппарату.

– Подполковник Калмыков?... Оперативный дежурный... Вас срочно в управление Генштаба...

Глянцевитый блеск аппарата. Она стоит у окна, белая на темном стекле, там, где через месяц на снежном бульваре зажжется разноцветная елка.

Глава вторая

В детстве, во время болезней, его преследовал бред. Открывалось пространство, узкий, уходящий вдаль коридор. Гонимый страхом, он бежит по этому коридору. На сводах багровые отсветы, черные тени. Он стремится вырваться из-под давящих сводов, протиснуться сквозь узкие стены в следующее спасительное пространство. Но оно оказывается продолжением коридора, еще более узкое, душное. В ужасе и тоске он продвигается по бесконечному сужающемуся коридору туда, где ждет его липкое, красное, бесформенное месиво, готовое его поглотить.

Позднее, когда детские болезни кончились, этот бред прекратился, будто заросла и сомкнулась скважина, соединяющая его с источником бреда. Пропало черно-красное месиво, что было подобием магмы, кипящего в преисподней огня. Он не знал, какая за этим скрывалась

реальность. Быть может, так проявлялась незабытая младенческая память, связь с утробной материнской жизнью, где склеивалась и лепилась его нерожденная плоть. Тогда, до рождения, в его создаваемое существо вносилось множество черт и признаков: материнские переживания, события окружающего его мира, влияние планет, вспышки солнечных бурь – все вторгалось в его нерожденную личность, застывало в линиях жизни.

В зрелые годы, пытаясь объяснить повороты своей судьбы, свои поступки и действия, он находил эти объяснения в видимых причинах и побуждениях. Но тайно догадывался – за внешними побуждениями кроется глубинная, запечатленная в нем судьба, незримый, оттиснутый в душе отпечаток. Все его концы и начала кроются в черно-красном кипятке, в том тигле, где в ужасе и горении выплавлялось его бытие. Танковая директриса в предгорьях резала ржавые склоны. «Боевая машина десантников» выносилась из мокрой ложбины, брызгала грязью, хватала гусеницами склон. Двигалась вверх, выталкивая из кормы синеватые дуги копоты. Грохот мотора стихал, волнисто исчезал за горой, становилось тихо и пусто. Но вновь в ложбине начинало звенеть и жужжать. В брызгах воды и грязи, заостренная, похожая на топор, возникала машина. Царапала, резала гору. Сквозь гарь и песок мелькала башня, белый заляпанный номер, торчащий из люка шлем.

Калмыков стоял с командиром первой роты Грязновым. Машины повзводно выстроились у старта, пыхали дымками. Механики-водители выставили из люков смуглые лица. Ротный, в бушлате, с хронометром, хрипло выдыхал «Вперед!». Солдат на старте взмахивал флагом, и заостренный брусок «бээмдэ» срывался с места, стремительно врезался в трассу.

– Командир! – Грязнов повернул к Калмыкову толстоскулое, с приплюснутым носом лицо, на котором у глаз белели тонкие, не засвеченные солнцем морщинки. – Отпусти меня на троечку дней домой! Мать письмо прислала – местное начальство, суки, пол-огорода отрезали! Пригнали трактор и прямо по угол смели! Мать, вдова, труженица, горбила на них всю жизнь, а они, суки, вместо «спасибо» тракторами ее давят! На троечку дней отпусти. Слетаю, разберусь с ними, суками!

Грязнов щурил злые глаза, белые морщинки смыкались, и лицо его становилось глиняно-шершавым, жестоким. А потом тяжелые скулы его опадали, вокруг глаз расползались белые трещинки, и лицо становилось несчастным.

– Куда я тебя отпускаю! – ответил Калмыков. – Не сегодня-завтра выступаем. На каких огородах тебя искать?

– Дураки, наглецы мы, вот кто! Куда суемся в чужой бардак! У себя порядок навести не умеем, разные суки жить мешают! А мы, мать твою, чужих спасать лезем. Кто бы нас спас!

Хронометр блеснул в заскорузлом кулаке Грязнова. Дергалась на белом циферблате стрелка. Боевые машины напряженно застыли на старте. И комбат, вглядываясь в раздраженное лицо ротного, испытал к нему сострадание, благодарность. Немолодой, нелюбезный, застрявший на должности ротного, без протекций, из «крестьянских сынов», Грязнов тянул свою лямку добросовестно, безотказно. Выполнял нескончаемую черновую работу, превращая случайно собранное множество людей и машин в отлаженную боевую единицу.

– Сделаем дело, вернемся, слетаешь к матери. С дураками разберешься, – сказал Калмыков. – Давай запускай экипаж!

«Бээмдэ» с башенным номером «32», осторожно стуча гусеницами, подкатила на стартовый рубеж. Из люка, из-под пушки, выглядывало худое лицо механика-водителя в ребристом шлеме. Узкие глаза тревожно, чутко смотрели на офицеров.

– Пройдем по маршруту! – сказал Калмыков. Шлепнул ладонями по броне, ухватился за скобу, взметнулся на машину, устраиваясь в командирском люке. Грязнов повторил его движение, взлет, втиснул ноги в люк водителя, и тот, сжавшись, нырнул в глубину.

– Вперед! – гаркнул ротный, нажимая кнопку хронометра. Машина взвыла, пошла. Ветер туго надавил на грудь Калмыкова, теплая вонь солярки затуманила прищуренные, шарящие по предгорьям глаза.

Машина урчала, ныряла в ухабы, подрезала склон, виляла кормой у каменных выступов. Сыпался мелкий хрустящий гравий, поднималась известковая пыль, плескала черная, как нефть, грязь. Калмыков слушал вой двигателя, чувствовал под броней узкоплечее тело водителя, его движения, сжатие мускулов, дрожание зрачков, на которое откликалась машина, выкручивалась на поворотах.

Думал, как скажется это наспех, в надрыве приобретенное умение в том близком и грозном походе, уготованном батальону. По каким городам и селениям пройдет боевая машина, вдоль каких кишлаков и дувалов.

И вдруг мимолетно, как о чем-то неправдоподобном, подумал: где-то существует Москва, блестят на зеркальном столике снятые колечки и бусы, он видит, как в зеркале отражаются ее поднятые белые локти, слетающая сорочка, легкие розоватые искры осыпаются с ее поднятых рук.

– Черт, левее бери! – заорал водителю ротный. – Сковырнешься, дурила хренов!

Машина схватила стальными лапами россыпь гравия, соскребла его, съехала вместе с каменной оползью. Вгрызалась в рыхлый, перемолотый солнцем и ветром склон, колотила по нему, пыталась подняться, а ее стягивало, сдвигало вместе с камнепадом, тащило в близкий туманный провал, где глубоко внизу мерцала струйка реки и, как цветные горошины, пасся табун.

– Ты, чумичка, левее бери!.. Не газуй!.. С натягом, с натягом! – орал ротный, нависая над люком, где худое, порывистое тело водителя боролось с рычагами, с мотором, с зыбкой отекавшей горой.

Калмыков пугался близкой пропасти, куца засасывалась боевая машина, представлял, как стальной ребристый короб, перевертываясь, ударяясь о кручу, станет рушиться в туманный провал и они расплющатся вместе с железной оболочкой, превратятся в копотный взрыв. Калмыков чувствовал панику водителя, его неверные ошибочные движения, старался с брони послать ему токи своей воли, укрепить его мускулы, наделить своим зрением, направить его взгляд вверх по склону, где кончалась рыхлая осыпь и выступала гранитная порода.

– Уйди, гад! – Ротный плюхнулся сверху в люк на хрупкие плечи водителя, ломая, сминая, выдавливая его прочь с сиденья. Наложил ручищи на управление, шмякнул тяжелые стопы на педали. Рывками, взнуздывая машину, исторгая из нее рев, дым, стенание, заставил ее медленно, одолевая сползающий склон, выбраться на твердую трассу. Вышвыривая из-под гусениц вихри гравия, звеня металлом, «бээмдэ» прошла гору, завершила маршрут. Солдат на финише махнул кумачовым флагом.

– Ничего, Хаснутдинов, бывает! – Ротный ободрял механика-водителя, бледного, растерянного, с прокусанной губой. – Там место хреновое, сыпучее! Подработаешь трассу, все будет тип-топ!

Он легонько ударил солдата в плечо своей сильной рукой. Удар был ласкающий, укреплял в солдате пошатнувшуюся волю, уязвленную гордость:

– Все будет тип-топ, Хаснутдинов! Когда отошли с Калмыковым, сказал:

– Вчера он письмо получил, невеста замуж вышла. Хотел повеситься. Солдаты ремень отняли... Хрен знает куда отправляемся, а без нас сытые коты наших жен, невест трахать будут, матерей из домов повыгоняют!.. Ненавижу этих сук, котов сытых!..

В детстве в Москве он жил в каменном, сумрачном доме с высокими лестницами, с тяжелыми отшлифованными перилами. Когда возвращался домой, каждый раз он испытывал ужас, открывая парадную дверь. У спуска в подвал, куда уводили замусоренные сырые ступени и не

достигал свет, там копился сырой зеленоватый мрак, присутствовало множество глаз, странных тел, косматых голов, изогнутых клювов и когтей. Мрак был населен чудищами, злыми уродами, отвратительными карликами, которые вылезали навстречу, когда он входил в подъезд. Он кидался вверх, мчался по лестнице что есть мочи, одолевая первый, самый страшный пролет. Успокаивался на втором этаже, радуясь, что и на этот раз избежал гибели, тут же забывая о пережитом страхе.

С годами этот детский кошмар исчез. Он спускался в подвал, где был лишь мусор, тлен, сырое зловоние и не было таинственных жутких существ, созданных его воображением.

Впоследствии, вспоминая об этом, он объяснил эти видения древней памятью, когда его пращуры жили в чащобах и дебрях, страшились криков в ночи, темных омутов и гнилых коряг, светящихся во тьме головешек. Их мир, населенный зловещими духами, достался ему по наследству, проник в его детские страхи, поселился на время в подвале московского дома.

Вторая рота совершала марш-бросок по пустыне. Солдаты в полной выкладке, бугрясь рюкзаками, подсумками, бежали неровной цепью. Отталкивались подошвами от горячих круч, зарывались в едкую пыль, печатали следы на белой ослепительной глади такыра, проваливались в вонючую грязь.

Бежали, задыхаясь, липкие от пота, с солеными брызгами на лице, в потеках зловонной жижи.

Калмыков бежал рядом с ротным, капитаном Расуловым. Слышал, как тонко, со свистом вылетает воздух из его сиреневых, сжатых трубочкой губ. Лицо капитана, тонкое, смуглое, побледневшие крылья носа, липкие синеватые усы, мокрым лаком проведенные черные брови. Автоматное дуло вниз. Звяк о флягу. Открытая шея и грудь в блестящей росе.

– После таких бросков, говорю, никакая женщина тебе не нужна!.. – Расулов скосил на Калмыкова выпуклый лиловый глаз. – Вот она, твоя женщина, – пустыня, гора и болото!..

Он сказал это на выдохе, с легким посвистом, шмякая башмаками в липкую горячую глину. Несколько капель грязи попали на лицо Калмыкова, обожгли воспаленную кожу.

Капитан был любимец офицеров, шутник, гитарист, волокита. Был лучший стрелок в батальоне. Сорил деньгами, любил сразу нескольких женщин, имел в Дагестане знатную родню, был вспыльчив и добр. Тяготился изнурительным долгим учением. Стремился в настоящее дело.

– Как козлы скачем!.. Чего тянем?... Мы спецназ или спортсмены?... Я в батальон пошел, думал, воевать будем, а мы все играем!..

– Скоро конец игре!.. – Калмыков продыхнул сквозь тугие удары сердца горячее скопление воздуха. – Скоро приказ на погрузку!..

Они бежали рядом, худой, гибкий Расулов, упруго бивший стопой, и уже тяжелеющий Калмыков, чувствующий мускулами притяжение земли, каждый раз толчками ног, бурным вдохом и выдохом одолевающий ее гравитацию.

– Не сегодня-завтра на выход!..

Они замедлили бег, пропускали мимо обгонявших солдат, всматривались в набегавшие лица.

Упруго, косолапо, на полусогнутых пробежал казах, маленький, широкоскулый. Капли пота блестели, как оспины. Желтые зубы оскалены. Сквозь них сиплый хрип. Локти работают. Подсумок бьется о ляжку. Зло, по-рысьи взглянул на офицеров, прокосолапил вперед, одолевая подъем.

Следом, выпятив грудь, отведя горбоносую голову на тонкой шее, проскакал узбек. Кадык бурно ходил на горле. Топорщились колючие усики. По бледному сквозь загар лицу была размазана слюна. Из носа выбивался липкий пузырь. Он фыркнул, пробегая наклонился, сморкнулся, сбросив мокроту на горячий песок.

Прапорщик-туркмен, полнеющий, с округло-сдобным лицом, тряс щеками, екал, как конь. Автомат стволом вниз оттягивал ремень, и он, скосив голову, почесал воспаленную щеку о приклад автомата.

«Мусульманский батальон», собранный им, Калмыковым, по туркестанским полкам и бригадам, заканчивал подготовку в пустыне. Приближалось время похода за мутную рыжую реку, в другую страну. Калмыков всматривался в потные лица солдат, словно старался запомнить.

– Сегодня вечером Роза-татарка к себе приглашает!.. Командир, приходи!.. – Расулов фамильярно приглашал Калмыкова, уравненный с ним этим бегом, потом и грязью. – Вина попьем!.. Новую песню спою!.. Розка на картах нам погадает!.. Она ведь колдунья, Розка!..

Калмыков пробежал по белой, в кристалликах солнца глади такыра, пробуя соль до черной бурлящей воды. Вдруг подумал: она, его женщина, идет по бульвару в неярком московском солнце, среди московской толпы, и мысли ее – не о нем, туманная улыбочка ее – не о нем, не на нем останавливаются ее зеленые, влажные, под золотистыми бровями глаза, не к нему обращен ее легкий смешок, не он идет следом за ее шелковым струящимся платьем в слабом дуновении ее духов, и она знать не знает, что он, потный, грязный, сжимает ствол автомата, проваливается в зловонный сероводородный рассол.

Они пропустили мимо маленького худого таджика. Он задышался, ковылял, хватался за живот. Тяжелый рюкзак горбился на спине. Автомат валился с плеча. Он жалобно, страдальчески оглянулся на офицеров, что-то проскулил, промычал и рухнул.

Лежал, сучил ногами, корчился. Рюкзак мешал ему перевернуться на спину. Он поджимал к животу колени, хватался за грудь, словно старался ее разодрать.

– Ты что, Амиров? – подскочил к нему капитан. – Перегрелся, что ли? Водички попьешь?

Солдат, бледный, с выпученными глазами, драл себе грудь, и изо рта его сквозь ядовитую зеленую пену высовывался синий дрожащий язык.

– погоди, Амиров!.. – поворачивал его лицом к земле капитан. – А ну давай, блевани!

Он засунул в рот солдата два пальца. Солдат, облегчившись, отвалился на рюкзак, ловил губами воздух.

Ротный отстегнул у солдата фляжку, отвинтил пробку, ополоснул свои грязные пальцы. Поднес флягу солдату. Тот пил благодарно, беспомощно хлопал глазами, как больной птенец.

– Эй! – Расулов остановил пробежавшего мимо сержанта. – Возьми у Амирова вещмешок и оружие. Топай с ним потихоньку к машинам...

Они снова бежали рядом, комбат и ротный, под мглистым душным небом пустыни. Ротный говорил на бегу:

– Может, наркотика нажевался... Пена зеленая... А может, сдох на маршруте!.. Сегодня вечером приходи, командир!.. Новую песню спою!..

Это были ослепительные утра, детские его пробуждения, когда первый утренний вздох, первое влечение зрачков к янтарной желтизне за окном, к коврику с шерстяными красными маками, бабушкины шаги у дверей, стук фарфоровых чашек, звяк серебряных ложечек порождали в нем беспредельное ликование и счастье. Каждая клеточка его проснувшегося тела росла, выталкивалась в мир чудной счастливой силой, хотела стать всем – морозной синевой, красными маками, воробыным щебетом в открытой стеклянно дрожащей форточке. Он был абсолютно уверен – мир ждал его пробуждения, торопился награждать бесконечными развлечениями, беспредельной любовью.

Эти ликующие утра длились год или два, были самым драгоценным, что он вынес и запомнил из детства. В эти мгновения он поглощал витавшие в мире любовь, красоту, доброту. Копил их в душе на всю остальную жизнь. Он так и не понял, из какого источника они ему доставались, быть может, прямо из янтарного зимнего солнца или из бабушкиных маков,

из серебра бабушкиных гладко причесанных волос. Эти детские впечатления, уже истаяв, уже позабытые, все еще охраняли его среди многотрудных будней. Удерживали от жестокости, от несправедливых поступков и мыслей, не давали злу управлять его волей.

Те янтарные утра, его белая рубашка в зайчиках света, его голая, попавшая в луч нога, перламутровые пылинки, летающие в дивном луче.

Третья рота двигалась к стрельбищу. «Бэтээры» колонной мягко пылили в холмах. Рыжие бугры, опущенные сгоревшими травами, казались притихшими большими животными. Их кожаные шерстяные бока едва заметно дышали.

Калмыков вместе с ротным Барановым сидел на головном «бэтээре». Десант облегал броню, нахлобучил брезентовые капюшоны, ошетинился стволами.

За спиной Калмыкова, ухватившись за раструб пулемета, сидел гранатометчик, здоровенный плечистый солдат. На его курносом лице под глазом багровел, синел, начинал отливаться желтизной огромный кровоподтек. Гранатометчик заслонялся от ветра плечом, и глаз его с лопнувшим сосудом дико мерцал под капюшоном.

– Ну что, Дериба, на цепь тебя посадить, как волкодава? – Ротный оглядывался на гранатометчика, объясняя Калмыкову происхождение синяка. – Ушел в самоволку в поселок, с узбеками подрался, кому руку, кому ногу сломал, а себе на рожу печатку добыл, знак качества!.. На цепь тебя посадить, как бульдога? – Ротный ворчал на солдата, а тот виновато морщился, отводил подбитый глаз, чем-то и впрямь напоминал провинившуюся собаку. – Я ему говорю: «Ты, Дериба, лучше гирию качай, или окоп отрой, или кросс пробег, если из тебя сила прет. А меченый ты мне не нужен! Куда нас с тобой готовят, там меченый не нужен. Там нужно неприметным остаться. А ты вон вывеску на рожу повесил!»

«Бэтээр» колыхался, нырял в седловины, взлетал на округлые вершины холмов. Осенняя белесо-желтая степь казалась нежной, живой, как чуткое большое животное, кротко взиравшее на людей.

– Не знаю, как другие, командир, а я служить не отказываюсь! – продолжал Баранов, приближая к комбату свое плоское конопатое лицо. – Это Грязнов все ноет: «Куда нас толкают, в какую дыру?» Про какие-то огороды талдычит! А я служить не отказываюсь. Сказали: «Иди!» – и иду. Не для этого погоны надел, чтобы спрашивать. А на огородах пусть бабы работают!

Баранов был посредственным офицером. Его рота занимала последнее место по стрельбе и вождению. То и дело случалось ЧП. Вот и теперь на стрельбы не вышли два «бэтээра», остались в ремонте, в парке. Калмыков недолюбливал капитана за вечные его разглагольствования, за неспособность наладить дело, но уже не было времени его менять, батальон завершал подготовку, и все офицеры, солдаты и прапорщики были незаменимым составом, на который возлагалась задача.

– Чтоб к вечеру закончил ремонт, вывел машины из парка! – резко сказал Калмыков. – Там, куда посылают, запчастей не найдешь! А у Грязнова на ходу все машины!

Калмыков чувствовал бедром прохладу стальной скобы, острую кромку люка. Его мысли, заботы были о батальоне. О моторах, стволах, о показателях стрельбы и вождения. Люди, боевые машины, оружие, продовольствие были готовы к броску. Покинут тренировочный центр, погрузятся на самолеты, двинутся в неизвестность, в азиатскую, наполненную смутой страну. Там, в этой смуте, среди войны и восстания, предстояло действовать батальону. И все невнятной, слабей становилось воспоминание о Москве, о свидании с женщиной. Забывались ее черты, звук ее голоса. Станным, неудобным для губ становилось ее имя.

Та крохотная церковь в переулке среди каменных высоких теснин, куда они зашли ненадолго. Священник, старый, дряхлый, в мятном золоте, похожий на полуосыпавшуюся новогоднюю елку. Дрожащие огоньки, струйки сладкого дыма. Туманная лампада. Его милая стоит

перед высоким светильником, на котором трепещет, отекает воском множество свечей. Поднимает пальцы ко лбу, и он видит, как прозрачно, розово просвечивают ее пальцы. И такая в нем нежность и боль, такое робкое к ней обожание – к ее шепчущим губам, влажным глазам, тонким просвечивающим пальцам.

– Эй, гляди!.. Коза, коза!.. – Баранов привскочил на броне, указывал в степь, тыкал туда черным измазанным пальцем. – Дави ее, водила, дави! – кричал он в люк, толкая ногой водителя.

По холму, словно родившись из мягкой желтизны, отделившись от волнистых шелковых покровов, бежала коза. Легкая, грациозная, складывала под острым углом ноги, выбрасывала вперед стрелчатые копыта. Замирала на мгновение, оглядывалась и снова бежала прочь от железного звука моторов.

Калмыков испугался, увидев козу, ее женственность и хрупкость. Словно она возникла из его воспоминаний, была мгновенным воплощением его нежности и тревоги.

– Гранатометчик!.. Дериба!.. Влупи!.. Сто метров!.. Под обрез!.. Ну, лупи!..

Гранатометчик развернулся могучим телом, вел трубой, подымая литое плечо. Сжимал у прицела кровавый глаз. Ахнуло горячим тугим ударом. С брони метнулся узкий жгут дыма, удаляющаяся пульсирующая головня. И там, где была коза, грохнул плоский зазубренный взрыв, чвакнуло красное пламя. Животное билось на склоне, вытягивая и подгибая ноги, а вокруг нее горела трава.

– А ну, водила, вперед!..

«Бэтээр» круто пошел на склон. Приблизился к месту взрыва. Коза, с выданным боком, красно-лиловыми кишками, умирала среди горящей травы. Глаза ее в ужасе и мольбе смотрели на стальной транспортер. Маленький рот был открыт, и в нем дрожал, словно что-то пытался вымолвить, розовый язык. Рожки светились, как две зажженные свечи.

– Добей ее, Дериба!..

Солдаты весело, дружно соскакивали, обступали козу. Гранатометчик, могучий и цепкий, гордый своим метким выстрелом, вытаскивал десантный нож.

– Мясо роте на жратву!.. – командовал капитан. – Ляжки офицерам на шашлык!..

Калмыков отвернулся. Слышал, как хрустит рассекаемая лезвием плоть. Как пахнет горелой травой, паленой шерстью, парной кровью.

В детстве в их доме был письменный стол. Дедовский, тяжелый, со множеством углов, с теплым запахом коричневого старого дерева. Стол был уставлен множеством безделушек, статуэток, отливок из бронзы, подсвечников и чернильниц. Среди этих предметов был шар из зеленого литого стекла, в которое был запаян то ли разноцветный паук, то ли морской скорпион, – чешуйки красного, желтого, переливы лазури и зелени. Он приближал глаза к тяжелой холодной сфере, и в ней при слабом повороте зрачков возникало свечение, красноватые искры, волшебные лучи и разводы. Он наслаждался этим световым волшебством, с которым навеки связалось ощущение детства, дом, деревянные, с плетеными спинками стулья, продолговатые ворсистые подушки, буфет с узорными дверцами. В этом доме, он помнит, появлялись шумные, говорливые люди, курили, смеялись, расхаживали по комнатам, хватали его, ребенка, сажали себе на колени, тискали, щекотали. Но осталась память в зрачках. Тончайшее сплетение лучей, золотые и красные искры. Если случалось их повторение – в рюмке с красным вином, в фонаре с разноцветными стеклами, на утренней капле росы, – память мгновенно откликалась на этот цвет. Возникало ощущение дома, запах старинного дерева, блюда и вазы в буфете, и кто-то сильный, веселый хватает его на бегу, подбрасывает к потолку, к хрустальным подвескам люстры, и ему страшно и сладко в полете.

Четвертая рота окапывалась, рыла траншеи. Долбила, рыхлила красную землю предгорий. Калмыков с командиром роты капитаном Беляевым укрылся в тень у пыльных гусениц «Шилки», четырехствольной самоходной зенитки.

Комбат сидел на корточках, касался ладонями шершавой теплой почвы, смотрел, как бегут мимо его пальцев черные муравьи, поблескивают на хитине крохотные точки солнца. Ему казалось странным присутствие здесь другой, непознаваемой муравьиной жизни, ничем не связанной с жизнью явившихся в предгорья людей. Она – эта жизнь – не была связана с тяжелой сталью гусениц, зловонием солярки, косноязычным матом солдат, долбивших капониры.

– У меня, командир, взводный рапорт подал, по состоянию здоровья. Просит о переводе в Ташкент. У него там папа – большая шишка. Не хочет с нами на спецзадание. А во второй роте, я знаю, замполит рапорт пишет, тоже боится лететь. У него мохнатая лапа в политуправлении, рапорт ему подпишет. Почуяли, крысы, дыру в днище и бегут!

Калмыков испытывал неприязнь к Беляеву, к его жирному, воспаленному лицу, покрытому капельками сального пота, к редким белесым волосам, сквозь которые розовел влажный череп. Старался не выдать своей неприязни. Смотрел, как цепочкой, огибая его ладонь, бегут муравьи, проносят на головах ртутные капельки света.

– У меня лапы мохнатой нет, мне отступать некуда! Приказали: «Лети!» – и лечу. А эти крысы забегали!

– Правильно рассуждаешь, – рассеянно отозвался Калмыков, думая о крохотных загадочных существах, зачехленных в хрупкие вороненные оболочки. – Нам-то зачем убежать! Не за этим в разведку шли!

– У меня геморрой. Иной раз так обострится, сесть не могу! А тут на броню скачи, маршбросок беги, окоп долби! Хоть бы раз в медсанбат обратился!

– Это здесь у тебя геморрой обостряется. А там все пройдет. Там климат другой, высотные отметки другие. Вернешься домой, начнешь проверяться – ба! Да где же ты, миленький? Нету! Рассосался!

Калмыков не любил Беляева. Видел, что тот боится, хочет увильнуть от задания. Быть может, уже заготовил рапорт. Ротный был ленив, нерадив. В батальоне ходили слухи, что Беляев нечист на руку, вместе с прапорщиком торгует на стороне ротным продовольствием и горючим.

– Я думаю, если за границу уходим, значит, зарплата в валюте? Или чеки, как в Йемене или Анголе? Там ведь не учения – война! Могли бы и чеки платить!

– Зачем тебе чеки, Беляев! Боевой орден получишь. Просверлишь в кителе дырочку.

– Или дырку во лбу!

Калмыков смотрел на бегущих муравьев, словно их создавали на невидимом конвейере, и они, одинаковые, неслись в одну сторону по незримой линии... Калмыков вместе с пушками, «бэтэрами», множеством яростных сильных людей был нацелен к другой невидимой цели. Их движения и пересекались в туркестанских предгорьях, были внесены в загадочный, недоступный пониманию чертеж.

– Меня в батальон зачисляли, спрашивали: «Будешь служить?» Я сказал – буду! И теперь говорю: «Служить буду!» Пусть другие бегут, как крысы. А мы послужим.

Калмыков затылком слышал слабое излучение брони. Ладонями чувствовал твердую шершавую землю. Следил зрачками за бегом муравьев. И в памяти его возникало, светилось, теплилось недавнее, связанное с Москвой, – чей-то милый и нежный образ. Словно из темных вод поднималось донное свечение, приближалось к поверхности. Посветило и кануло, погасло в темных глубинах.

Из-за кормы орудия выбежал растрепанный, в расстегнутой рубаше солдат. Он задыхался, захлебывался, указывал перепачканными худыми руками:

– Они Хакимова быют!.. Землю есть заставляют!.. Говорят: «Ешь землю, а то уьем ночью!..»

Калмыков и Беляев выскочили, обогнули тупую, с растворенным нутром корму зенитки. Увидели – на дне капонира, среди брошенных ломов и лопат, стояла кучка солдат. Здоровенный узбек, засучив рукава, хлопал по сильной ладони выпуклой пряжкой ремня. Другие солдаты с ремнями в руках окружили щуплого, стоящего на коленях солдата. Тот плакал, затравленно озирался, водил голыми худыми лопатками. На бледной коже багровело два жирных рубца. Лицо солдата дрожало, губы бессловесно шевелились. Он заслонялся от своих мучителей острыми приподнятыми локтями.

– Ешь землю! – хрипел над ним узбек. – Ешь, падла! Забью, как суку вонючую!

Солдатик схватил трясущимися руками горсть красноватой земли. Рыдая, вода позвонками, ожидая ударов, стал жевать землю, давился, выплевывал, снова жевал.

– Отставить! – Калмыков с воющим, сорвавшимся на клекот криком прыгнул в капонир, расшвырял стоящих солдат. – Отставить, вам говорю!

Он вырвал у узбека ремень, с силой толкнул его крепкое, упругое тело:

– Под трибунал пойдешь!.. В штрафбат!..

– А мы и так в штрафбате!.. – смело, не пугаясь, ответил узбек. – Нас люди смертниками называют, товарищ подполковник! Нам все равно погибать!

– Заткнись, Шарипов! – Беляев расшвыривал в стороны полуголых солдат. – Что происходит?

– Он, товарищ капитан, сачкует! – объяснил ротному маленький узкоглазый крепыш, весело и жестоко поглядывая на худосочное, в слезах, в красноватой глине лицо солдатика. – Ишачить на него не хотим! С ним жить в казарме нельзя! Он ночью ссыт под себя, воняет, как собака!

– Нюхатик хренов! – оборвал его ротный. – Соляркой нос натри и нюхай!.. А ты, Хакимов, – обратился капитан к плачущему солдатику, – почему позволяешь над собой издеваться? Почему не придешь к замполиту?

Хакимов сгорбился, размазывал по губам земляную жижу, беззвучно плакал.

Калмыков испытывал к нему сложное, из брезгливости и сострадания, чувство. Солдаты, собранные в батальон, обученные стрелять и водить машины, метать ножи и убивать ударом в сплетение, сами были беззащитны перед жестокими, устремленными на них силами. Злые и добрые, трусливые и храбрые, все они были нанизаны на невидимое острие, повернувшее их всех в одну сторону, в близкое грозное будущее.

– Капитан, – обратился он к Беляеву. – Если вы с замполитом не в силах навести в роте порядок, я направлю к вам особиста. Я не могу допустить разгул уголовщины в части, подготовленной к спецзаданию. Тронешь пальцем, – повернулся он к узбеку, – пойдешь за решетку!

Он выпрыгнул из капонира. В это время заработал, загрохотал двигатель «Шилки». Зенитка окуталась синим дымом, чавкнула гусеницами, пошла. Стальные треки перепахали муравьиную тропу, превратили в ничто крохотные капельки жизни. Четырехствольная установка, пятясь кормой, стала погружаться в капонир. Солдаты с лопатами и ломками смотрели на самоходку.

Глава третья

Он потерял отца в раннем детстве, почти не помнил его. Его воспитывали мама и бабушка. Их любимые лица, голоса, постоянное присутствие возле него и были его детством. Бабушка и мама были рядом. От них исходили постоянные нежность, забота, нравовучения. Они возвращали, воздействовали на него извне.

Отец же был внутри, в душе. Он не помнил его лица, не знал его поступков. Внешний мир был без отца, но внутренний, и чем дальше, тем больше, был наполнен отцом. Отец присутствовал как вторая невидимая сущность, страдающая, любящая, не умевшая себя проявить иначе, чем его детскими переживаниями. Он ушел из явной жизни и как бы спрятался в нем, в сыне. Сын стал прибежищем отцовской души, коконом, куда укрылся отец после смерти. Возрастая с каждым годом, догоняя отца, равняясь с ним в возрасте, он тайно продлевал его жизнь, увлекал вместе с собой в будущее.

Единственное из младенчества воспоминание об отце. Кажется, они плыли по Волге. Ощущение близкой огромной воды. Сырые глянцевиные деревья на песчаной косе. Красные жуки на листьях. Постоянное близкое присутствие отца, его тепло, дыхание рядом с холодной огромной рекой.

Спустя много лет он был на Волге, на сырых песчаных отмелях, где росли глянцевиные ивы. И на узких изглоданных листьях было множество красных жуков. Там, у водяного разлива, он вдруг остро, больно почувствовал присутствие отца.словно он, находящийся в плену сыновнего духа и тела, узнал это место, рванулся наружу. Не смог пробиться в свет, в облака, в разлив реки. Остался в сумраке сыновнего сознания и памяти.

Вечером, когда роты составили в пирамиды оружие, загнали в парк технику, отгрохотали по лестницам и коридорам казармы и утихли под сумрачным светом решетчатого ночника, офицеры, от мывшись от пыли и копоты, в чистых рубашках, собрались у гарнизонной красавицы Розы, в ее уютной, благоухающей комнатке, где пестрели салфетки и коврики, теснились статуэтки и вазочки, стол был накрыт, на лазоревом блюде бугрились виноград и спелые груши, розовела в коросте перца и соли бастурма, мокро блестели стаканы, и Грязнов, командир первой роты, морщась от горечи, выплескивал из стакана недопитые капли водки, отрезал узбекским ножом розово-прозрачный лепесток бастурмы, жевал крепкими, желтеющими сквозь усы зубами.

– Не стесняйтесь, ешьте! – угощала Роза, подвигая ближе дощечку с бастурмой. – Аппетит нагуляли в пустыне!

Она облизывала быстрым языком напмаженные красные губы. Белое татарское лицо ее было нарумянено. На открытой шее блестели яркие синие бусы. Пальцы были в кольцах, на запястьях позвякивали серебряные браслеты, и вся она была подвижная, гибкая, смеющаяся. Смотрела на гостей влажными, жадными глазами. Каждый из офицеров бывал здесь порознь, тайно. Каждому были знакомы запах духов и пудры, шелковая на постели накидка. Роза смотрела, как едят и пьют офицеры, и ее зеленые глаза шурились и смеялись.

– Роза, цветочек ты наш лазоревый. – Командир второй роты Расулов, смуглый, черноусый, смотрел на ее голую ногу, на гибкие пальцы, качавшие маленький тапочек, на вырез платья, где на хрупкой ключице голубели стекляшки бус, на румяную щеку, у которой качалась золотая сережка, – словно все это целовал, не стесняясь, смело и жадно. Он держал на коленях гитару. Его пальцы рассеянно шарили по струнам, извлекали слабые рокоты. А потом рванули их, словно швырнули с шумом и грохотом. И он запел одну из своих бесчисленных песен, похожих одна на другую, где были спецназ, прыжки с парашютом, ночлеги во льдах и песках и, конечно, одинокая, тоскующая без любимого женщина.

Другие два ротных, Баранов и Беляев, чокнулись, выпили, и комбат видел, как потекла по губам Баранова тонкая быстрая струйка.

*Мы бросались в огонь не раз,
Спецназ!
Мы взрывали в ночи фугас,
Спецназ!
А потом мы глотали спирт,*

Мой усталый товарищ спит...

Песня была наивная, хвастливая, неблагозвучная. Она будет скоро забыта, и ее сменит другая, такая же шумливая и легковесная. Но Калмыкову нравились ее шум, недолговечность, ее сотворенность специально для их офицерского застолья, для краткой офицерской пирушки. Остальные чувствовали то же, внимали песне. Грязнов держал на грубой ладони узорный узбекский нож с перламутровыми инкрустациями. Баранов заскорузлыми пальцами нежно полировал край керамического лазурного блюда. Беляев держал толстыми пальцами с обломанными ногтями прозрачную виноградину, и она светила, как огонек. Роза смотрела на Расулова, на его близкий блестящий лоб, на синеватые усы, и ее быстрый влажный язык облизывал красные губы.

Тот прыжок на полярный берег, когда отлетали в блеске винты самолетов и они качались в свистящей голубой пустоте. Земля под парашютом медленно кружилась, словно на ней сворачивался огромный розовый рулет, и он вдруг понял, что это движется стадо оленей.

Приземление в снег, в студеную глубину, катышки крови на порезанных щеках. Они шли на лыжах по тундре, по выпуклой равнине, к каменным лбам побережья, где в соленом рассоле, в незамерзающем фьорде укрылись черные корпуса подводных лодок. Ночью мохнатые звезды казались замороженными в синий камень неба. В рыбацкой избушке они грелись у печки, и на притолоке качалась сухая шкурка росомахи. Под утро, прячась в поземке, проползли под колючей проволокой. Завалили у пирсов караульных, заталкивая кляпы в их хрипящие рты. Он бежал вдоль черного параболоида подводной лодки, прыгал на ее прорезиненный борт, приклеивал к оболочке пластиковый заряд, и на черной нефтяной воде плясал едкий ртутный огонь.

Калмыков слушал песню, и опять было больно и сладко от несовпадения внешней, видимой жизни, где пирушки, стрельбы, вождения танков, подготовка к тревожному, их поджидавшему будущему, – несовпадения с таинственным, невнятным существованием души, где оставалось наивное ожидание чуда, робкая вера в совершенство, надежда, что когда-нибудь ему откроется истина – за чем он родился и жил.

– Роза, цветочек ты наш лазоревый! – целовал ее пальцы Расулов, пробежал губами по кольцам, по серебряным браслетам.

Грязнов кинул нож на стол, и по его скуластому конопатому лицу пробежала судорога. Должно быть, он вспомнил мать, ее обидчиков, пустые, с сухой ботвой огороды.

– Бобики партийные, чтоб они сдохли! Засели в каждой подворотне и брешут! Ладно бы только лаяли, а то кусают! Меня замполит вчера покусал. «Ах ты, говорю, бобик партийный! Ты что на командира скалишься!»

– Что зря языком трепать! Не люблю! – произнес благоразумный Баранов. – Особистов нет среди нас, а трепать языком не люблю!

– Вот и хреново, что партийные бобики могут тебе ни за что всю жизнь изгадить. Жуков их не любил, и я не люблю! Ну куда, к примеру, нас гонят? В какую дыру? У самих у нас дома бардак! Поля зарастают. Что ни начальник, то сволочь! Я бы здесь сперва порядок навел, из кабинетов кое-кого повыкинул, а уж потом других спасать!

– Не наше дело думать, куда и зачем! – строго сказал Баранов. – Ты вообще, я заметил, чуть выпьешь, хреновину мелешь. Давай-ка лучше о бабах!

– Я партийных холуев не люблю! Поди настучи на меня особисту! Он и так, как сова, ходит, глазищи на меня таращит. Может, уже настучал?

– Отставить, – Калмыков спокойно, негромко прекратил назревавшую ссору, выраставшую из усталости, раздражения, утомительного ожидания. Офицеры, собранные в батальоне, еще до конца не сплотились, не сложились в батальонное братство, сложно уживались друг с другом. – Расулов, еще про спецназ!

Тот охотно кивнул, провел ладонью по вороним усам, схватил в щепоть струны. Вслушивался в пустую желтизну гитары. Впрыснул, вбрызнул в нее грохочущий звон и рокот.

*Пусть осыпается в саду вишневом ветка,
И у подруги тихая слеза.
Уходит в ночь глубокая разведка...*

Их зимний бросок по сумрачным перелескам в стороне от белорусских хуторов и проселков. Ночлеги в мерзлых стожках под туманной стылой луной. В маскхалатах, зарываясь в сугроб, ждали у снежной обочины. Трасса, пустая, укатанная, с ледяными зубцами протекторов. Мигает лиловая вспышка, проносится дорожный патруль. Едко светя прожекторами, идут «бэтээры» охраны, крутят по сторонам пулеметами. Следом в туманных огнях, угрюмо и мощно, наполняя дорогу непомерной громадой и тяжестью, идет колонна ракет. Огромные ребристые коконы, длинные тупые фургоны. В ночи, по пустынным дорогам, мобильный ракетный комплекс меняет позицию. Группа спецназа рывком, огибая сугробы, бросается к тягачам, захватывает «бэтээры» охраны, лепит заряды к ящикам с электроникой, к горячим урчащим моторам, к длинным туловам зачехленных ракет.

Калмыков слушал песню, бесхитростные, наобум сцепленные слова. Продолжал чувствовать загадочную двухслойность бытия. В верхнем слое он – командир спецназа, должен подрыывать колодцы с системой связи, проникать в казематы и бункеры, совершать диверсии на ракетных шахтах и базах подводных лодок. А в другом, глубинном слое слабо и нежно горели огоньки на зеленых веточках елки, серебрились паутинки, покачивался дутый стеклянный петух, и мама, невидимая за свечой, вешала на елку золоченый грецкий орех.

– Надоело ждать! – Расулов отшвырнул на диван гитару, и она жалобно звякнула. – Долго здесь киснуть? Или воевать, или пьянствовать! Командир нас собрал не жир сгонять на барханах, а воевать! В Кабул так в Кабул! А нет – на курорт вино пить!

– Куда торопиться, и здесь неплохо! – Беляев высасывал из виноградины зеленый сок, смотрел на Розу. Та отщипнула от кисти янтарную Ягодину, выпила мякоть. Казалось, они тянулись друг к другу губами, отекающими соком и сладостью. – Пусть бы они забыли о нас! Эти, в Кабуле, сами между собой разберутся. Зачем нам соваться?

– Дурила, сегодня в мире никто без Союза разобраться не может! Сегодня без Союза ни одно дело в мире не делается! Я рапорт писал в Генштаб – пошлите в Анголу! Пошлите в Мозамбик, в Эфиопию! Отказали. Теперь в Кабул зарядили! Если «да» – вперед, по машинам! Если «нет» – на курорт вино пить!

– А мне здесь нравится, – лениво возражал Беляев. – Шею сломать успеем! Здесь дыни, виноград! Роза на картах гадает. Роза, миленькая, погадай нам на картах, какая кому судьба!

– Даты вообще, говорят, слинять собрался! – Расулов, ревнуя, блеснул на него желтоватыми белками. – Мне военврач говорил, ты анализы сдаешь, на климат жалуешься! Что-то у тебя в кишках обострилось! Медвежья болезнь называется!

– Ну ты, гитарист! – привскочил оскорбленный Беляев, выплевывая пустую виноградную шкурку. – Ты свои кретинские песни бренчи и помалкивай! А то не все тебя выносить могут с твоей гитарой!

– Отставить! – сказал Калмыков, гася тлеющую, готовую вспыхнуть ссору.

– Все вы раздраженные, злые, ждать устали! Вслушиваетесь, всматриваетесь, что там у вас впереди! Карты знают, что впереди. Погадаю вам на дорожку на картах! – Роза поднялась, гибкая в поясе, качая бусами, подошла к туалетному столику, извлекла из ящичка колоду карт. Вернулась, улыбаясь, облизывая губки розовым язычком. – Карты знают судьбу!

– Карты врут! – недовольно бурчал Грязнов. – Замполиты врут, карты врут, все врут!

– Карты – правда! Роза – правда! Любовь – правда! – Расулов перехватил ее руку, сжимавшую колоду карт, быстро, жадно поцеловал в запястье. – Войны нет, вино есть! Вина нет, любовь есть! Любви нет, ничего нет!

Роза кивала, мерцала зелеными глазами. Сыпала на стол среди стаканов и виноградных косточек глянцеви́тые карты. Мелькали валеты, короли, дамы, пестрая, как лепестки, красная и черная масть. Она шелестела картами, тасовала колоду, снова сыпала, роняла на стол. Калмыков слышал шорох карт, дуновение воздуха, поднятое разноцветным ворохом. И ему казалось – в мелькании ее тонких, с лакированными ноготками пальцев мечется бесплотный крохотный вихрь, в котором незримо присутствует их общая доля, их будущее, готовое развернуться для каждого отдельной, данной Богом судьбой.

– Будет у вас скоро дальняя дорога! – говорила гадалка, рассыпая перед ними длинную череду карт, где мешались шестерки, девятки, красный бубновый туз. Мокрый стакан бросал на пикового валета пучок стеклянных лучей. – Будет у вас дорога! – выстилала она картами путь, по которому пройдет батальон, продавливая ребристыми скатами, колючими гусеницами шелковые плащи валетов, бутафорский доспех короля. – И все вы по ней пойдете!

Роза перемешала карты, высыпала веером новую лакированную гроздь, где лежали среди семерок и девяток два черно-красных туза.

– И будет у вас большой дом, нарядный богатый дворец! – Она щелкала по картам маленькими лакированными ногтями.

Калмыков чувствовал, как ровно разгорается свет под абажуром, как светлеет в его голове от хмеля, от слов гадалки, от глянцевого разноцветия карт. Бесплотный крохотный вихрь выталкивал из себя их неосуществленное будущее, и он, Калмыков, был волен не пустить это будущее на свободу или вызвать, выхватить, превратить в муку, в страдание, в смерть.

– Все вы войдете в этот дворец, но не каждый выйдет! – Роза повернулась к Грязнову, держа перед ним на фарфоровых ладонях колоду. – Ты каким войдешь, таким и выйдешь! – говорила она, сбрасывая перед Грязновым несколько карт, где дама с высокой прической куталась в золотистую шаль. – А ты, – повернулась она к Расулову, улыбающемуся сквозь темные усы, – ты из дома выйдешь, но там оставишь самое для себя дорогое! – Она бросила перед ним несколько глянце́вых пластин, где другая дама закрывала пышную грудь резным веером. – А ты, – она потянулась к Беляеву, синие бусы на шее отпали, звякнули о стакан. Было видно в вырез платья, как просторно среди легкой материи ее маленьким острым грудям. – Ты войдешь во дворец и там оставишь, что тебе самому не нужно! – Беляев недоверчиво улыбался, заглядывая в глубину ее платья, где в золотистой тени светились продолговатые груди. – А ты... А ты, – Роза уронила перед Барановым череду карт, среди которых одиноко и жарко горела шестерка червей. – Ты в дом войдешь, а из дома не выйдешь! – Она улыбалась ему, награждала его судьбой, и он благодарно ее принимал. Обнял ее гибкую талию, прижался головой к близкому острому плечу. – А вам погадать? – обратилась Роза к Калмыкову, поднося к нему пордевшую колоду, где среди черно-красных значков вращался крохотный прозрачный волчок. – Командиру могу погадать!

Свет разгорался. На блюде светились плоды. Влажно, хрупко сверкали грани стаканов. Лица офицеров были в прозрачном сиянии. Спали в казармах солдаты. В парке остывали боевые машины. В пустыне под синей луной отпечатался след транспортера. В руке у гадалки круглился крохотный бестелесный клубок, сгусток сверхплотных энергий.

Калмыков поднялся:

– Говорят, от судьбы не уйдешь, но лучше ее не знать! Досиживайте без меня! Но чтоб завтра голова не болела!.. Утром все роты – на плац!

Он собирался уйти, осторожным движением отстраняя Розу, заступившую ему путь.

– Товарищ подполковник, тогда и остальных забирайте! Кого-нибудь одного оставьте! – капризно сказала она.

– Роза, как в прошлый раз! – сказал Расулов, хватая узбекский нож. – Вешай мишень на стену! Кто поразит мишень, тот у тебя и останется!

Роза оглядела всех долгим ленивым взглядом, выбирая, отвергая и опять приближая к себе поочередно каждого из четырех офицеров.

– Так и будет. Кто мишень поразит, тот останется!

Она подошла к туалетному столику, достала чистый платок. Помадой ярко, сочно покрасила губы. Прижалась губами к платку, оставила на нем красочный, похожий на сердечко отпечаток. Булавками пришила к двери матерчатый белый квадрат.

Расулов вскочил, сильным рывком метнул вперед нож. Стальное лезвие прорубило ткань в красной отметке, погрузилось со стуком в дерево.

Калмыков уходил, слышал возбужденные голоса офицеров, тонкий смех Розы.

Запомнилась давняя новогодняя елка, где-то у письменного стола, ветка заслонила бронзовые статуэтки, чернильницы, зеленоватую глыбу стекла с замороженным морским пауком. Колючий пышный ворох, в котором горят розовые свечи, колышутся хрупкие серебряные шары, мерцает рассыпанная пыльца. И такое волшебство, такое диво, так хочется дотянуться до раскрашенного стеклянного петуха, поймать на ладонь быструю блестящую капельку. И где-то рядом с этим дивом – мама, ее нежность, ее восторг.

Раннее пробуждение в зимних утренних сумерках. Сквозь дрему – счастливая мысль – его день рождения, его праздник, где-то близко, рядом – подарки. Вот они разложены на стульчике в изголовье, новые восхитительные предметы. Длинная лакированная дудка. В раскрытой коробке гляцевитые, чуть подсвеченные кубики. Стеклянная банка с тусклым отражением окна и стремительными длинными проблесками – рыбки. Хочется их рассмотреть и хочется еще поспать, понежиться в это зимнее, темно-синее утро. Засыпая, счастливо улыбаясь, он знает – поблизости, за стульчиком с подарками – мама, ее тихая поступь, милая, нежная усмешка.

Он помнил маму молодую, когда болел, лежал на ее широкой кровати, страдая жаром, беззащитный, слабый, ждал ее появления. Она возвращалась с работы, торопилась из прихожей прямо к нему, не снимая пальто. Ее порозовевшее от мороза лицо, лисий мех воротника, в котором искрился нарастающий снег, запах холода, улицы, тонких духов, который она вносила в его душную комнату.

Или когда болела она сама, лежа на той же кровати с темными гнутыми спинками, в белой рубашке, в пестрой косынке, с бледным темноглазым лицом. Он усаживался в сторонке на низенькой табуреточке, и она читала ему вслух Пушкина, своего любимого «Медного всадника», прерывающимся слабым голосом. Требовала, что бы он слушал, желала, чтобы и он полюбил.

Он запомнил ее бледное лицо под пестрой косынкой, с которым соединились видения каменных невских дворцов, туманных вод с золотым, бегущим на волнах отражением.

Спустя много лет он понял: с мамой, с ее книгами, рассказами, с несчастными совместными путешествиями связано все, что он успел узнать о родной истории и культуре. Кусковский дворец с прозрачным осенним парком. Старая полуразрушенная церковь в Раздорах, полная свежего зеленого сена. «Война и мир» с описанием Аустерлицкого сражения. Позднее, если ему случалось вновь оказаться в какой-нибудь старинной усадьбе, или в обветшалой деревенской церкви, или открыть Пушкина или Чехова, он сразу чувствовал присутствие мамы, слышал ее голос, видел ее лицо.

К старости, когда она одряхла, подолгу сидела в неопрятном халатике, в сморщенных чулках и стоптанных тапочках, он, наблюдая за ней, изумлялся: неужели из этих бессильных, с голубоватыми венами рук, из этих полузакрытых потухших глаз, из ее плоти, костей, дыхания вышел он сам, его дыхание, мускулы, мысли. Ее медленно от него уносило, медленно уводило

в туманную, тусклую бесконечность, и он не мог ее удержать, не мог защитить. Она, которая всю жизнь его защищала, теперь сама нуждалась в защите, а он в своей силе и крепости не мог ее защитить. Смотрел, как она дремала, положив на колени бессильные руки, и был готов разрыдаться.

Калмыков вернулся к себе, в свою запущенную холостяцкую комнату с ржавым пятном на потолке, с лысыми подоконниками, с чашкой чайной заварки, покрытой радужной пленкой. На гвоздях, на стульях, на спинке кровати висели ремни, скомканные полевые одежды, поблекшие на солончаках и барханах. Он сбросил ботинки, лег, запихнув под голову подушку в несвежей наволочке. На стене, в свете лампы, была приклеена карта Кабула, похожая на рифленый оттиск, будто кто-то в домотканой одежде прилег на мягкую пыль, оставил на ней волокнистый клетчатый отпечаток.

Калмыков лежал, изучая карту, погружался в чешуйчатый нарисованный город. Стремился проникнуть в плоскость листа, войти в глубину отпечатка. В скопищах глинобитных теснин, в кривых закоулках и улочках цокали ишаки, сновали бородатые люди, голубели дымы очагов. Город звенел и клубился в медных вечерних лучах. Мерцал в небесах лазурный столп минарета.

Он научился различать в этом месиве кварталы и линии улиц – Майванд, Дарульамман, район Шари-Нау, пригород Хайр-Хана. Он знал, где Дворец Революции и крепость Балла-Хиссар. Как проехать от аэропорта до центра, к министерствам обороны и связи. Где посольства, где полки гарнизона, где старый кабульский базар.

Он парил над огромным городом, разглядывая его сквозь туманную линзу неба, снижаясь в его желтизну. Бродил по его лабиринтам, укрывшись под чалмой и накидкой. Ноздри его щекотал запах красного перца. Качались у самых глаз чаши латунных весов. Жгучий недобрый зрачок следил за ним из толпы.

Он смотрел на карту Кабула, пытаясь ее разгадать, смешивался с его глиной и дымом, с лазурной чешуей изразцов.

Полгода назад его вызвали в управление разведки. Генерал поставил задачу: сформировать батальон для скорой отправки в Кабул. Там, в Кабуле, где уже начинались волнения, надлежало взять под защиту афганского вождя Тараки. Оппозиция бралась за оружие, в партии углублялся раскол. Батальон спецназа кружился в пустыне, стрелял и водил машины. В комнате для политзанятий висел портрет Тараки. Солдатам, утомленным на стрельбище, читали стихи президента.

Батальон, готовый к погрузке, выстраивался у взлетного поля. Самолеты, опустив аппарели, туманились в мелком дожде, когда вдруг стало известно, что в Кабуле убит Тараки. Смутные невнятные слухи об удушении. Роты развели по казармам. В комнате для политзанятий сняли портрет со стены. Больше не читали стихов. Но усилили стрельбу и вождение. Там, где прежде висел Тараки, появился новый портрет – смуглолицый властитель Амин. Черноглазый и грозный, сверкая белками, он зорко смотрел на солдат. Офицер из политотдела заглядывал в синий блокнотик – зачитывал его биографию, заслуги перед народом и партией.

Калмыков перед картой Кабула старался представить: в этот час, в этот миг в азиатской далекой столице существует Амин. Не знает о нем, Калмыкове, но его, Калмыкова, жизнь неявно, загадочно связана с жизнью Амина.

Его мысли были о запасах горючего. О продовольствии и боекомплекте. О питьевой кабульской воде, сулившей расстройство желудка. О дровах и солярке, которыми надлежало согреваться в Кабуле. О врачах и лекарствах. О письмах, что станут писать солдаты. О батальонной казне. Он думал об огромном хозяйстве покидавшего страну батальона, тревожился за людей и оружие.

И вдруг несвоевременная и большая мысль: зачем? Зачем он, Калмыков, уложен на scom-канное несвежее ложе, среди разбросанных ремней и одежд, готов по чужому приказу вскочить и бежать, заряжать оружие, рисковать, скрывать свои мысли, расходовать отпущенные ему в жизни дни и минуты. Ведь так дивно блестела трава, сверкало ведро у колодца, и он, мальчик, отодвинул калитку, обжигаясь о разноцветные капли, побежал по росе, и мама, отпуская его, смотрела, как он бежит, как туманится под его голыми пятками дымная синева, и с забора, с влажного теса, вспорхнул утренний черно-стеклянный скворец.

Калмыков вглядывался в растопыренную пятерню. Железная пудра въелась в мозоли. Черная кромка земли и ружейного масла залегла под ногтями. Отчужденно, брезгливо он смотрел на свои пальцы, на их форму, на чувствительные щупальца, приспособленные для хватаний, для медленного сдавливания спускового крючка, для сжатия баранки «бэтэра». Рука казалась ему отвратительной, навязанной извне, включающей его в унижительное, вынужденное земное бытие, где он борется за существование, за хлеб, за женщин, выполняя чью-то вмененную волю.

Столь же отвратительными, вынужденными казались ему его ноги, живот, пах с непрерывной дремлющей похотью, глазницы с влажными слизистыми оболочками.

Он был весь сделан, сконструирован и задуман. Включал в себя множество приспособлений и инструментов. И в эту хватающую, скачущую, обоняющую и зрящую плоть было заключено его бессмертное «я», истинная безымянная сущность. Когда он изотрется о пески и барханы, изобьется о броню и орудия, сносит свою оболочку, израсходует брennую плоть, его «я», как слабое дуновение, вылетит на свободу, сольется с чистой живой пустотой.

Так чувствовал он свою несвободу. Воля, которой он был подчинен, была не волей генералов, не властью политиков, а чьей-то высшей недоступной властью, навязавшей ему способ жизни.

Он отстранил пятерню от глаз, внутренним усилием попытался освободиться от этой гнетущей воли. Стал проталкивать свое «я» сквозь арматуру ребер, пузыри легких, каркас костей. И вдруг почувствовал, как в области горла возникла резкая боль, стала спускаться в бронхи, проникать в сердце, твердой судорогой наполнила желудок и исчезла, оставив по себе ужас смерти.

Он не мог понять, что это было. То ли тромб оторвался и прошел по сосудам тела. То ли плоть ощутила в себе путь будущей, еще не отлитой пули. То ли частица из космоса пронзила мышцы и вылетела в мироздание.

Зазвонил телефон. Он протянул вяло руку, извлекая трубку из пластмассового гнезда.

– Слушаю... Подполковник Калмыков...

– Товарищ подполковник, вас вызывают к командиру... В центр боевого управления...

«Пора, – думал Калмыков, одеваясь, шнуруя ботинки. – Вот и приказ к выступлению».

Глава четвертая

Его детская память сохранила давнишнее детское ощущение. День первых заморозков, серый, холодный. На клумбе среди мерзлых комков торчат черные стебли, бывшие недавно душистыми астрами, таба-ками, геранями. Кирпичная стена выветрена, выжжена первым бес-снежным морозом. Ветер проникает под тонкое пальто. В остановившихся детских зрачках изображение двора, прохожий с синеватым лицом, лужица с сизым льдом, высокое окно с бабушкиной слабо белеющей головой. И такая печаль, необъяснимая боль, чувство недолго-вечного. Он знает, что неизбежно расставание с серым, холодным небом, с красной, кирпичной стеной, с мамой и бабушкой, что смотрят на него из окна, не ведают о его тоске.

Над взлетным полем гасла голубая заря. Последние отсветы отливали на фюзеляжах, на висящих лопастях, на ромбах брони. Батальон грузился с двух полос, отдельно люди и техника. Калмыков с генералами из разведуправления смотрел, как осторожно, мигая хвостовыми рубинами, вползает в самолет боевая машина. Чвакает, впивается траками в днище, погружается в сумрачно-озаренное нутро самолета. И там на монорельсе качается крюк, светится синий огонь, механик в комбинезоне набрасывает трос на машину.

– Сразу же по прибытии вас встретят наши «соседи». К самолету прибудет полковник Татьянушкин, – говорил генерал. – Поступите в его распоряжение. Деньги возьмете в посольстве. Связь через атташе. Остальное на месте!

Вторая боевая машина медленно, задрав нос, въезжала на аппарель, выбрасывала из кормы дым, мигала хвостовыми огнями. Киль самолета колыхался от тяжести, механик пятился, заманивал урчащую машину в глубь фюзеляжа, и она вставала впритык к предыдущей, желтый крюк погрузчика катился по монорельсу.

– По афганской линии взаимодействуйте с начальником президентской охраны, – говорил генерал. – По нашей линии – с главным военным советником. Ну и, конечно, с «соседями».

Он поворачивал свое горбоносое лобастое лицо к третьей вползающей машине. Последний синеватый отсвет зари мокрым мазком ложился на выпуклый лоб генерала.

Роты с оружием, вещмешками стояли у полосы. Транспорт отворили погрузочные отсеки, подставили свои сумрачные освещенные недра. Дул ветер. Запах железа, горячего, человеческого пота подхватывался огромным прохладным дыханием, уносился во тьму.

– Товарищ подполковник, – начальник штаба, отделившись от шеренги солдат, козырнул Калмыкову. – Женщины прощаться пришли. Разрешите офицерам проститься!

В стороне на траве стояли женщины – жены, подруги, любовницы. Офицеры и прапорщики вышли из строя, смешались с ними. В сумраке раздавался смех, тихий плач, негромкая музыка. Обнимались, слушали маленький звенящий транзистор. Женщины из сумок доставали бутылки с вином, стаканы, виноградные кисти. Чокались, целовались. Кто-то негромко запел под гитару. Калмыков в темноте разглядел усатое лицо Расулова, синеватый блик на гитаре. Роза в цветастом платье держала пиалу с вином.

– Товарищ подполковник, – она поднесла Калмыкову пиалу. – Выпейте на дорогу! Чтоб вам поскорее вернуться! А мы вас тут будем ждать!

Он принял пиалу, медленно пил терпкое вино, глядя на тяжкие туши самолетов, на шевелящиеся шеренги людей, на Розу, обнимавшую Расулова. Тот положил на траву гитару, обнимал ее, целовал плечо, шею, заплаканное лицо.

Калмыков пил вино, чувствовал, как налетает ночной ветер, захватывает в свое дуновение самолеты, взлетное поле, целующихся мужчин и женщин. Ветер рождался в отдаленных пространствах вселенной, падал на землю, выдувал из нее тепло, подхватывал людские души и судьбы, уносил в темную беспредельность.

Платье Розы трепетало в потоках ветра. Волосы Расулова смешались с ее волосами. Темный, в гаснущем небе, вздымался киль самолета. Калмыков чувствовал, что все они находятся во власти безымянной и могучей воли, толкающей их в неизвестность.

– Поротно!.. На погрузку!.. На борт!.. Шагом марш!.. – раздался ослабленный ветром голос начальника штаба.

Солдаты схватили мешки и оружие, колыхнулись, затопотали, пошли. Застучали по металлу солдатские башмаки.

В сумрачном пространстве фюзеляжа на железных скамейках сидели солдаты. Под тусклыми лампами чуть виднелись их лица, их стиснутые тела, автоматы. Бортинженер пробежал вдоль рядов и скрылся в кабине. Что-то заурчало, заныло, железо запело. В круглом иллюминаторе замерцал красный габаритный огонь. Взревел, со свистом закрутился пропеллер. Машина качнулась, пошла. И все это время Калмыков ощущал, как вдоль фюзеляжа, по оси самолета,

проходит незримый вектор, сквозь ряды сидящих солдат, сквозь его, Калмыкова, дыхание, и все они устремлены в одну сторону – в свое будущее, в неизвестность.

В детстве он часто смотрел в бабушкин театральный бинокль, изящный, с перламутровыми инкрустациями. Выдвигал колесиками маленькие, с темными линзами окуляры, и мир стремительно удалялся, уменьшался, отбрасывался, словно от него уносили коричневый буфет с синими чашками, зеркало в старинной раме, мамину акварель на стене. Все подхватывалось невидимой силой, уносилось вдаль. И от этого – головокружение, почти обморок.

Позднее, когда в училище изучал математику, бесконечно малые величины, он пытался вообразить бесконечность, представить результат непрерывного уменьшения, которому нет предела, которое уводит мысль в сладостно-жуткое безумие. Словно в тончайший прокол истекает живая жизнь, утончается и, перед тем как исчезнуть, превращается в громадный, во все мироздание, взрыв.

То же чувство он испытывал, когда начинал думать о своем роде. О маме, живой, близкой, присутствующей с ним поминутно. О бабушке, чьи фамильные вещи, сине-золотые чашки из свадебного сервиза, костяной корсет и страусовые перья на дне сундука уводили его воображение к другому укладу, к несуществующему дому с многолюдной шумной семьей. Эта исчезнувшая семья, запечатленная в фамильном альбоме, вела свое начало от полулегендарных стариков, каких-то ямщиков на Военно-Грузинской дороге, возивших на турецкий фронт царя. За этими ездоками маячили уже безымянные мифические пращуры из Тамбовской губернии, духоборы, бежавшие на Кавказ от преследований. За этими пращурами был кто-то еще, вне родословной, имевший сходство с ополченцами из толстовского романа. Именно в ополченцах, встретивших Пьера на дороге под Можайском, узнавались его дальние, безымянные предки. А потом все сливалось в ровное колеблемое пространство родной истории с междоусобьями князей, ратниками, скоморохами – было той бесконечностью, из которой, как из тумана, появлялись бабушка, мама, он сам, читающий книгу под оранжевым матерчатым абажуром.

Подобное же изумление он испытывал, глядя на звезды. Если долго смотреть, стоя у деревянного сруба, запрокинув голову вверх, то в самом центре неба вдруг раздвигалось скопление звезд и обнаруживалась скважина, напоенная синевой. Туда, в бездонную лунку, улетал его взор, его душа, его любящее, открытое небу сознание. Стоя на холодной траве у темного деревянного сруба, он улетал моментально в бескрайнее мироздание.

Множество нитей – родовые предания, усилия ума и чувства, прозрения страха и счастья – вели его в бесконечность. Уже в детстве он узнал, что смерти нет, а есть бесконечное, вдоль светового луча, удаление.

Самолет сонно плыл в горизонтальном полете. Фюзеляж был наполнен алюминиевым тусклым свечением. Лица солдат были похожи на камни, плотно, один к одному, приваленные к самолетной обшивке.

Калмыков прижался затылком к трясущемуся фюзеляжу, вглядывался в лица солдат, стараясь угадать их черты. Иногда ему казалось, он узнает того водителя, что едва не свалился в пропасть. Или того, что упал на бегу, не выдержал марш-броска. Или того, здоровяка гранатометчика, что ловким пуском гранаты убил козу. Или тех, что в капонирах мучили слабо-сильного, заталкивая ему в рот горсть земли. Ему казалось, он их узнает, но потом их лица стирались, становились похожими на одинаковые валуны.

Он и сам был похож на камень – отяжелевший, недвижимый, лишенный собственной воли. Ими, камнями, мостили дорогу в небе. Выкладывали длинную мостовую, по которой грохотал самолет.

Солдаты, сидящие на скамейках, уже не принадлежали себе, не принадлежали матерям и невестам, не принадлежали ему, Калмыкову. Они были собственностью огромного государ-

ства, которое пользовалось ими в своих интересах, мостило их головами обширные пространства земли и неба среди теплых и холодных морей.

Он чувствовал мерное движение в небе. На равном удалении друг от друга летели самолеты, несли в своих фюзеляжах роты, боевые машины, запасы снарядов и топлива. Батальон растянулся в воздухе по плавной дуге, повторяя кривизну земли.

– Товарищ подполковник, – начальник штаба Файзулин, маленький, плотный, грудастый, с кошачьими усиками, наклонился к нему. – Прикажите переодеть личный состав!

– Личному составу переодеться! – приказал Калмыков.

От хвоста вдоль сидящих солдат двинулись прапорщики, несли перед собой тяжелые кипы одежд. Останавливались, отдавали солдатам. Те поднимались, начинали стягивать с себя рубахи, брюки, панамы. Полуголые, прилепывали на металлическом днище, наполняли фюзеляж призрачными тенями, белизной своих плеч и ног. Весь самолет был полон полуголых людей, сдиравших с себя облачение. Тут же они облекались в форму афганской армии, грубошерстную, из плотно свалянного сукна. Натягивали бутсы, опоясывались широкими ремнями, нахлобучивали картузы с козырьками.

Калмыков, раздевшись, чувствовал стопами холод и вибрацию днища. Натянул такую же, как у солдат, без знаков различия форму, пробуя мускулами ее плотность, крепость, притоптывая жесткими каблуками.

Прапорщики шли вдоль рядов, подбирая груды снятых одежд, свернутые ремни со звездой, солдатские полевые панамы. Скоро солдаты успокоились, утихли, незнакомые и чужие, в иноземной форме. Только лица под козырьками картузов казались все теми же – смутными валунами, наваленными вдоль бортов самолета.

Калмыков поднялся, прошел в кабину пилотов. И первое, что увидел, еще не разглядев экипаж в шлемофонах, – приборную доску в циферблатах и тумблерах, первое, что ослепило его, – луна, огромная, круглая, слезящаяся, словно в капельках белого жира. Она стояла в ромбовидном стекле, и казалось – самолет покинул притяжение Земли, движется на Луну, медленно к ней приближается.

Батальон спецназа, погрузив в самолеты оружие и бронемашину, по заданию государства летел на Луну. Среди безводных морей и остывших кратеров, оставляя на белесой пыли отпечатки гусениц и колес, станет кружить по лунной пустыне, выполняя приказ генерала.

Калмыков смотрел на круглую, с влажным блеском луну, вспоминал, как в детстве старался разглядеть на ней изображение мужика и телеги.

Ему стало вдруг больно: луна в московском окне, женщина в эту минуту смотрит на белое ночное светило. Не знает, что он, Калмыков, в чужой мохнато-колючей форме прижался к косяку летной кабины среди фосфористых циферблатов и красных индикаторов. Огромный белый шар, заполняя небо, притягивает к себе самолет.

Глава пятая

Отсвет солнца на длинных, скользнувших у лица волосах. Легкий запах духов, налетевший в трамвае. Желобок груди за вырезом бархатного платья у соседки в театре. Стук каблучков по лестнице. У гимнастки – сильные линии ног. Ямочки на локтях продавщицы. Влажный, высокий, долгий смех в ночном дворе. Забытый, оставленный на лавке цветочек.

Любовь к женщине, предчувствие этой любви, ожидание ее, настойчивое ее выкликание были постоянной с детства тревогой, печалью, пониманием. Он чувствовал свою недостаточность, тяготился собой, искал свою полноту в другом человеке – в женщине. Он чувствовал свою несвободу и зависимость от внешнего мира в постоянных напоминаниях плоти. Его мысль и воображение напоминали о том, что рядом нет женщины. Но когда она, наконец,

появилась, когда он в первый раз полюбил, это была свобода, было счастье, увы, каждый раз недолгое.

Сырое низкое небо с весенним блеском водостоков. Разбухший розовый тополь с истошным щебетом воробьев. Девочка на влажном асфальте играет в мяч. Звонкие удары мяча, упругие прыжки, кирпичная стена с мокрым отпечатком мяча. Он идет вдоль стены, слыша звонкие удары, в тревоге, в растерянности, под низкими морозящими тучами, под почками пахнущего, готового распусться дерева. И внезапный укол, удар боли и сладости, ослепительная беззвучная вспышка. Обморок, секундная потеря сознания. Медленное, сквозь сладость и боль возвращение в мелкий дождь, в воробьиный щебет, в звонкие удары мяча.

Он стоял, прислонившись к стене, не понимая, что с ним случилось. Какие неизвестные сладость и страдание пронзили его. Что за мучительная вспышка света ослепила его. Не знал у той мокрой кирпичной стены, что это была весть о любви.

Хрустнуло в алюминиевом подбрюшьи шасси. Накренились лавки с солдатами. Калмыков почувствовал плечом, как надвинулось тело начальника штаба. Самолет выдвинул щитки-закрылки. И ночь заревела, засвистела, погнала самолет к земле. Прозвучал тяжелый удар о бетон, дребезг, смягченный гидравликой, пробежал по конструкциям. Калмыков костями ощутил встречу с чужой землей.

– Баграм! – сказал бортинженер, пробегая в хвост, стягивая с головы шлемофон.

Машины катились, жужжа пропеллерами, мигая рубиновыми вспышками. Разворачивались в медленных дугах и траекториях незнакомого аэродрома. Солдаты шевелились, тревожно ерзали на лавках, наклонялись к мешкам и оружию.

В тишине заглохших винтов медленно, со скрипом открывалось днище транспорта. Комбат в открывшийся зев, сквозь сочный холодный сквозняк, увидел звездное небо, где в конусе белого света садился транспорт. И другой, зажигая в высоте белый пучок, казался призрачным существом, наподобие прозрачного ангела.

Машины садились, ревя моторами, сбрасывая с себя огромную металлическую копну звука.

– Рота!.. Слева по одному!.. На выход!.. Марш!..

Солдаты вставали с лавок, натыкались один на другого, плотной вереницей сбегали по спуску, растягивались от киля по тусклому бетону среди садящихся воющих самолетов. Калмыков, сойдя с полосы, топтал подошвами колючую траву, всасывая ноздрями чистый холодный воздух, смотрел на высокие звезды, обрывавшиеся у черных гор. Чужая земля обступила его запахами, тенями и звуками, давала ему место среди своих растений, дуновений ветра и звезд.

– Воздух чистый, и вроде бы кизячком пахнет! – Командир первой роты поворачивал лицо к горам, где, невидимые, притаились жилища. Чужие, остывающие очаги источали слабые запахи иной жизни. – У нас в Союзе воздух загазованный, а тут заводов нет, деревней пахнет!

Его смутно освещенное лицо чутко обращалось к таинственным контурам гор, где, потревоженные самолетами, притаились чужие селения.

– Товарищ подполковник, куда выводить технику и личный состав? – Файзулин, маленький, быстрый, выкатился из тьмы, подсвеченный из-за спины синим лучом прожектора. – Никто не встречает!

Отшатнувшись, схватил себя за лицо:

– Ах ты, черт!

Что-то билось, шуршало у него в кулаке. Он разглядывал мягкий шелестящий комок. Большой ночной мотылек примчался из ночи, ударил в его освещенное ртутно-голубое лицо. Чужая земля послала им знак – темно-серебристую мохнатую бабочку, оставившую отпечаток на круглом лице майора.

Огибая стоящий транспорт, высвечивая фарами неровную шеренгу солдат, подкатывала легковая машина.

– А ты говоришь, не встречают! – Грязнов натянул ремень автомата. – Поглядим, кто как встретит!

Машина остановилась, из нее вышел высокий узкоплечий военный в афганской форме с вислыми усами. Калмыков стал озираясь, искать переводчика.

– Командир роты аэродромного прикрытия аэродрома Баграм! – представился военный. И Калмыков облегченно шагнул к нему, пожал большую тяжелую руку. Подумал: он, Калмыков, со своим батальоном – лишь часть неведомого обширного плана, по которому русский майор с ротой прикрытия обеспечил приземление транспорта.

– Товарищ подполковник, личный состав и технику после разгрузки отведите с полосы в степь. Тут и ночуйте. Утром из Кабула приедут встречающие. От них дальнейшие указания.

Прихватив в машину Файзулина, майор укатил. Скрылся в ртутном свечении прожектора, в металлическом дыму мотора, среди которых возникали солдатский строй, корма «бэт-ээра», башня «боевой машины десанта».

– Повсюду наши! – сказал подошедший Баранов, одобрительно поглядывая вслед легко-вухке. – В Африку прилети – наши! В Антарктиду, и там – пингвины и наши! Везде успеваем!

Боевые машины, медленно скользя лучами по бетону, по фюзеляжам, вырубивали в черную степь, в сухие травы, выстраивались поротно, в каре, стальными четверками, а внутри за железную стену машин укрывались солдаты. Садись на землю, стелили плащ-накидки, вскрывали консервы, пачки с галетами. Степь дымилась, скрежетала, рассекалась прожекторами, наполнилась приказами, командами, руганью, словно в ней среди засохших растений и высоких звезд строился город.

– Разгрузка окончена, товарищ подполковник! Охранение выставлено! – Запыхавшийся начальник штаба соскочил с «бэтээра».

– Костров не разжигать! – приказал Калмыков, глядя, как повсюду, где уселись солдаты, начинают загораться маленькие копотно-красные светляки. В земляную лунку ставилась банка с соляркой, и на ней грелись консервы. – Еще раз проверь караул!

Начальник штаба кинулся исполнять приказание, и там, где он пробежал, меркли, гасли красные, испятнавшие степь светляки.

Роты утихали, укладывались. Меньше становилось криков, беготни. На машинах выключали прожекторы. Сквозь осевшую пыль становились видны высокие льдисто-белые звезды. И стали взлетать самолеты.

Разбегались один за другим, высвечивая перед собой клин пространства, облегченные, с густым гудением, взмывали, пронося над батальоном тусклые подбрюшья, красные ягоды габаритов. Уменьшались, складывали прозрачные крылья света, уходили за хребет. Солдаты молча, напряженно следили за исчезающими самолетами. Калмыков испытывал вместе с ними одинаково мучительное чувство – самолеты улетали домой, оставляя их в чужой незнакомой стране. С уходом самолетов рвались последние связи с Родиной, с родными и близкими. Они оставались одни, окруженные чужими горами, притаившимися селениями, незнакомым народом, среди которого им предстояло действовать, выполняя неявную, до конца не открытую им задачу.

Калмыков, тоскуя, следил, как взмывает последний самолет. Взбегает вверх по пологой кривой, распушив прозрачные лопасти света. Исчезает, превращается в красную бусину, в слабый, замирающий рокот.

– Я в этом году в отпуск успел сходить! – Файзулин следил, как исчезает последний самолет. – С женой отдыхали в деревне. Грибов засушили, варенья наварили, дети накупались, набегались!

Калмыков понимал: начштаба не давал улететь самолету, не давал порваться тончайшей ниточке звука, которая стягивала его с далекими речками, ягодными опушками, с хохочущими детьми.

– Ступай отдыхай, – сказал Калмыков. – Иди в машину, а я еще подышу!

Видел, как Файзулин отваливает кормовую дверь боевой машины, влезает внутрь, туда, где краснели на щитке сочные точки индикаторов.

Солдаты разбегались по машинам, устраивались на днищах, на пыльных тюфяках, накрывались бушлатами. Калмыков, кутаясь в плотную ткань бушлата, примостился у ребристого колеса «бэтээра», смотрел на звезды, на их сияющие чужие орнаменты, касался ладонью шершавой земли.

Ему казалось, от земли поднимаются чуть слышные прохладные токи, омывают его руку, прокрадываются в рукав под одежду, холодят грудь.

Дыхание чужой земли охватывало его, и он через это дыхание соединялся с таинственными силами Востока. С древними погребениями. С остатками старинных фундаментов. С кладами древних монет. Земля, принадлежавшая другому народу, носившая на себе бессчетные поколения неведомых людей, принимавшая обратно их иссохший прах, – эта земля касалась теперь его, Калмыкова. Обнюхивала своими шершавыми сухими ноздрями, словно ночной невидимый зверь. Она обнюхивала железные машины, смазку оружия, уснувших в отсеках солдат. Исследовала по-звериному запахи явившихся чужаков, старалась угадать, откуда они, чего ждать от них. Недвижно, оцепенев, чувствуя шершаво-холодные касания земли, Калмыков испытывал к ней влечение и одновременно боязнь, любопытство и отчуждение, как к могучему существу, которое или примет его дружелюбно, примирится с его появлением, или отторгнет, погубит, превратит в горстку костяной муки, смешает с камнями и пылью.

Упрашивая, заговаривая, как большую собаку, Калмыков гладил шершавую, в мелких травинках, почву. Поднес к лицу ладонь. Она слабо пахла растревоженными полянами. Звезды ярко блестели, увлажняли глаза.

Он заснул, забирая в сон блеск звезд, которые превратились в легкое скольжение саночек. Он скользил по заснеженному переулку, и все так знакомо, любимо – особнячок с лепными карнизами, обшарпанная колокольня, вороны в заиндевелой синеве.

Он опять очутился в милой московской квартире, где желтые пятна солнца, радуга в зеркале, бабушка, маленькая, белоголовая, примостилась в уютном кресле между ореховым буфетом и тумбочкой. И такая теплота и любовь, такое счастье, что она жива, вот ее добрая чудная улыбка, лучистый взгляд, синяя чашка в буфете. Она никуда не исчезла, просто переместилась из детства в эти азиатские земли, куда он прилетел самолетом. Здесь ее покой и приют, она тихо смеется, обнимает любимого, к ней прилетевшего внука.

Он проснулся от грохота, разорвавшего хрупкую материю сна. Вырвался в черный провал, где звезды, ребристое колесо «бэтээра», звук отлетающего выстрела.

Схватил автомат, дергая предохранитель, кинулся, пригибаясь, на выстрел. Свет фонаря осветил броню боевой машины, сжавшегося солдатика, его испуганные глаза. Вокруг хлопали двери и люки, подбегали другие солдаты. Наставили на солдатика свет фонарей.

– Дурак, кто же палец на спуске держит!

– Во сне застрелиться мог, жмурик!

– Да лучше бы он в Союзе застрелился, чем его отсюда с дыркой тащить!

Калмыков узнал солдатика, того, что стоял на коленях на дне капонира, жевал слюнявую красную глину.

– Отставить гвалт! – Он оттеснял от солдатика здорового детину-сержанта. – Всем спать! А ты, Хакимов, – вспомнил он фамилию солдата, – не сиди, а стой в карауле! Проворо-нишь – получишь нож в спину. Здесь не учение – война!

Он отсылал солдат и офицеров обратно к машинам. Видел, как удаляются, секут траву лучи фонариков. Гаснут у дверц и люков.

Хакимов, почти невидимый, стоял у брони, осыпанный серебристой пудрой звезд. Первый выстрел уже прозвучал. Пуля, никого не задев, пролетела под звездами, упала на излете, среди высохших трав и камней.

В младшем классе, сидя на первой парте, он слушал учительницу, которая громко, твердо произносила слова, ударяла в доску белым кусочком мела. И вдруг почувствовал, что эта женщина словно прошла сквозь волнистый прозрачный воздух, изменилась и стала для него дорогой и желанной. Нежность, которую он к ней испытал, была не похожа на нежность к матери, а была мучительным обожанием ее голоса, ее волос, ее розовых губ, ее ног в темных туфлях с ремешками, перетягивающими подъем стопы, ее теплых телесных запахов, доносившихся до первой парты. Утратив смысл произносимых ею слов, затаив дыхание, он следил, как пальцы ее сжимают мел, бьют по доске, как отливают ее гладко причесанные волосы. Это созерцание, обожание были подобны оцепенению. В нем остановилось дыхание, биение сердца, оледенились зрачки. Она стала удаляться от него, как в перевернутый бинокль, а он в своей неподвижности отпускал ее, не мог наглядеться на ее лицо, руки, темные туфельки.

Учительница скоро ушла из школы, кажется, вышла замуж. Но много лет спустя, возмужав, испытав любовь, он все еще чувствовал волнение, когда думал о ее полузабытом лице, о часиках на пухлом запястье, о темном ремешке рядом со щиколоткой. Ее женственность однажды в детстве коснулась его, осталась в нем навсегда.

Калмыков проснулся под утро, когда железный сквознячок проник под бушлат и стал жалить ребра. Открыл глаза: звездное бледнеющее небо, черные зубья гор, и над каждой вершиной слабая голубая капля рассвета. Калмыков заткнул щель в бушлате и опять мгновенно заснул.

Второе, на одну секунду, пробуждение было от звякнувшей брони. Солдат вылез из люка, отковылял от кормы и мочился шумно. В сером воздухе было видно, как от мочи идет пар.

Третье пробуждение было в солнечном блеске. Сверкала роса на броне, гремели люки, выпрыгивали солдаты. На аэродроме, светлея алюминием, стояли истребители. В стороне плоско, уступами желтело глинобитное селение, и над ним мелкими завитками поднимались дымки. По дороге шел ишачок, всадник был в чалме, в долгополой одежде, поворачивал к боевым машинам смуглое чернобородое лицо, погонял ишачка прутиком.

Калмыков жадным молодым взглядом охватывал солнечные горы, селение, чернобородого наездника. «Афганистан», – произнес он. И от этого зрелища, и звука произнесенного слова ему стало тревожно и весело. Непохожая ни на что новизна ландшафта волновала и веселила его.

– Кандыбай, кончай дрыхнуть, айда морду мыть! – Из люка на броню вылез здоровенный, голый по пояс, узбек. Шурился на солнце, играл могучими мускулами, шлепал по холодной броне босыми стопами. На его выпуклой каменно-гладкой груди выше соска была наколка – синеволосяя девица. Узбек сжимал грудную мышцу, и девица дергала волосами, колыхала животом и задом. Калмыков узнал и его. Это был тот самый Шарипов, что мучил новобранца, заставлял его есть глину. – Ну, Кандыбай, долго ждать буду!

Узбек радовался пробуждению, своей силе и свежести, блеску текущего рядом полноводного арыка.

Солдаты сходились к арыку, черпали ладонями, брызгали на лицо, на плечи, повизгивали, покрикивали, обжигались о ледяную солнечную воду.

– Не пить! – крикнул начштаба, прижав ладони к губам. – Воду не пить! Заразу подцепите!

Солдаты не оглядывались на него, плескались у воды, гнали по арыку солнечные круги.

– Интересный у них рассвет! Темно, темно, а вдруг раз – солнце! – Командир четвертой роты Беляев крутил по сторонам выпуклыми радостными глазами, моргал белесыми ресницами. – Темно, темно, вдруг раз – включили солнце!

– Хлеб пекут, – Грязнов смотрел на курчавые струйки дыма, истекавшие из глинобитных строений. – Интересно, какой у них хлеб, лепешками или буханками?

Его ноздри шевелились, стараясь сквозь пространство свежего прозрачного воздуха уловить запах дыма и хлеба.

– Какие у них тут женщины, вот что интересно! – Ротный Расулов топорщил черные глянцевиные усы, похожий на утреннего кота. – Я видел двоих. Прошли в чехлах, ни ног не видать, ни лица. А чувствую, молодые идут!

У арыка раздался радостный крик, плеск. Шарипов, голый, плюхнулся в арык, распахнул солнечную вязкую воду. Вынырнул, крутил стеклянной черной головой, колыхал спиной, вздувал бугры мускулов. Поплыл, похожий на гладкого, сильного зверя. Все понимали – он сделал это для себя, для других. Кинулся в чужую воду, осваивая ее, приручая, заставляя себя и других не бояться чужую землю и воду.

Калмыков смотрел на плывущего в арыке солдата, был ему благодарен. Все они, чужаки, бессознательно стремились соединиться с этой страной, не причинить ей вреда, не быть ей врагами.

После построения, когда роты растянулись в степи, отбрасывая длинные тени, после завтрака, когда пустые консервные банки засверкали среди жухлой травы, Калмыков вышел за оцепление гусеничных машин, тревожась, что их никто не встречает. И навстречу его тревоге от аэродрома подлетела легковая машина. Приблизилась, стала, трое в афганской форме поднялись с сидений.

Первый был высок, худощав. На лице среди мелких сухих морщинок ярко светились голубые глаза. Улыбка была белозубой.

– Полковник Татьянушкин! – Он протянул Калмыкову быструю горячую руку, сжал в нетерпеливом пожатии. – Ну, как долетели? Вижу, отлично! – Он оглядывал стоящие в степи колонны техники, спящих солдат, словно моментально пересчитал их. – Отлично!

Второй был черноусый, смуглый афганец с мягкими фиолетовыми губами, женскими влажно-ласковыми глазами. Он козырнул Калмыкову, потянулся к нему коричневой щекой, и они трижды, по-восточному, коснулись друг друга щеками.

– Замкомандира гвардии майор Валех, – представил его Татьянушкин. – Говорит по-русски. Учился в Союзе. С ним будете взаимодействовать.

– Одесса учился. Много русский хороший друг Одесса! – подтвердил афганец, мягко складывая сиреневые губы, осторожно, с удовольствием выговаривая русские слова. – Здравствуйте! Будьте здоровы!

Третий был молодой человек с белесыми усиками. Вежливо, чуть в стороне, он ожидал, когда очередь дойдет до него.

– Наш переводчик Николай, – представил его Татьянушкин. – Будет вам помогать.

Вид этих троих улыбающихся, привлекательных людей, синие глаза Татьянушкина, бархатная щека Валеха, деликатное рукопожатие Николая мгновенно успокоили Калмыкова. Страна, в которую он явился, уже не казалась враждебной, выслала ему навстречу трех дружеских посланцев.

– Простите, что вчера не встретили. – Татьянушкин под руку отвел Калмыкова в сторону. – В Кабуле было вчера неспокойно. Попытка покушения на Амина. Вы приехали в самый раз. Усилите охрану резиденции.

– Можно вас пригласить на завтрак? – спросил Калмыков. – Из горячего только чай, кухню развернуть не успели.

– Надо ехать. Нас ждут в Кабуле.

К ним подошел Валех. В руке у него был ржаво-коричневый, корявый плод граната. Он извлек из кармана ножичек. Держа на весу гранат, взрезал заскорузлую корку, и открылась зернистая сверкающая сердцевина, с бесчисленными крапинками черно-красного солнца.

– Пожалуйста, кушайте! – Он членил хрустящий гранат, окропляя лезвие розовым соком. – Сладкий, хороший!

Хватая губами холодную мякоть, чувствуя языком сладко-терпкие брызги, Калмыков наслаждался вкусом граната, зрелищем голубых гор, двумя ишачками, пылящими по солнечной дороге. И уже начинали грохотать моторы, «бэтээры», осторожно выруливая, ломали каре, выезжали в степь, строились в маршевую колонну.

Глава шестая

В школе, в ранних классах, у него был товарищ, живущий на тесной улочке, по которой с морозным скрипом в зимнем солнце проползали красные заиндевелые трамваи.

Напротив в каменном низком доме размещалась баня, сырая, в сосульках, в темных потеках, с обвалившейся штукатуркой. В окнах бани, запотевших, обледенелых, туманно светились, неясно розовели женские тела. Они с товарищем, стыдясь друг друга, открыв форточку, подглядывали за этими близкими окнами. Если и в бане форточка была приоткрыта, то в ней вдруг возникала женщина – ее длинные мокрые волосы, овальные груди, белый округлый живот. Женщина куталась в простыню, поднимала ногу, вытирала колено, стопу. Исчезала из поля зрения. Пораженные зрелищем, они ждали, когда в туманном четырехугольнике форточки возникнет новая женщина, ее спина с ложбинкой, ее выпуклые груди с сосками, ее белизна, ее розовая влажная телесность.

Ночью, дома, лежа на узкой кушетке, видя, как мерцает зеленое стеклышко в абажуре, тускло светится золотой корешок старой книги, он не мог уснуть. Обнимал подушку, ворочался с боку на бок. Ему являлись эти дневные видения, обступали его. Он тянулся к ним губами, руками, хотел целовать распущенные мокрые волосы, выпуклые приподнятые колени. Все это кончалось мукой, опустошением, ночными слезами. Это было то тайное, неведомое миру, что превращало его отрочество в непрерывные печаль и страдание.

Легковая машина с Татьянушкиным и Валехом шла впереди по трассе, вытягивая за собой батальонную колонну транспортеров и гусеничных машин. Солдаты с оружием облепили броню, крутили во все стороны головами, рассматривали окрестности утренней незнакомой земли.

Калмыков, свесив в люк ноги, на головном «бэтээре» связывался по радиации с командирами рот, с начальником штаба, окликал растянувшийся шлейф колонны. В хвосте, в ее замыкании, следовали кухни с продовольствием, грузовики с боекомплектom, бензовозы с запасом топлива, две зенитные гусеничные «Шилки».

Встречный ветер был сладок, прохладен, давил на плотную ткань мундира, туманил глаза. Слушая доклады ротных, убеждаясь, что машины ровно, соблюдая интервалы, катят по бетонной дороге, Калмыков наслаждался студеной чистотой воздуха, пил его холод и сладость.

Природа вокруг казалась новой, пленительной. Оттенки света, форма камней, очертания растений – все волновало его. От шоссе разбегалась мягкая белесая степь, постепенно бугрилась и морщилась, превращалась в пыльно-серые складки, напоминавшие шкуры животных, из которых выдавливались сумрачно-розовые горы, превращались в далекий голубой хребет с одиноким ледяным зубцом. И хотелось улететь к его недостижимой бесплотной белизне.

Долина, по которой продвигалась колонна, была возделана. Изрыта каналами, прочерчена сухими и полноводными арыками, поделена на множество мелких клетчатых полей, уса-

жена садами и виноградниками. Поля были то бархатно-черные, освободившиеся от бремени злаков, то бело-золотые, в срезанной стерне, то свежейизумрудные, в молодых всходах, а одно, покрытое высохшими стеблями, казалось оранжево-красным. Боевые машины катили среди лоскутного многоцветия, словно ковры были постелены у подножия каменных гор.

– «Первый»! Я – «Тула»!.. Смотри на спидометр! Не виси у меня на корме!.. – регулировал он скорость колонны.

Калмыков с любопытством рассматривал жилища. Серые гладкие стены, словно отшлифованные мастерком, без дверей и окон, с резкими косыми тенями от уступчатых башен, напоминали крепости, за которыми укрылась невидимая экзотическая жизнь. Она представлялась пестрой, нарядной, с многоцветием шелков, медью сосудов и блюд. Люди, населявшие крепости, были в кольчугах, с луками, с круглыми щитами. Так вспоминал Калмыков старинную восточную картину в какой-то детской забытой книжке, ожившей вдруг на утренней афганской дороге.

Навстречу катили фургоны, огромные, крашенные, как сундуки. Хотелось подробней рассмотреть красно-синие и золотые наклейки, облепившие кабины грузовиков, взглянуть на смуглые лица шоферов среди блестящих бубенцов и подвесок. Но грузовики проезжали, оставляя на мгновение облако дыма, запах скотины и каких то пряных вялых плодов.

По обочинам шагали крестьяне с мотыгами и граблями, худые, высокие, в долгополых одеждах, в клубящихся шароварах. Лица, черноусые, бородатые, с большими носами, казались красивыми и приветливыми. Трусами этих крестьян, их мотыгами и кетменями был вырыт арык с бурлящей солнечной водой, посажен безлистный прозрачно-розовый сад, обработано бархатное черное поле с золотыми блестками перепаханной стерни. Вглядываясь в моментально возникавшие и исчезающие лица, свешиваясь к ним с брони, Калмыков испытывал похожее на благодарность чувство: приняли его, чужака, встретили на своей дороге, допустили до своих разноцветных полей и арыков его урчащие стальные машины.

– «Второй»! Я – «Тула»! – вызвал он на связь колонну. – Не растягивайся!.. Прижимайся к обочине!.. Встречные грузовики не ударь!..

Проезжали ток, горы бело-золотого зерна. Мужчины деревянными лопатами подхватывали зерно, кидали в воздух, засеивали небо белой рябью. Мякина, легкая как пух, летела к дороге. Стальные машины пронзали легчайший прах.

У каменистого придорожного кладбища, утыканного корявыми палками с вислыми зелеными лоскутьями, он увидел похоронную процессию. Мужчины в чалмах несли на плечах носилки. На деревянном трясущемся ложе лежал забинтованный покойник, белая мумия, готовая к погребению в камнях.

Страна, в которой он оказался, доверчиво открывалась ему. Он вел свою боевую колонну, стараясь не потревожить местный уклад и быт. Их и нельзя было потревожить – «бэтээры» и боевые машины с пушками, броней и прицелами были крохотными песчинками среди снежных вершин и ущелий.

– «Третий»! Я – «Тула»! – связывался он с ротами. – Посади славян под броню!.. Оставь на броне мусульман!..

Они проходили придорожные посты и дозоры. У мостов через мелкие речки были отрыты окопы, навалены мешки с песком. В амбразурах торчали пулеметы. Закопченные солдаты вяло полулежали у дымных костров, грели в котелках неведомую пищу.

Несколько раз колонну останавливали. Навстречу легковой машине перед опущенным шлагбаумом выскакивал солдат, выставив штык вперед. Колонна замирала, накатывалась, сжимала интервалы. Бронемашин хрипели дымом, пока Валех и Татьянушкин показывали караульным документы. Шлагбаум подымался, и они продолжали движение мимо солнечных горных вершин и туманных синеватых ущелий, вдоль обочин с загорелыми, в долгополых одеждах, людьми.

Они проезжали низкую лепную изгородь, за которой кудрявились и топорщились колючие заросли, полные голубого и розового воздуха. Перед изгородью в рытвинах белели высохшие камыши. Калмыков следил за бахромой седых камней, за волнистой лепной оградой, за людьми в белых чалмах, выставивших над забором свои бородатые лица. Это были все те же крестьяне, и в руках у них были орудия труда, которыми они рыхлили землю вокруг розовых старых яблонь, долбили почву арыков.

Он увидел, как мелькнули две вспышки. Отвратительный скрежещущий звук прошел по броне, проник в его кости и мышцы – звук ударившей пули. Люди в чалмах передергивали затворы винтовок, сносимые скоростью, целили в следующий, пролетающий мимо них броневик. С брони, откинувшись в люке, Грязнов долбил из автомата, подымал на глиняной стене солнечную горчичную пыль. Люди в чалмах убегали, исчезали в безлистных садах. Колонна останавливалась, начинала палить в сады, пронизывая пулями розово-синий воздух, стремилась достать невидимых, убежавших стрелков.

– Отставить огонь!.. Автоматчики!.. Цепью!.. Грязнов, прикрой пулеметом!.. – Калмыков, сгребая с брони солдат, пригибаясь, кинулся к тростникам, проскальзывая их шелестящий прозрачный занавес. Рядом Татьянушкин и Валех, оба с короткоствольными автоматами, пронирали белесую волну стеблей, ломали сухие метелки.

Подбежали, плюхнулись у сухой шершавой стены. Калмыков разглядел россыпь мелких выбоин – следы ударивших пуль. Медленно, выставив вперед автомат, поднялся, готовый к выстрелу, к кувырке, к падению.

Заглянул через стену. Стояли прозрачные безлистные яблони. Тянулись канавки, полные опавшей листвы. На листве, на спине, упав навзничь, отброшенный выстрелами, лежал человек. Чалма отлетела в падении, и бритая бугристая голова казалась чугунно синей. На вытянутом жилистом горле чернела дыра. Из нее вяло, липко, как вар, текла кровь. В торчащей бороде блестели оскаленные зубы. Открытый рот был полон крови. Рядом, дулом в сторону, валялась винтовка – лысый приклад, окованный медными скобами, белый, утративший воронение ствол, круглый набалдашник затвора. Убитый лежал среди бледных зайчиков света. Его обступили солдаты.

– А я гляжу, винтовка!.. Ну, цирк!.. Я хотел сказать, а он шмяк!.. – изумлялся, ужасался маленький чернявый солдатик, показывая свой автомат с расщепленным прикладом. Пуля прошла насквозь полированное дерево, выломала колючие щепки. Глаза солдатика перебежали с пробоины в дереве на дыру в человеческом горле, из которой текла смоляная жижа.

– В кого он, гад, стрелял!.. В тебя, командир! – говорил Грязнов Калмыкову. Он утапывал землю вокруг убитого, двигаясь по невидимому кругу, не смея переступить черту, за которой лежал человек, сраженный его автоматом. – Я машинально сработал!.. Меня бьют, я бью! – оправдывался он, не понимая смысла происшедшего, пугаясь случившегося. Он прилетел в чужую страну и тут же убил человека. – Меня из засады колотят, а я отвечаю!..

– Эйхванцы! Мусульманские братья! – Татьянушкин наклонился к убитому, заглядывая в его выпученные, полные слез глаза, в лунку рта, где скопилась черная кровь.

Валех, гибко изгибаясь спиной, похожий на чуткого зверя, наклонился к винтовке, рассматривал опавшие листья, удалялся к яблоням и опять возвращался.

– Взять!.. Сдать в разведку!.. Там найдут, как зовут! – указывал он стволом на лежащего.

Калмыков чувствовал запах, исходящий от убитого. Сквозь прель опавших листьев, сладковатый дух коры и растревоженной подошвами земли сочился едва различимый парной душок крови, слюны и слизи. Этот запах окружал лежащего человека, словно в испарении смерти еще витала его душа, не желала расставаться с остывающим телом, не хотела улетать сквозь прозрачные сине-голубые ветви сада. Это был запах чужой страны, в которую ударились бронированная колонна, умертвила живую плоть.

Офицеры, покидая машины, сбегались к ограде. Расулов хищно топорщил усы, перехватывал автомат, смотрел на убитого, вглядывался сквозь стволы безлистого сада, словно жалел, что не ему досталась добыча, не его автомат сразил человека в чалме.

Баранов носком ботинка трогал винтовку, осторожно, гадливо, будто желал убедиться, что винтовка, как и ее хозяин, не оживет и не выстрелит.

Беляев поднял из листьев оброненные четки, чешуйчатые, сверкающие, как змейка, с мохнатой кисточкой, незаметно сунул себе в карман.

Последним, запыхавшись, подбежал начальник штаба. Едва не натолкнулся на распростертое тело. Оттолкнулся вытянутыми ладонями от задранной вверх бороды, пробитого горла, больших, запачканных грязью рук, сжатых в кулаки. И вдруг побледнел, стал оседать и заваливаться, жалко лепетал бескровными губами.

Татьянушкин подхватил его налету, бережно уложил, стал пошлепывать по щекам, возвращая им цвет и румянец.

– Ничего... Бывает... Кровь не всякий выдерживает...

Солдаты схватили убитого за рукава и штаны, понесли низко над землей. Его голова запрокинулась, и из переполненного рта, через лицо, через лоб, по бритой бугристой голове потекла жирная кровь. Калмыков, шагая за красным измазанным лицом, хотел понять случившееся. Какие страдание и ненависть двигали человеком, стрелявшим из старомодной винтовки по пулеметам и пушкам. Какую вину испытывал ротный Грязнов с веснушчатым белесым лицом, застреливший ненароком афганца. Что за страсть и тайный порок заставили капитана Беляева стащить мусульманские четки. Какие слабость и немощ опрокинули начштаба Файзулина, расторопного, проворного офицера, первый раз увидевшего смерть. И кто он такой, Калмыков, подполковник разведки, идущий сквозь белый сухой тростник по сухой земле, стараясь не поставить стопу на красные бусины крови.

И вдруг простая догадка объяснила ему происшедшее: он со своим батальоном попал на войну. В стране, куда они приземлились, шла война. Его батальон, его переодетые в чужую форму солдаты стали частью войны. И эта догадка мгновенно упростила всю мнимую сложность его переживаний. Мнимая сложность стала свертываться и сжиматься в жестокую точку, как капля стального солнца на стволе его автомата.

– Грузи его на корму!.. Тросом его приторачивай!.. – командовал деловито Татьянашкин.

Они опять катили по шоссе. Калмыков оглядывался на корму «бэтэра», где пузырились белые шаровары убитого, перечеркнутые масляным тросом. Передавал по рации ротным:

– Я – «Тула»!.. Всем коробкам развернуть пулеметы «елочкой»! Личный состав под броню!.. Как поняли меня?... Прием!..

Видел, как транспортеры и боевые машины разворачивают дула в разные стороны. Ведут вдоль обочин вороненой сталью.

В отрочестве ожидание любви, ее предчувствие, выкликание усиливалось летом, когда заканчивались занятия в школе и он уезжал в деревню. Зимой, в тесной квартире, в мотаниях по огромному городу, в толпе, в школьной суете это чувство было мукой, страданием, почти позором. А в деревне, на просторе, среди теплой, чудесной, зеленой природы это ожидание и выкликание любви превратилось в сладостное переживание, в творчество, волшебство.

Он купался, плавал в темно-зеленом омуте в стороне от глаз. Ждал – вот-вот в воде среди водорослей, пузырьков появится чудная женщина и он прижмется к ней. Ее мокрые белые руки обнимут его, мокрые длинные волосы прилипнут к его груди. Пробиваясь в травах, вдоль зеленой занавески колосьев, среди стрекоз, желтых бабочек, сладко-душистой пыльцы, он ждал: на розовой тропке появится женщина в сухом легком ситце, с босыми, в белой пыли ногами, с выгоревшими чудно-золотистыми волосами. Белозубо улыбнется ему, и он прижмется лицом к ее смуглому, с белой ложбинкой вырезу на груди, вдохнет ее теплый чудесный аромат.

Он умолял реку, цветы на опушке, вечернюю звезду в зеленоватом небе – умолял послать ему любимую. И эта мольба, это выкликание было древним, языческим, сказочным, и он знал – еще немного, еще несколько дней и ночей, и любимая явится.

Они оставили труп мятежника на ближайшем придорожном посту. На броне, где висело притороченное тросом тело, осталось влажное липкое пятно. На него налетела сухая, как пудра, пыль. Солнце и ветер высушили кровь, и Калмыков, оглядывая колонну, видел корму «бэтээра» с серым пыльным пятном.

В Кабуле они оказались внезапно. Вдруг кончились мерцающие поля и арыки, глиняные лепные дувалы, и их обступил многошумный пестрый копошащийся город, со множеством лиц, лавок, пестрых одежд, вывесок, медных вспышек, трескучих дымных колясок. Стало тесно, душно, шумно. Катились навстречу юркие желто-белые такси, бежали ишаки, семенили впряженные в двуколки рикши. И над всем в ослепительной синеве возвышались две каменные скалы, чьи вершины чуть серебрились от снега.

– Я – «Тула»! Я – «Тула»! – взывал Калмыков по радиации, страшаясь этого шумного многолюдья, в которое врезалась колонна. – Механики-водители, зорче!

Он пугался близких выруливающих велосипедистов, боялся услышать хруст разбитого, раздавленного тела, звон переломанных спиц. И восхищался, возбуждался видом фантастического азиатского города, куда внезапно его поместили.

По скалам клетчато, чешуйчато теснились лепные дома. Вверху, в синеве, превращались в кромки острых поднебесных камней. Казалось, город помещен в огромной раскрытой раковине, чьи перламутровые створки растворились в синее небо, а внутри живет и дышит сочный тысячеглазый моллюск.

Он следил за легковой машиной, возглавлявшей колонну, боясь ее потерять, и тогда он вместе с батальоном потеряется, заблудится среди этого многоликого скопища. Связывался с командирами рот, принимал от них сообщения, во все глаза смотрел на мелькающий фантастический город.

Проехали лавку, освещенную в глубине, напоминавшую маленькую разноцветную сцену, где среди коробок, наклеек, банок и фляг сидел краснолицый торговец, что-то взвешивал на медных зыбких весах.

На тротуаре, на коврике, сидел человек с наклоненной головой, длинной вытянутой шеей. Другой человек намыливал его макушку, заносил над ней тонкое лезвие бритвы.

У крана с водой водоноша с морщинистым, усталым лицом подставлял под бегущую струю кожаный бурдюк, наполнял его сквозь горловину. Другой водоноша, жилистый, мокрый, в кожаном фартуке, навьючивал на себя полный, отекавший каплей бурдюк, устремлялся в узенькую, ведущую в гору улицу.

Голоногий, в грязной повязке парень, с выпуклой мускулистой грудью, толкал перед собой двуколку с горой оранжевых апельсинов. Тут же на этой повозке, как маленькая недвижимая статуя, восседал старичок. Его лицо было похоже на желтую сухую луковицу.

В одном месте колеса и гусеницы колонны прошли по грязной земле, на которой лежали черно-красные драгоценные ковры. Калмыков испугался, как бы сталь гусениц не задела, не истерзала сочный узорный ворох. В другом месте из лавки глянул на него рыжеполосатый лобастый тигр – шкура, выставленная в витрину, напоминала зверя в прыжке.

Они катили сквозь глинобитные теснины домов, мечетей и рынков, попадали то в дым жаровен, то в облако визгливых громогласных мелодий. Калмыков изумлялся: лишь вчера он был в своем родном гарнизоне, в знакомой стране и земле, потом погрузился на транспорт и летел на белую немую луну, ожидая оказаться среди остывших и мертвых пустынь, а оказался в громогласном горячем городе. Это и была та луна, на которую он прилетел, не в пустыню и

льды, а в тысячную толпу, в музыку, в дым жаровен. Луна была населена смуглолицым народом, клубившимся у мечетей и рынков.

Они проехали Кабул насквозь, обогнули помпезные смугло-желтые палаты и оказались среди пригородных холмов, где были остановлены у шлагбаума. Навстречу из караульной будки вышли офицеры, и среди них высокий, костистый, в фуражке с высокой тульей, с красными галунами. Здороваясь с ним, козырнув и пожав протянутую руку, Калмыков ощутил брызнувшую на него едкую неприязнь. Губы офицера брезгливо улыбались, а глаза остро и зло бегали по колонне, тревожно пересчитывали машины, солдат. Калмыков поразился его руке – огромной, костистой, цепкой, словно хватающей кузнечные инструменты.

– Начальник гвардии полковник Джандат! – Татьянушкин знакомил с ним Калмыкова. – Товарищ Джандат, спецбатальон прибыл в ваше распоряжение!

Джандат не понимал по-русски. Переводчик Николай переводил, и тот кивал, улыбался, бегал жгучими подозревающими глазами по остановившимся машинам.

– Полковник Джандат просит проследовать в район дислокации и строго придерживаться режима и распорядка при несении охранных функций. Не покидать без разрешения казарм. Все перемещения в зоне ответственности производить с личного разрешения начальника гвардии!

Эта встреча удивила и раздражала Калмыкова. Казалось, его не хотели здесь видеть. Он был навязан извне. С его появлением надлежало мириться, но никак не радоваться его появлению.

– Вечером, после размещения, товарищ Джандат встретится с командиром батальона и подробно расскажет о несении службы...

Колонну пропустили сквозь пост, провели по холмистым распадкам, остановили у двух длинных недостроенных казарменных строений. Саманные стены были в грязных потеках. Окна зияли без стекол. Вместо дверей сквозила пустота. Полы, неоструганные, были в гудах тряпья и мусора.

– Вот ваше жилье, подполковник! – Татьянушкин виновато указывал на казармы, будто это он по оплошности обрек соотечественников на неудобства. – Обживетесь, обогреетесь!

– Обживемся, – соглашался Калмыков, уже весь в заботах о батальоне, разыскивая глазами начальника штаба. – Как с продуктами? С топливом?

– Завтра в посольстве вам выдадут деньги. Будете отовариваться сами на рынке. Солярка и дрова – из Союза! Уж очень здесь дрова дорогие!

Он попрощался, синеглазый, виноватый, обещая завтра приехать. Калмыков остался среди саманных казарм, расставлял машины у подножия холмов, отдавал приказы ротным. И уже расторопные солдаты, покрикивая, натягивали в оконных проемах плотный брезент, занавешивали двери пологом. И уже гудели печурки, наполняя промозглые помещения теплом и гарью. И ротный Грязнов, напускаясь на взводных, орал:

– Сортиры отрыть в количестве четырех!.. Дистанция – сорок метров!.. Если увижу, кто мочится у казармы, буду бить в лоб без предупреждения!..

Работа кипела, батальон обживался на чужой стороне, привез в незнакомую землю свой уклад, свой способ жить. Калмыков был рад этой суетливой, осмысленной работе. Бодрил солдат, покрикивал на офицеров. Обогнул казармы, направился вверх по холму, желая осмотреть окрестность.

Он поднялся по каменистой тропке, по серому пыльно-сухому склону, захватывая взглядом все больший простор окрестных солнечных гор, туманных лощин, далеких, чуть видных селений. Взошел на вершину и замер. Перед ним через тенистую низину на озаренном холме, бело-желтый, снежно-янтарный, стоял Дворец, стройный, легкий, с драгоценным мерцанием стекол. Он был похож на женщину в кружевах вокруг обнаженной шеи, с наброшенным на высокие нежные плечи платком, с самоцветами бус и браслетов.

Дворец возник так внезапно, был так прекрасен, знаком, из каких-то детских видений, из тревожных юношеских снов, из недавних предчувствий. Калмыков на вершине холма испытал мгновенное восхищение, будто от Дворца принесли к нему, неслышно ударили в сердце лучи, стали мягко опрокидывать навзничь.

Это был тот самый Дворец, во имя которого он, Калмыков, колесил по пустыне, стрелял, зарывался в песок, изводил себя в непосильных трудах. К этому Дворцу, на его притяжение летели в ночи самолеты. Здесь, у Дворца, в грязных казармах разместились солдаты, чтобы беречь его и хранить. Этот чудный Дворец привиделся ему в ночное мгновение среди женских объятий и шепотов. Об этом Дворце поведали карты в руках у гадалки Розы.

И теперь Калмыков стоял в горах загадочной азиатской страны и смотрел на бело-желтое диво, на восточный Дворец.

– Товарищ подполковник!... – кричал ему снизу прапорщик. – Вам где койку поставить?... Посмотрите и сами скажите!..

Он спулся обратно в долину, к людям, к машинам, неся в себе солнечное видение Дворца.

Глава седьмая

Он шел по опушке между зелеными ржавыми колосьями и молодыми лесными дубками. Бабочка-капустница опустилась на цветок красной лесной гераньки, распластала белые крылья, воздела мохнатое тельце, и другая бабочка страстно на нее налетела, била ее крыльями, обнимала темными лапками, и два их тельца, пульсируя, содрогались, стремились прильнуть друг к другу.

Он услышал хрип, чмокание, тяжелое простуженное дыхание. В колосьях, поломав, промяв рожь, рядом с пустой бутылкой, с яичной скорлупой, с ворохом белья, лежали мужчина и женщина. Бросились в глаза его худые подвижные ягодицы, острые, ходящие ходуном лопатки, желтые грязные носки на женских ногах.

Он ослеп, ужаснулся, остолбенел перед стеклянной стеной, за которой бились два опрокинутых тела. Женские руки обнимали мужские ребра. Две близкие растрепанные головы колотились друг о друга тупыми ударами.

Мужчина заметил его, оторвался от женщины, выгибаясь над ней. Повернул к нему красные выпученные глаза. Гнал его прочь своим стоном, кашлем, и он, очнувшись, побежал сквозь поле, просекая колосья, все дальше и дальше от ужасного хрипа, пустой на траве бутылки, от желтых, с грязными пятками, носков.

Начальник гвардии Джандат явился не к вечеру, как обещал, а наутро. Теперь он казался более приветливым. Выслушал доклад Калмыкова, приобнял его, и они трижды коснулись щекой щеки.

– Товарищ Джандат предлагает вместе объехать зону ответственности, – Валех, заместитель Джандата, переводил рокошующую речь начальника гвардии. Своим милым толстогубым лицом излучал радость от встречи с Калмыковым, влажными женскими глазами извинялся за резкость и нелюбезность командира. – Товарищ Джандат просит убрать «бэтээры» в низину, чтобы они без его разрешения не покидали места стоянки.

Калмыкова опять поразили громадные костистые руки Джандата, похожие на вагонные сцепки. Он отдал распоряжение начальнику штаба, видел, как кинулись к люкам механики, запустили моторы, отгоняя машины с удобной ровной площадки вниз, в пересохшее, каменистое русло ручья. Сел в машину за спиной у Джандата, и они покатали по холмам и низинам, и Дворец то возникал в прозрачном утреннем солнце, похожий на туманный мираж, то исчезал, словно его проглатывала и поглощала земля.

Они осматривали снаружи казармы гвардейцев, длинные, выкрашенные в серое саманные блоки, перед которыми на плацу маршировали солдаты. На дозорных вышках торчали пулеметы, и комбат прикинул: в казармах могло разместиться несколько тысяч гвардейцев.

Они объехали подножие горы, увенчанной бело-желтым Дворцом, и на склоне, пушками в разные стороны, стояли врытые танки. К ним вела змеиная тропка, танкисты тащили вверх котлы с завтраком, громко переговаривались.

Обогнув гору, проскользнули сквозь заросли безлистных деревьев, на которых перепархивали маленькие розовые горлицы. Осмотрели расположение зенитных батарей – четырехствольные установки были окружены брустверами, прикрыты маскировочной сетью. Офицер при их появлении отдал гортанную команду, и солдаты, побросав завтрак, выстроились у орудий, худые, смуглые, в мохнатой грубошерстной форме, как и он сам, Калмыков.

Они осмотрели всю территорию вокруг Дворца, с гладкими асфальтовыми дорогами, с грунтовой колеёй, и везде были посты, явные и открытые. Калмыков натренированным взглядом оценивал их численность, направление, которое они прикрывали, плотность и эффективность обороны, куда влился и его батальон, увеличивая мощь защиты.

Ко Дворцу, к вершине, вел серпантин с колоннами, троекратно опоясывал гору, приближался к высокому portalу с колоннами, завершался парадным въездом, куда подъезжали машины. Туда же, к portalу, от подножия горы к вершине, вела крутая многоступенчатая лестница с маленькими площадками, на которых стояли часовые. Фасад Дворца с великолепием хрустальных окон, лепных наличников смотрел на розовый сад, посаженный на круче. По этому саду, мелькая в голых яблонях, вела неверная зыбкая тропка. Все подступы ко Дворцу были плотно прикрыты, укреплены, простреливались из пулеметов и танковых пушек.

– Кто потенциальный противник? Где самые опасные направления? – выпрашивал Калмыков у Джандата, когда они стояли на маленькой тесной площадке, разглядывая туманный Кабул, горы в солнечной дымке, горлинок в бледном небе. – Кто может атаковать объект?

– Горы! Мятежники! Люди Гульбетдина! – Валех переводил ответ начальника гвардии, указывающего костлявым пальцем в сторону розоватых вершин. – Кабул! Много врагов! Люди Бабрака Кармаля! Предатели партии! – Бугристый палец был направлен в сторону города, его туманных мерцаний и вспышек. – Небо! Пакистан! «Ф-15»! – Палец был воздет к небесам, где ворковали, топорщили стеклянное оперение нежные круглоголовые горлинки. – Товарищ Амин переедет Дворец через одна неделя. Будем вместе держать охрану. Товарищ Хафизулла Амин большой друг Советский Союз. Афганистан, Советский Союз делаем одна революция!

Джандат положил руку на плечо Калмыкова, и тот сквозь толстую мягкую ткань ощутил костяное сжатие пальцев.

Он проводил свои школьные каникулы в маленьком городке, и на пирушке, где гуляли местные телефонисты, медсестры, студенты техникума, познакомился с курносой хохотушкой. Она угощала его пирогом, подкладывала вкусные рыжики. Он выпил одну за другой несколько блестящих стопок, видел, как близко от глаз дышит ее загорелая шея с синими стекляшками, как пунцово светится мочка ее уха, проколота сережкой.

Когда все танцевали, она увлекла его в темень улицы, повела по ночным деревянным тротуарам к реке, к шаткому подвесному мосту. Переступая по зыбким настилам, видя впереди ее светлое платье, он знал – сейчас случится долгожданное, желанное, страшное.

Она ввела его в домик, в темную душную комнату, освещенную слабым зеленоватым светом уличного фонаря. Пока она ходила в коридоре, шлепала босыми ногами, он вдыхал слабые незнакомые запахи, рассматривал желтевшую на стене гитару, кровать со старинными хромированными шарами, высокие остроугольные подушки.

Она возникла перед ним в темноте, босая, простоволосая. Он подошел, поднял ее пухлые руки, стал целовать ее шершавые пальцы, локти, плечи под короткими кружевными рукавич-

ками и близкую шею с бусами. Она улыбалась, гладила его по голове, повторяла: «Дурачок!.. Вот дурачок!»

Он поднял ее, тяжелую, смеющуюся, донес до кровати, уложил на подушку. Она с подушки тихо смеялась, помогала ему, убирала из-под его губ бусы, сильно прижимала к своему горячему, подвижному под тонкой тканью телу.

А он, касаясь ее гладкой кожи, ее бедер, скользя пальцами по ее дышащему животу, натолкнулся на волнистую, жесткую кудель лобка и вдруг почувствовал, как бесшумно взорвалась слепящая вспышка, вырвалась горячей болью, стоном. Он упал головой в подушку, переживая свой позор, свое несчастье, ненавидя и ее и себя, ее испуганный шепот, запах ее жаркого возбужденного тела.

Приехал Татьянушкин, расторопный, жизнелюбивый, в нарядной куртке, в красивом галстук, распространяя вокруг вкусный запах одеколона.

– Да у вас зимовье отличное! – восхищался он убранными, утепленными казармами, где на выметенных полах лежали матрасы, а на длинные потолочные следи вместо отсутствующих досок был натянут брезент. – Выпишем из Союза двухъярусные коечки, проведем электричество – и курорт! – Его синие смеющиеся глаза смотрели открыто и дружелюбно. Калмыкову важно было видеть их веселое, уверенное выражение. Оно подтверждало: все идет по правильной, продуманной программе. Он, комбат, поступает благоразумно и верно, а если по неведению вдруг начнет ошибаться, здесь, в чужом городе, есть друзья, соотечественники, умудренные, опытные. Они помогут советом и делом.

– Сейчас в гражданское переоденьтесь, едем в посольство, получим валюту. А потом на рынок, отоваритесь местным харчем. Не все же на сухпай нажимать!

Они выехали из расположения батальона. Калмыков и Татьянушкин на «тойоте» с витиеватым афганским номером, а следом за ними – военный грузовик с солдатами и прапорщиком – на базар, за хлебом и мясом.

Город казался таким же фантастическим, гончарно-золотистым и красным, будто дома и люди побывали в печи, и их обожгло, прокалило, покрыло глазурью.

В советском посольстве, нарядно-белом, с обилием мрамора, среди быстрых молодых людей они повстречали тучного чернявого человека, чьи волосы редкими сальными кольцами прилегли ко лбу, курносое лицо было румяно, с прозрачно-жирным колыханием щек, а маленькие плутоватые глаза насмешливо и колюче блестели.

– Ну что, встретили своих оловянных солдатиков? – остановил он Татьянушкина, погружая его руку в свои пухлые лапы. – Генералы прислали вам свой гостинчик?

– Прошу, командир батальона! – Татьянушкин, прерывая его бестактность, представил Калмыкова. – А это секретарь посольства Квасов.

– Рад познакомиться! – как ни в чем не бывало повернулся человек к Калмыкову. – Важно обозначить военное присутствие, а уж потом посмотрим, что из этого выйдет!.. Ну, еще встретимся, будьте здоровы! – И он покатился по мраморным ступеням, рыхлый, хитрый, довольный собой, оставив у Калмыкова смутное чувство тревоги и неприязни.

Калмыков получил у начфина толстую кипу денег, зеленые и красные купюры, от которых исходил странный горьковато-миндальный запах. Расписался в книге и, покинув посольство, вместе с Татьянушкиным отправился на базар за покупками.

Прежде он видел необильные среднерусские рынки, где в картофельных рядах рязанские тетki в платках плюхали на весы железные гири, а на мясных прилавках два-три мужика, выставив обрубленные свинячьи головы, аккуратно разворачивали из марли соленые белорозовые окорока. Видел и обильные среднеазиатские рынки с горами винограда и яблок, с квашенными арбузами и дынями, пряным духом солений. Но рынок Кабула, куда привел его Татьянушкин, был иным, невиданным.

Словно в земле раскрылись щели и трещины и оттуда, из неисчерпаемых глубин, вываливал ось людское варево, бурлило, клокотало, как лава, заселяло землю горбоносыми, черноглазыми, темнобородыми людьми в повязках, чалмах, в тюрбанах, в плещущих шароварах, в безрукавках, в долгополых балахонах. Все это множество толпилось, обступало лавки, приценивалось, присматривалось, било по рукам, вскрикивало, смеялось, гневало, считало деньги, хватало кули, сердито плевалось, усаживалось в чайхане и снова текло в проулках, лабиринтах громадного восточного рынка, над которым возносился зеленый глянцеви́тый минарет, похожий на прозрачную солнечную сосульку.

Татьянушкин вел его вдоль рядов, где на лотках и прилавках лежали огненные цитрусы, смугло-красные промытые яблоки, ржаво-железные заскорузлые гранаты, сине-восковые виноградные гроздья. Все это благоухало, отекало соком и сладостью. Торговцы с кирпично-красными лицами казались опьяневшими от медовых ароматов. Их фиолетовые губы под черными усами склеились от медового сахара.

– Привет, Зденек! – Татьянашкин окликнул молодого белолицего человека, выбиравшего фрукты. – Я тебе звонил, не застал. А ты вон чем лакомишься!.. Познакомься, мой друг из Союза Калмыков!.. А это Зденек Новотный, чешский экономсоветник!..

Вместе с советником был второй чех, немолодой, полный, в кожаной кепочке, с добрыми подслеповатыми глазками, в чьей сумке торчали ворохи зеленой травы, сине-стальные перья лука.

– Как Ирэна? Как Владек? – расспрашивал о ком-то Татьянашкин. Калмыков не хотел отвлекаться на эту случайную, совсем ему ненужную встречу. Смотрел на влажные, сгнившие от фруктового сока доски прилавка, на которых пламенел разрезанный арбуз. Торговец маленьким ножичком вырезал из мякоти сочные брусочки, отправлял себе в рот под усы, выплевывал сквозь белые зубы черные скользкие косточки.

– Заходи на виллу, выпьем, обменяемся новостями!.. Ирэне привет! – прощался Татьянашкин. Оба чеха кланялись, улыбались, и второй приподнял с лысой розовой головы кожаную кепочку.

В мясных рядах, на крюках, на воздетых шестах висели туши и полутуши, красные, ребристые, с обрубками ног, с перламутровыми жилами. На прилавках бугрились в тазах кишки, овечьи сердца, склизкие зелено-черные печени и лиловые почки. Пахло кровью, плотью, парным нутром, смертью, мочой и пометом. В загонах жались и блеяли обреченные на заклание овцы, а над ними висели мокрые шкуры только что забитых и освежаванных животных. Утоптаный грунт был черным от впитавшейся крови. Ее проливали здесь многие десятки лет, и земля напоминала кровавую засохшую коросту.

В мясных рядах Татьянашкин нашел быстроглазого молодого торговца в ковровой шапочке. Сердась, уходя и опять возвращаясь, сторговал для батальона десятков овечьих туш. Отобрал у Калмыкова пачку денег, отсчитал купюры, передал торговцу, приговаривая:

– Ты, Сайд, запомни моего друга!.. Шурави!.. Цену назначай, как сегодня!.. Если будешь обманывать, Аллах тебя покарает!.. Заболеешь!

Оба смеялись, хлопали друг друга по рукам, и торговец, цокая языком, улыбался Калмыкову, повторял:

– Шурави!.. Хорошо!..

Слюнявил, пересчитывал деньги, прятал под полу. Его помощники, быстроглазые юркие мальчишки, грузили туши на двуколку, шмякали их со стуком на доски. Прапорщик, следя за погрузкой, сурово тыкал пальцем в белую костяную хребтину.

– Еще погуляем, походим, – предложил Татьянашкин. – А потом купим хлеб и овощи.

Калмыкова не надо было уговаривать. Рынок засасывал его, увлекал, тянул вдоль бесконечных прилавков, изумлял множеством зрелищ.

Там пекли хлеб. В раскаленную земляную печь на палках опускали тестяные лепешки, прилепывали к нагретым глиняным стенам, и оттуда начинало тянуть жаром, пшеничным горячим духом. Гологрудый плотный пекарь наклонялся над огнедышащей полостью, озарялся красным, выхватывал из центра земли румяные лепешки.

Там резали овцу. Валили ее на землю, задирали, заламывали назад голову с мерцающими глазами, и мясник в грязно-белой чалме проводил маленьким лезвием, и в подставленный таз начинала хлестать алая звенящая гуща.

Там промывали горы зеленого лука, бережно лили из кружки серебряную струйку, и дети ловко смывали со стеблей грязь, сор, клали влажные изумрудно-синие перья на чистое полотенце.

Торговцы сидели недвижно в глубине своих озаренных лавок, среди рулонов мануфактуры, ворохов разноцветных материй. Калмыков не мог оторваться от птиц в деревянных маленьких клетках, мелькавших, как огненные искорки. Смотрел на разложенные ножи, мусульманские четки, поковки из латуни и меди.

Ему было хорошо среди рыночной толчеи. Он забыл и не думал о том, что явился в Кабул на военных машинах, что в стране, куда опустили его самолеты, шла война, что вчера на дороге был застрелен мятежник, а в землю у подножия Дворца врыты тяжелые танки. Об этом он больше не думал.

Он был в другом, небывалом сказочном времени, где люди в древних одеждах, не забывшие старинные ремесла и навыки, пекли первобытный хлеб, чеканили медь, лили кровь жертвенных животных. Он был счастлив и благодарен кому-то за то, что пустили его в это азиатское скопище, на этот древний вселенский торг.

Они сторговали гору лепешек, несколько мешков белоснежного рассыпчатого риса, груды помидоров и лука. Солдаты, помогая торговцам, толкали тележки с покупками, выдирались из желтого вязкого водоворота. На окраине рынка, у выхода, тянулись размалеванные грязные лавки. Медлительные продавцы деревянными совочками кидали на чаши весов горстки черного чая. Люди сбегались, возбужденные, шумные, махали руками, издавали истошные горланные вопли.

Татьянушкин и Калмыков проталкивались сквозь бороды, накидки, кошелки и увидели: на земле, на грязных истоптанных досках, лежал убитый. Добродушный толстяк чех, что недавно с сумкой ходил вдоль фруктовых прилавков. Его сумка лежала тут же, с синеватыми перьями лука. Кожаная кепочка, отпав от лысой головы, расплюсненно темнела рядом. Его полная грудь выдавливалась из растянутой куртки. На сбитой рубашке сочно краснело пятно.

Второй чех, Зденек, растерянно метался в толпе, что-то объяснял двум молодым черноусым афганцам. Увидел Татьянушкина, кинулся к нему:

– Стреляли в спину!.. Вот так!.. Михня упал!.. Оттуда стреляли!

Он показывал в черный проулок, где по-птичьему роилась толпа, укрывая убийцу. Из другого проулка, расчищая путь, пробиралась цепочка афганских солдат с автоматами. Окружала убитого, отгоняла любопытных.

– В меня стреляли!.. Попали в Михню!.. Вчера прилетел из Праги! Жена и дочка Натуся!..

И уже подкатывала двуколка, где на досках еще зеленели обрывки луковых перьев. Убитого положили на повозку, рядом поставили его котомку с покупками, подложили маленькую черную кепочку. Солдаты покатали повозку сквозь толпу, покрикивая, разгоняя людей. Зденек шагал за телегой, горестно приговаривая:

– В прошлый месяц югослава стреляли... Теперь Михня...

Татьянушкин приоткрыл полу своей спортивной куртки, под ней на шнурке за поясом торчал пистолет. Калмыков озирался на толпу. Повсюду были глаза, огненно-черные, жгущие, прожигавшие спину. Над грязными крышами рынка, над дымом и гомоном, льдистый, отточенно-острый, сверкал минарет.

Глава восьмая

Был вечер в мастерской у скульптора среди деревянных лакированных дев, бронзовых библейских старцев, алебастровых птиц и животных. Был пестрый, шумный, легкомысленный люд – молодые актеры, балерины, художники. Модный поэт читал новый стих. Известный певец пел под гитару романс. Кто-то показывал слайды Парижа. Кто-то смешил гостей. Он дорожил их обществом, признавал над собой их превосходство, завидовал свободе, легкомыслию, небрежному обращению с женщинами.

Среди гостей была одна, черноволосая, смуглая, с бриллиантовыми сережками, «жена дипломата», как ее называли. Дипломат был в поездке, в какой-то азиатской стране, а она задержалась в Москве, чтобы вскоре к нему уехать.

Он был рядом с ней, старался выглядеть взрослым, умным. Острил, не слишком удачно. Высказывал суждения о стихах и романах, неточные, приблизительные. Она улыбалась перламутровыми губами, поощряла его. Он ловил тончайшие струйки ее духов, разноцветные лучики бриллиантов. Чокался с ней бокалом, глядя, как тает, исчезает черно-красное вино в ее стекле.

Под утро вся ватага гостей утомленно поднялась и исчезла, оставив их вдвоем в мастерской.

Она обняла его, поцеловала в лоб. Пугаясь, робея, он прижал к себе ее мягкие ленивые плечи, целовал ее губы, чувствуя сладковатый вкус помады. Шелестящие прозрачные искры слетали с ее падающего платья, из которого она, словно из темной воды, шагнула к нему. И когда ослепление, гул, огромная вспышка света, подобная ядерному поднебесному взрыву, померкли, оставив за окном утреннюю синеву, голубоватые отливы на лакированных деревянных скульптурах, и она, сонная, с горячей подмышкой, набрасывала на себя стрекозинопрозрачную сорочку, он испытал мгновенное счастье, свободу и силу, уничтожение преград между собой и миром. Он оставлял в этой исчезающей ночи свое детство, отрочество, непонимание жизни. Был свеж, весел, любил эту женщину, бронзового отлитого старца, черепок разбитой вазы с табачным пеплом. Верил в себя безгранично.

Через несколько дней казармы были обжиты, щели законопачены ветошью, окна и двери занавешены брезентом. В печках гудели форсунки, впрыскивая пламя горячей солянки, и солдаты сновали у кухонь, рубили бараньи туши, лили воду в котлы. Офицеры повзводно проводили политзанятия, работали на технике, уводили роты на стрельбище, на серый отдаленный пустырь, окруженный сухими холмами.

Джандат пригласил Калмыкова вместе с ротными и начальником штаба на дружеский вечер в офицерские казармы гвардейцев. Быстро собрались, прихватив ящик водки, выданный на этот случай расторопным Татьянушкиным.

В длинной комнате с грубобелеными стенами на деревянном столе мерцал маслянисто плов. Стояли тарелки с оранжевыми плодами. Обильно блестели бутылки. На стенах пестрели ковры. Висел большой портрет Амина – властное, гладкое лицо, красивые умные глаза, выпуклые, резко очерченные губы.

Офицеры сидели плотно, сдержанно улыбались, едва знакомые, старались запомнить имена друг друга. Почти все афганцы говорили по-русски, косноязычно, неуверенно, извиняясь за свою путаную неумелую речь. Переводил Николай, помогал, связывал эти хрупкие отношения, следил, чтобы длились, не прерывались завязавшиеся за столом беседы.

Начальник гвардии Джандат, огромный, мускулистый, похожий на сохатого, большелобый, большеносый, поднял стакан водки.

Его тост был за прибывших в Кабул советских братьев. За высокую революционную задачу, возложенную на гвардию и советский батальон. За товарища Хафизулла Амина, вождя афганской революции, под чьим руководством афганский народ преодолеет все трудности, победит внутренних и внешних врагов и построит, по примеру своего великого соседа, справедливое общество.

Речь была длинная, громогласно-гортанная. Он хмурил мохнатые брови, ярко водил белками, поворачивал во все стороны жилистое тело. Казалось, он говорил для того, чтобы его слышал человек на портрете, властный, красивый, спокойный, ради которого они несли свою службу.

Калмыков слушал начальника гвардии. В рокотах и руладах ему чудились жестокость, угроза, обожание и восторг, беспощадная непреклонность и лукавство, беспредельная власть и преданность. Человек, который глядел со стены, знал цену звучащим восхвалениям, принимал их как должное.

Калмыков старался представить Амина живым. Как шевелятся в разговоре его плотные яркие губы. Как дрожит под подбородком гладко выбритый сытый жирок. Как медленно прикрывают глаза выпуклые смуглые веки. Хотелось понять, каков он, этот восточный вождь, недавно удушивший своего соперника, безраздельно управляющий азиатской страной среди мятежей, революций. Какие силы, таинственные и невнятные, связывают его, Калмыкова, с этим вождем, силы, затянувшие его к подножию янтарного Дворца, где ему, русскому офицеру, надлежит охранять чужого властителя от ненавидящих врагов и соперников.

Джандат выпил водку, вытер платком мокрые губы и жестом ладони, похожей на огромный совок, пригласил угощаться. Все потянулись к блюду, черпали ложками рассыпчатый плов. Рис благоухал, окутывался мягким паром. Каждое длинное зернышко, окруженное масляной пленкой, стеклянно мерцало. Валех наклонял к Калмыкову свое милое улыбающееся лицо, брал со стола нарезанный оранжевый плод, выжимал над тарелкой с пловом, окрашивал рис золотистым соком:

– Вот так ориндж выжимать!.. Вкусно, сладко!.. Афганский плов с ориндж кушать надо!..

Джандат извинился, сказал, что его ждут заботы во Дворце, где заканчивались последние приготовления перед вселением туда товарища Амина. Отдал честь и вышел. Мелькнули на погонах скрещенные мечи, высокая тулья фуражки. И всем стало свободней и легче. Офицеры-афганцы вольнее расселись, шире заулыбались, звонче зазвенели стаканами.

Лица афганцев были черноусыми, где каждый волосок отливал металлической синью. Одни – горбоносые, продолговатые, как у лосей и оленей. Другие – круглые, желто-скуластые, с островеселыми, хитрыми надрезами глаз. Они были из разных рас и племен, из разных потоков истории, мешавшей народы в азиатских горах и ущельях. Но все были счастливы и радушны, принимали гостей и братьев. Вместе пьянели, наливались счастливым хмелем.

Лишь один, маленький, круглоголовый, с прилипшей ко лбу черной прядью, не улыбался. Мрачно пьянел, двигал желваками на коричневых скулах. По всему лицу от прилипшей пряди через нос и колючую небритую щеку шел шрам, словно к лицу прикоснулся раскаленный железный прут.

Валех приближал к Калмыкову сиреневое лицо. Его мягкие, маслянистые от плова губы старательно, бережно выговаривали слова:

– Когда Одесса учился, девушка русский дружил, Лена звали!.. Очень добрый, красивый!.. Говорю: кончим войну, будет у нас хорошо, приедет Кабул!.. На море ходили!.. Море большой, теплый, рот попадает, соленый!..

На стенах афганской казармы висели ковры, бумажные цветы. В сухих предзимних горах притаились посты. Кто-то крался в ночи, пряча под накидкой винтовку. Азиатский огромный город засыпал, ворочался, гасил в трущобах лампы. Калмыков чувствовал свое опьянение,

как невесомое прозрачное пламя, омывавшее глазницы. Эти смуглые горбоносые люди, еще недавно неведомые и чужие, теперь казались родными и близкими.

– Ты мне покажи, как ваш крестьянин живет! – гудел Грязнов, принимая от соседа-афганца тарелку с пловом, где на белой горке риса смугло темнели кусочки мяса. – Если он бедный, так и у нас в России бедный!.. Ты так сделай, чтоб мужику стало легче! Ты ему землю дай, плуг дай, захребетников от него прогони, тогда он за тобой пойдет!..

Сосед кивал, соглашался, шевелил маленькими усиками, в которых застряло продолговатое зернышко риса.

– Землю даем, воду даем!.. Мулла говорит: «Землю – нельзя! Воду нельзя!» Муллу стрелять надо, стенка ставить!..

Калмыков их слушал, но смысл жестоких слов был неважен ему. Его прозрение помогало проникнуть сквозь непрозрачную коросту слов в светоносную сущность, где все они, недавно еще разобщенные, сидели теперь в едином застолье, роднились, братались. Не напрасно нес Калмыкова тяжелый транспорт, перелетал через хребты и ущелья, высадил в этом застолье среди смуглых добродушных афганцев.

– Ты, Мухаммад, пойми! – Расулов, нервный, горячий, бил по плечу соседа. – Я офицер, разведчик!.. Мое дело – война!.. Меня воевать учили на европейском театре!.. Могу штаб армии захватить, ракетный комплекс взорвать!.. У меня рота спецназа, понял, а не караульная рота!.. Ты мне войну покажи!.. В бой пошли!.. Где тут у вас воюют?

Сосед ответно хлопал Расулова по плечу, закручивал рукав своей офицерской рубахи. На жилистой смуглой руке среди вздувшихся мышц воспалился розовый шрам.

– Пуля!.. Джелалабад!.. Джелалабад бой идет... Полк горы ходит!.. К Пакистану ходит!.. Там пуля была!

– Бери меня в Джелалабад! – кипятился Расулов, блестя глазами, завидуя шраму. – Бери меня на войну, Мухаммад!

Калмыкову казалось, он их понимает обоих. Они были братья, друзья. В своих грубых мундирах, сжимая стаканы с водкой, были готовы подняться, сесть в боевые машины, вместе сражаться.

Ротный Баранов, розовый, возбужденный, жестикулировал, витийствовал, требовал от переводчика донести до афганского ротного глубинный, проверенный смысл своих назиданий:

– Революция везде победит!.. В Союзе она победила!.. В Польше, в Болгарии тоже!.. На Кубе тоже!.. И у вас победит!.. Одна революция должна помогать другой! Наша революция – мать, а ваша революция – дочь!.. Переведи! – требовал он у переводчика.

Тот наклонялся к сосредоточенному, жадно внимавшему афганцу, чье монголоидное лицо напоминало медное начищенное блюдо. Они обменивались рокошущими зычными звуками, и переводчик возвращал Баранову его же слова, отраженные от начищенной медной поверхности:

– Он говорит: «Ваша революция – мать, а наша революция – дочь!» Калмыков слабо вникал в суть разглагольствований. Суть была не в

словах. Она была в огромном дуновении мира, охватившем моря, континенты, судьбы людей и народов. Они, здесь сидящие, были пылинки, подхваченные этим дуновением. Их несло в одну сторону, быть может, в гибель и смерть. Но сейчас, в этом застолье, они были братья, верили, любили друг друга, и в этом была драгоценная, светоносная сущность. Беляев выхватывал из плова коричневые ломтики мяса, быстро проглатывал, продолжая жевать, выпрашивал у соседа, восточного красавца, чьи тонкие пальцы с розовыми ногтями украшал перстень с камнем:

– А сколько стоит мех в лавке?... А сколько серебро?... А золото есть в продаже?...

Красавец мягко поводил своими влажными, как у антилопы, глазами, отвечал:

– Был очень богатый люди!.. Был очень бедный!.. Богатый ушел Пакистан!.. Бедный – в солдат!.. Мы – не богатый, не бедный!.. Мы – офицер, гвардеец!..

И это казалось Калмыкову понятным, свидетельствовало о доверии, дружбе. Беляев проехал в «бэтээр» по городу, углядел из люка бесчисленные ларьки и прилавки, распростертых в витринах барсов, мишуру украшений, красные узоры ковров. Не имел ни гроша в кармане, но приценивался, приглядывался, выводил у афганца цены на пушнину и золото.

Все они, сидевшие в застолье, гомонившие, пьющие водку, ронявшие на скатерть зерна риса и капли бараньего жира, были братья. Плыли, ухватившись за доски стола, в огромном безымянном потоке.

Расулов отодвинулся на стуле. Выхватил из сумерек гитару. Положил на колени рыжий гулкий короб. Ударил по струнам.

*Прилетели мы в Баграм,
Очень мы устали,
А приехали в Кабул,
На охрану встали.
Развернули «бэтээр»
Пулеметом в горы.
Если сунутся к Дворцу,
То узнают горе...*

Он пел, наклонив к гитаре черноусую голову, ярко скалился, надувал на шее пульсирующую жилу. Его косноязычная, наспех сочиненная песня вызывала у афганцев восхищение. Они притоптывали под столом, прищелкивали пальцами, прицокивали языками. Калмыков и сам восторгался этим энергичным бряцанием, яростной музыкой, бесхитростным стихом, в котором уместились впечатления от гончарного восточного города, лихость, вопреки всем тревогам, смелая бесшабашность, вопреки всем опасениям.

После Расулова пели афганцы. Они встали в рост, напрягая груди, одинаково встряхивая черноволосыми головами, пророкотали, прогудели, простонали воинственный гимн, в котором звучали непреклонность, отвага, готовность маршировать в боевых колоннах и что-то еще, сверх этого, от чего сердце у Калмыкова дрогнуло, сжалось болью, как бывало, когда он слушал песни минувшей войны. Если их долго слушать, то в глазах становилось горячо и туманно.

Но эта боль и это болезненное предчувствие продолжалось недолго, ибо все они, сидящие в застолье, не сговариваясь, по невидимому согласию и знаку, заулыбались, закивали и, сладостно, отрешенно закрыв глаза, запели «Подмосковные вечера», радуясь возможности произносить одни и те же слова, переживать одни и те же чувства. Калмыков не любил эту сентиментальную, петую-перепетую песню. Но, слушая ее здесь, в Кабуле, среди предзимних холмов, где прячется мятежник с винтовкой, несутся пули и падают убитые люди, он вдруг ощутил острую нежность к поющим. Многоголосый хор соединял их в братство по оружию, по судьбе, по военной доле.

Его душа, обремененная заботами и предчувствиями, устремлялась в лучистое, удаленное в бесконечность пространство. Он чувствовал молниеносный рост души, испытывал необыкновенный восторг, нежность. Из груди, из сердца рвался стремительный светоносный луч, сквозь косматую ткань мундира, сквозь глинобитную стену казармы, теснины гор, ночные тусклые тучи – ввысь, в беспредельность. Там, в этой беспредельности, нашел и коснулся безымянного, беспредельного, чудного и вернулся обратно, в грудь, в сердце, в сумрачную казарму.

Офицеры пели, коверкали, переиначивали петые-перепетые слова, а он не мог понять, где он только что побывал, с чем на мгновение встретилась его душа.

Очнулся от грохнувшего по столу удара. Маленький офицер афганец с плотными, прилипшими ко лбу волосами, с багровым накалившимся шрамом саданул кулаком по столу. Его лицо дергалось от множества мелких, сменявших одна другую гримас. Сквозь оскаленные свистящие зубы брызгала слюна. Он хрипел, выдыхал ненавидящие рокочущие слова. Все смолкли, слушали его хрип и клекот.

– Что говорит? – Калмыков обратился к переводчику, чье чуткое лицо, побледневшее, отражало лицо кричавшего, и казалось, на нем вот-вот выступит поперечный шрам. – Что он такое кричит?...

– Говорит, в партии засели предатели!.. В армии засели предатели!.. Предатели убьют революцию!.. Предатели убьют товарища Амина! Надо стрелять предателей!.. Он сейчас поедет в тюрьму Пули-Чархи, где сидят арестованные предатели, и расстреляет их своими руками!.. Он подвесит их к потолку и станет по кусочкам срезать с них кожу!.. И тогда они скажут, кто им платит деньги, чтобы убить революцию, убить товарища Амина!.. Он сам, своими руками, расстрелял в Герате восемнадцать предателей, прокравшихся в армию и партию!.. Стрелял и будет стрелять!..

Он хрипел, ненавидел, бил по столу кулаком. С ним случился припадок страдания. Его товарищи кинулись к нему, схватили за руки, унимали, лили в рот водку, а он хрипел, отбивался, грыз стакан, а потом вдруг утих, умолк. Сник над столом, качая скуластой плосконосой головой с побледневшим шрамом.

Грязнов обошел стол, налил в стакан водку.

– Лучше пить, чем бузить! – говорил он, булькая бутылкой. – Лучше пить, чем стекла бить!

Валех, огорченный случившимся, извиняясь перед гостями улыбкой, поднялся:

– Будем вместе всегда! Будем дружба всегда!.. Здравствует Советский Союз! Здравствует товарищ Хафизулла Амин!..

Все встали, чокались, пили. Снова гомонили и пели.

– Будем вместе всегда! – Валех наклонился к Калмыкову, горбоносый, глянцевитый от пота, шевеля мягкими, блестящими от водки губами. – Тебе подарок даю!.. Моя дружба тебе!..

Он снял с запястья браслет с часами. Под граненым хрустальным стеклом дрожала золотистая стрелка. Протянул Калмыкову.

Тот отстегнул свои, неоновые, с тусклым стеклом, истертым о пески и броню, поднес на ладони Валеху. Они обменялись часами, нацепили их на запястья, пожали друг другу руки.

– Твое время – мое! – смеялся Валех. – Мое время – твое!.. Живи по афгански время!

Чернявый офицер за столом что-то тихо бормотал, закрыв глаза, скрипел зубами. Внезапно поднимал тяжелые, липкие веки, и под ними горели, вращались ненавидящие безумные зрачки.

Они возвращались в свою недостроенную казарму, светя фонариками, выхватывая из тьмы серую каменистую тропку. Калмыков приотстал, пропуская мимо командиров рот, начальника штаба.

Хмельные, веселые, бестолково посмеиваясь, они глотали студеной ночью ветер гор.

– Что отстаешь, командир? – Файзулин ослепил его на мгновение фонариком, а потом перевел огонь на свое блаженное улыбающееся лицо. – Афганцы – мужики подходящие! Мусульмане, а пить умеют!

– Ступайте, я догоню! – отсылал их всех Калмыков, глядя, как удаляются, мигают, пересекаются лучики света.

Он не стал спускаться к казармам, а косо, по склону, двинулся к вершине холма, вырезая себе путь фонарем. Спотыкался, торопился, тянулся вверх, не понимая, зачем и куда идет. Достиг вершины и стал, задыхаясь.

Дворец в ночи сиял золотыми окнами, распуская в холодную тьму зарево света. Казалось, парит, не касаясь земли, упираясь в гору столбами огня. Опустился из неведомых запредельных высот. Вот-вот оттолкнется и взмоет. Уйдет, исчезнет, превращаясь в малую искру.

Калмыков стоял на холме, обдуваемый ледяным чистым ветром, смотрел на Дворец. Хотелось туда, в неведомые залы, где, казалось, идет ночной праздник, – наглядеться на убранство Дворца, на люстры, на драгоценные вазы, на наряды и лица танцующих. Дворец влек его, притягивал, манил таинственной красотой. С горящим лбом, улыбаясь, он тянулся на золотистое зарево. Медленно брел обратно, неся в себе видение Дворца.

Спустился к казарме, к глухому фасаду, где окна были затянуты брезентом, и за ними глухо, многогласно урчала жизнь батальона.

Глава девятая

Уже курсантом училища, сделав военный выбор, он встречал Новый год под Москвой на даче художника-пейзажиста. Приехали московские гости – историки, студентка университета, зеленоглазая, насмешливая, милая. За столом он оказался с ней рядом. Острил, наливал в ее высокий бокал шампанское, а потом танцевал, играл в шарady то восточного принца, то рычащего первобытного зверя.

Уже было разбито несколько елочных игрушек, уже от бенгальских огней едва не вспыхнула занавеска, и толстяк историк, с седыми кудрями, поднялся на стул и читал свои вирши, когда они вдвоем, накинув шубы, выскользнули на воздух.

Ночной мягкий снег лежал на заборах, на деревьях, на деревянном столе и скамейках. Туманно голубела луна. Они поднимали головы, чувствовали разгоряченными лицами опадающую холодную изморозь. Смотрели на голубоватую луну, на черную веточку, перечеркнувшую лунный круг. Он ее целовал, видел ее близкие закрытые веки, черную веточку, заслонившую круг луны.

Эта любовь была мгновенной, сильной, как расширяющиеся волны света, захватывающие в свое свечение необычные переживания, фантастические мысли, необыкновенные прочитанные книги, выученные наизусть стихи, удивительные знакомства и встречи. И среди всего этого была она, ее зеленые насмешливые глаза, пышные, душистые, щекочущие губы волосы, ее комнатка в деревянном доме в Сокольниках, где в открытую форточку залетал легкий снег, запах свежих булок, скрип проходящей электрички.

И в этой любви он впервые ощутил свою телесную силу и красоту, неутомимость гибких мускулов, когда бежал за ней по лыжне, видя, как скользят ее зеленые свистящие лыжи. Она оборачивалась к нему смеющимся розовым лицом, и потом плечом к плечу они лежали в душной темноте, и он, устало закрыв глаза, видел ее всю, от рассыпанных по подушке волос до кончиков пальцев, зная, что она принадлежит ему безраздельно, создана для него, все ее биения, шепоты, ароматы отданы ему, для него.

Любя ее, он вдруг остро и радостно открыл для себя природу. Драгоценность снега, в который заморожены сухие зонтичные цветы. Красоту туманного тяжелого ливня, грохочущего по дубам. Сочную густоту сине-желтых цветов в колее, на которой босые ноги оставляют черные чавкающие отпечатки. Его зрачки научились различать тончайшие оттенки синего цвета – неба в бело-розовых весенних березах, капель воды в чашечках красных осиновых листьев, вечерней зари с первой водянистой звездой.

Он понял глубину и величие родной истории, когда ездили в Александровскую слободу, обитель Грозного царя, взбирались на звонницу Ростова Великого, где на огромных колоколах, среди медно-зеленых рельефов ворковали голуби. Она, его милая, филолог, знаток древних текстов, читала письма на каменных, вмурованных в стены плитах, – об усопших монахах и

воинах. Любя ее, он любил ее вместе со старинными усадьбами и церквями, которыми любовались ее любимые зеленые глаза.

Он переживал мгновения полноты и могущества, когда господствовал над всем белым светом, заслоняя его от напастей, помещая в свою хранящую и спасающую любовь всех милых и близких, все живые и неживые творения.

Зима, снегопад, темная хрупкая веточка, отпечатанная на лунной поверхности.

Батальон обживался, осваивался. Роты повзводно водили машины в горах. Операторы «Шилок» наводили стволы зениток на далекие вершины, изрыгали из пушек струи огня, и вершины окутывались дымом, снаряды вырезали ниши в граните, рассеивали в небе каменную летучую пудру. Калмыкова заботили начавшиеся у солдат простуды и расстройства желудка – сказывались новая пища, климат, состав воды. В Кабуле действовал советский госпиталь, работали русские врачи. Их собирался навестить Калмыков.

Утром приехал Татьянушкин, на кофейной «тойоте», в кожаной куртке, в джинсах, похожий на спортсмена.

– Покатаемся, город посмотришь! – пригласил он Калмыкова, и тому было неясно, то ли это дружеское приглашение, то ли неявный приказ.

– Мне бы надо в госпиталь, – сказал Калмыков. – Медикаменты взять. А то личный состав прихварывает.

– Заскочим. Главврач – мой дружок. Получим таблетки!

Они уселись в «тойоту». Следом в «УАЗе» разместился Расулов с санинструктором. Двумя машинами, не теряя друг друга из виду, покатали по утреннему Кабулу.

Калмыков опять изумлялся, восхищался видом азиатского, грязно-коричневого, нежно-золотистого города с внезапным огненно-красным мазком ковра, зелено-голубым минаретом. Машина зарывалась в толпу, в ворохи тканей, накидок, в скопление повозок, в пыльные мешки и котомки, а потом неслась среди великолепных вилл с мерзлыми безлистыми садами, стынувшими блеклыми розами.

– Смотри, вот здесь телеграф, радиоцентр, телевидение! – указывал Татьянушкин на белый, облицованный мрамором дом, над которым ветвились антенны, а поодаль на лужайке, пушкой к улице, стоял танк. – А вот там за кустиками колодец с узлом связи! – Калмыков разглядел сквозь ветки бетонную тумбу с люком. Под ней в глубине таились клубки кабеля, распределительные коробки, подземные коммуникации. – На карте отметь! – Татьянушкин развернул карту Кабула, и Калмыков послушно отметил значком расположение радиоцентра.

– А это комитет государственной безопасности ХАД, – указывал Татьянушкин на высокий забор с воротами, за которыми стоял караул и виднелась в саду группа зданий. – Охрана – два взвода! Отметь на карте!

Калмыков отметил. Карта была знакомой. Та же, что висела в Союзе над его изголовьем в гарнизонной квартире.

Они колесили по городу. Повинуясь Татьянушкину, Калмыков наносил на карту Дворец Революции, похожий на рavelин, с уступчатыми башнями и глухой стеной. Министерство иностранных дел – ребристая призма, облицованная серо-голубым камнем. Посольство Америки – чопорное здание, окруженное зеленым газоном, за чугунной оградой, увитой колючей проволокой.

Они объехали город, и Татьянушкин указывал ему расположение полка «коммандос» в крепости Балла-Хиссар, дислокацию двух танковых батальонов, трассы, по которым танки из пригородных гарнизонов могли быть переброшены в центр. Калмыков чутким взглядом разведчика, с обостренной интуицией всматривался в возникавший на карте чертеж. Город переставал быть скоплением базаров, минаретов и лавок, становился системой объектов, имевших оборону, пути подходов, способы преодоления препятствий. Город был центром управле-

ния государством, сам имел центр, нервную ткань управления, спрятанную среди клубящегося многолюдия, зимних прозрачных садов, восточных дворцов и мечетей.

Калмыков испытывал скрытое волнение, почти нетерпение. Ему открывали истинное строение города – узлы его жизни и смерти. Военный разведчик, командир батальона спецназа, он мог воздействовать на эти узлы точечным умелым уколом. Кабул, как моллюск в перламутровой раковине, пульсировал, жил, а он разглядывал его своим острым колючим взглядом.

– На сегодня довольно, – сказал Татьянушкин. Его синие глаза были холодными и стальными. – А теперь развлечемся немного. Зайдем в лавку, на камушки полюбуемся! – Глаза его вновь потеплели. Лицо стало милым, открытым.

Они свернули в проулок, сплошь уставленный тесными магазинами и лавчонками. В витринах было пестро и нарядно от меди, крашеной шерсти, тисненой кожи. Из дверей выглядывали любопытные, любезные, манящие торговцы в каракулевых шапочках и шароварах.

Татьянушкин остановил машину, дождался, когда подрулит «уазик» с Расуловым. Они втроем, звякнув дверью, вошли в тесный, завешанный коврами лавку. Едва переступив порог, Калмыков оказался среди чудесного, небывалого множества фантастических, таинственно-привлекательных изделий, говоривших о былой, отшумевшей жизни, которая исчезла, оставила после себя ворох блестящей мишуры.

Здесь были высокие разукрашенные седла, медные стремена, чеканные уздечки. Наездники и кони давно умерли, покоились в каменистой земле, их белые кости медленно рассасывались в дождевой воде.

На стенах висели длинные кривые мечи и сабли с потемнелой сталью, узорными костяными рукоятками. Лежали длинноствольные, с раструбами ружья, чьи тяжелые прокопченные приклады были инкрустированы перламутром, серебром и камнями. Сами воины, стрелки и охотники превратились в пыль на дорогах, в воду арыков, в снег на горном перевале. Оставили в лавке воспоминания о забытых погонях и битвах.

Струнные инструменты, лакированные дудки, кожаные барабаны висели на коврах с опавшими кистями, шерстяными, свитыми туго шнурами. Сами музыканты, певцы, игравшие на свадьбах, пирах и поминках, превратились в эхо ущелий, в рокот воды, в шум камнепадов, в молчание туманных звездных ночей.

На витринах были разложены женские украшения, выкованные из белого мягкого сплава, из колечек, спиралей и бусин. Бубенцы и браслеты, цепочки и броши, ожерелья и перстни. В оправы были вставлены голубые и розовые камни, зеленые и золотистые яшмы. Владельцы браслетов, невесты, танцовщицы, наложницы, отлюбив, превратились в сухие бурьяны, в глиняные обломки дувалов, в пни умерших садов.

Калмыков рассматривал изделия с мучительной сладостью, вглядывался в чеканку, в тиснение седел и ножей. Восток со своими царствами, караванами, сказками был перед ним, зримый, осязаемый, увлекал в свою бесконечность, манил перламутровой дудкой, зазывал серебристым подвеском, притягивал витиеватым стихом, начертанным на изогнутой сабле.

– Тысяча и одна ночь! – сказал он Татьянушкину, наклонившемуся к стеклянной витрине. – Музей старины, да и только!

– На камушки посмотри, полюбуйся!

Желтозубый торговец с красными белками, в шитой серебром тюбетейке вынул из витрины, рассыпал поверх стекла гремящие, скользкие, влажно-глянцевитые камни, отшлифованные, граненые, всех цветов и оттенков. Цокал языком, улыбался, радовался покупателям, выкладывал свой лучистый товар, сам наслаждался красотой камней.

Калмыков брал в руки камни, и ему казалось – каждый имел свою особенную теплоту и мягкость. Отдавал в ладонь свое тепло, впрыскивал легчайший пучок лучей.

Камни, взятые в горах, добытые из серых бесцветных хребтов, говорили о молодости первозданного мира, о красоте неодушевленного вещества, отвердевшего в вареве первобыт-

ной магмы. Из этого вещества брали себе расцветки цветы и бабочки, его терли и мешали художники, а само оно хранило в себе млечную белизну луны, зеленые и синие зори, золотистую прозрачность солнца, красное зарево, окружавшее светило.

Калмыков трогал камни – малые планеты и луны – застывший космос, оказавшийся у него на ладони.

– Чуть свободная минута, в эти лавки иду. – Татьянушкин разглядывал чешуйчатые ожерелья, тонкие узорные цепочки. – Накупил этого добра сам не знаю зачем. Все тянет сюда, все мало, мало! Старость придет, буду стариком небо коптить, а эти безделушки выну и вспомню, какую жизнь прожил. Вот только дожить бы до старости!

Расулов счастливо улыбался, стиснув в пальцах серебряное колечко с капелькой окаменелой синевы.

– Было бы кому подарить! – любовался он на свою покупку. Торговец радовался вместе с ним, цокая языком.

– Зачем сразу деньги отдал! – напустился на него Татьянушкин. – Торговаться надо! Он с тебя вдвое содрал!

– А с меня всегда вдвойне берут, – не огорчился Расулов. – Такой я простой человек!

Они покидали дуكان, и у Калмыкова была смутная неясная мысль: он, военный разведчик, знал узлы и нервные центры, способные парализовать и измучить город, но не ведал таинственных источников жизни, питавших город красотой и энергией, хранивших его от напастей витиеватым стихом из Корана, амулетом из желтой меди.

Они приехали в главный кабульский госпиталь, построенный Советским Союзом в дар Афганистану. В кабинете их встретил седовласый доктор в белой шапочке и халате. Его строгие серые глаза потеплели, когда он увидел Татьянушкина.

– Где же вы пропадаете? Турнир срывается. В тридцать третьей партии играю белыми! – Он пожимал Татьянушкину руку, и было видно, что они дружны, часто видятся, у них в этом азиатском городе много общего.

– Да вот с гостями занят! – Татьянушкин представлял Калмыкова и Расулова. – А турнир продолжим. Приезжайте на виллу. В мои костяные будем играть. Я в них всегда выигрываю.

Помимо доктора в кабинете находилась молодая сестра, свежая, с розовой кожей, с маленькой родинкой на щеке. Расулов, едва вошел, стал жадно смотреть на нее, шевелил своими пышными усами, а она чуть улыбалась, поправляя под белой шапочкой золотистые волосы.

– У нас к вам просьба, Степан Григорьевич, – продолжал Татьянушкин. – Прибыл, вы знаете, наш батальон, а у людей начались расстройства, простуды. Нельзя ли им медикаментов подбросить? Комбат вам расскажет.

Калмыков поведал о начавшемся среди солдат поветрии. Врач расспрашивал, объяснял, что в Кабуле, расположенном в горах, вода кипит при восьмидесяти градусах и надо долго, тщательно варить пищу, чтобы умертвить бактерии.

– В случае острых заболеваний – к нам, в госпиталь... Ольга, – обратился он к медсестре, – принеси из аптеки наборы энтеросептола и сульфадиметоксина! Там ящик тяжелый, тебе офицер поможет!

Расулов щелкнул каблуками, жадно, весело оглядывал молодую женщину, пока она вставала, стройная, светлая, в своей стерильной белизне. Они ушли, и Калмыков заметил, как быстро и страстно протянулась смуглая рука ротного к дверной ручке, успев накрыть хрупкие женские пальцы.

– Я все раздумываю, – продолжал доктор, усаживая гостей на медицинскую кушетку. – Хочу взять пару отгулов и уехать с женой в Бамиан. Уж скоро контракт кончается, обратно в Союз пора, а в Бамиане не был. Хоть снимки сделать. Говорят, восьмое чудо света. Вырезанная

в горе статуя Будды высотой с десятиэтажный дом... Советуете ехать или нет? Вы обстановку знаете.

– Я бы советовал переждать, Степан Григорьевич, – осторожно отговаривал Татьянушкин. – На дорогах неспокойно. Два дня назад у Лагмана остановили машину чешского советника. Избили его шофера, а потом пустили. Подождите немного, Степан Григорьевич!

– Видно, не попаду в Бамиан. Хотел поехать, да все откладывал. Летом ездил в Джелалабад, колесо спустило. Афганцы узнали, что «шурави», сами размонтировали, заклеили, ни копеечки не взяли. А теперь не рискну.

– В Бамиане спокойно, а под Джелалабадом бой.

– Я знаю. К нам командира корпуса привезли. Три часа оперировали. Пуля – в брюшную полость!

Калмыков вспоминал движение батальонной колонны из Баграма в Кабул, выстрел из засады, распростертого у дороги стрелка. Он, комбат, был частью горючей смеси, разлитой в кишлаках и садах.

Дверь отворилась, и вошел человек, узкоплечий, сутулый, в неловко сидящем костюме. Лицо его поразило Калмыкова. Черные сросшиеся брови, тревожные глаза, прямой длинный нос, похожий на клюв, маленькие, плотно сжатые губы. Вошедший увидел Калмыкова, глаза их встретились, и Калмыков испытал похожий на страх толчок. Видел – в глазах человека промелькнула тоска.

– Входите, Николай Николаевич, – приглашал его хозяин кабинета. – Я вам по вашему списку все приготовил. Все сердечные препараты, как вы просили!

– Николай Николаевич, я вам сегодня звонил, хотел сообщить, – Татьянушкин привстал навстречу вошедшему, в голосе его звучала предупредительность и почтение. – Из Москвы для вас груз пришел. Можете заехать на виллу, он вас там дожидается.

– Зайду... Не теперь... Спасибо... – Человек топтался у порога, не решаясь войти. – Сегодня письмо получил... Жена написала... Сдох спаниель... Шестнадцать лет жил... Как член семьи...

Сказав эту неожиданную фразу, словно для этого сюда и забрел, он попятился и вышел.

– Личный врач Амина, – сказал Калмыкову Татьянушкин. – Прекрасный специалист. Живет в резиденции, с Амином и во Дворец переедет!

– Куда же Ольга моя подевалась! – сетовал доктор. – Быстро делать ничего не умеет.

Вернулись Расулов и медсестра, оба взволнованные, не глядя друг на друга, подчеркнуто сторонились, держались поодаль. Калмыков углядел на розовом женском пальчике серебряное колечко с голубым зерном. На щеках медсестры еще не остыл горячий румянец. Глаза Расулова, узкие, счастливые, блуждали по потолку, по стенам и вдруг ярко, жадно устремились на нее. Она отворачивалась, поправляла под шапочкой растрепанную золотистую прядь.

– Медику своему передайте! – Врач протянул Калмыкову пачку лекарств. – Если что-нибудь серьезное, обращайтесь!

Они вышли из госпиталя. Татьянушкин простился с ними, укатил на своей кофейной «тойоте», а Калмыков и Расулов уехали в «УАЗ».

– Я ей говорю: «Да вот же пустая палата!» А она: «Сюда тяжелобольных привезут!» «А я и есть тяжелобольной», – говорю. И раз, ключ повернул! – Расулов радостно топорщил усы. В его словах не было обычной мужской похвальбы, а звучала нежность, желание продлить моментальное чудо.

Они катили по Кабулу, возвращаясь ко Дворцу. У набережной с глиняно-грязной обмелевшей рекой, куда стекали городские нечистоты, женщины полоскали разноцветные ткани, а торговцы овощами мыли красные горячие помидоры, – у набережной они попали в затор, остановленные цепью солдат. Из машины, окруженной толпой, они наблюдали через головы в чалмах и накидках: по улице проходили колонны. Женщины в военной форме, вооруженные

автоматами. Дети с бумажными цветами в пионерских галстуках. Юноши с красными транспарантами. Солдаты с «Калашниковыми». Они маршировали, скандировали громогласные, зычные лозунги. И над ними, многократно повторенный на портретах, плыл Амин, властный, благожелательный и спокойный повелитель города и страны.

Калмыков снова испытал тревожный, наподобие страха, толчок. Долгоносый, чернобрый человек с маленьким ртом жаловался на смерть спаниеля. Между Калмыковым и этим тоскующим, похожим на тощую птицу, человеком была большая неясная связь. Эту связь замыкал властный человек на портретах, повелитель страны и народа.

Глава десятая

Ранней осенью, в золотистые московские сумерки, когда в скверах пахнет палой листвою и блестящие машины, брызгая фарами, проносятся в сиреневых сумерках, он поджидал ее возвращения. Она опаздывала, он терпеливо ждал, начинал тревожиться, выходил из полутемного переулочка на озаренную улицу, вглядывался в толпу, надеясь издали угадать ее легкую торопливую походку.

Ее не было час, другой. Он мучился, тосковал. Ему мерещилось дурное, болезненное. Сидел на холодной деревянной скамейке, мял в руке обломанную веточку тополя, жевал горький черенок листа, всматривался в сумрачный переулок, умоляя Бог вести кого, чтобы с нею и с ним, с их любовью ничего не случилось.

Подкатила легковая машина. Из нее вышла она и следом высокий, в плаще, мужчина. Что-то тихо ей говорил, смеялся, проводил к порогу. Поцеловал на прощание руку, склонив низко голову. А он, на скамейке, держа в зубах горький расплюснутый черенок, испытал вдруг такое страдание, подобие смертельного обморока, словно тело его стало распадаться на частицы и клетки, и каждая источала нестерпимую боль.

Через несколько дней она объявила ему, что выходит замуж за известного математика. Просила ее не винить, просила оставить ее. Они расставались мучительно, несколько недель кряду. То встречались, и он снова распускал по подушке ее волосы, целовал их, и она плакала на его голое плечо. То она кричала на него, гнала прочь, требовала, чтобы он сгинул, исчез.

Позже в жизни он не раз испытывал боль, физическую и душевную. Перенес открытый перелом ноги, операцию аппендицита почти без наркоза, знал приступы меланхолии и тоски. Удивлялся, сколь изобретательна природа, сколько у нее способов измучить и заставить страдать человека. Но такого страдания, как в ту осень, он больше никогда не испытывал. Разрушалась не просто его плоть и душа, а нечто большее, высшее, составленное из любящего женского и мужского начала, соединенное в божественную личность. Эта личность распадалась, выделяла из себя со слезами и стонами те ночные снегопады с голубоватой луной, лыжные прогулки по сияющим полям, темные ночи, когда невозможно дышать, и волосы ее превращались в душевные космы, и он, задыхаясь, целовал ее быстрые губы. Все, что они пережили вместе, заключили в свою любовь, чтобы из этой любви родились их дети, продлился их род, теперь, как дым, вырывалось на свободу, уносило из него смысл жизни, оставляло темную прорву.

Раз в неделю грузовики и бензовозы батальона отправлялись на аэродром. По воздушному мосту из Союза прибывало топливо, боекомплект, запчасти к «бэтэрам», доски для нар, матрасы для солдатских постелей.

Калмыков обустроился в уголке казармы за брезентовым пологом, где ревели форсунка, впрыскивала в печку солярку. Из зарядных ящиков были сколочены стол и лежак. На гнутых гвоздях в стене висели автомат и бинокль. А на столе на планшете лежал голубой, найденный на пустыре черепок.

Снова и снова они с Татьянушкиным выезжали в город. Калмыков наносил на карту расположение штаба царандоя – афганской милиции, министерства обороны, здания ЦК и райкомов. Он не спрашивал, для чего это было нужно. Его главным объектом был янтарный Дворец на горе с подъездными путями, с яблоневым садом, с отрезком железнодорожной колеи, на которой ржавел и разрушался королевский вагон, единственный на страну. Дворец был частью Кабула, и он, военный разведчик, должен был знать топографию города. Поколесив по центру среди толпы и транспортных пробок, они свернули в тихий малолюдный район, где за высокими изгородями скрывались богатые виллы. Их машина уткнулась радиатором в железные ворота. Из сторожевой будки выглянуло зоркое внимательное лицо охранника. Ворота отворились, и они вкатили во двор, остановились перед деревянным богатым крыльцом.

Просторная двухэтажная вилла была обшита внутри черным лакированным деревом. Внизу была гостиная с диванами и низкими столиками, на которых красовались коробочки для сигарет, склеенные из ромбиков лазурита и яшмы. Тут же находилась столовая с длинным обеденным столом и стульями, чьи высокие спинки украшала резьба. На второй этаж вела лестница, виднелись двери комнат, массивные медные ручки, высокая хрустальная люстра.

В гостиной на диване, утонув в мягкой коже упитанным телом, сидел дипломат Квасов, тот, с кем Калмыков познакомился мимолетно в посольстве. Квасов узнал Калмыкова, не вставая, махнул в знак приветствия, капризно выставил нижнюю губу:

– Оловянными солдатикам привет!

Это небрежное обращение задело Калмыкова. Снова, как при первом знакомстве, он испытал неприязнь к дипломату. Не мог понять, откуда у этих высокомерных людей такое самомнение, чувство превосходства над прочими.

Тут же, на резной табуреточке, сидел афганец с худым лицом, на котором выбритые щеки и подбородок казались огромными синяками. Его костюм был безукоризненно чист и проглажен, шелковый галстук украшал белоснежную рубашу, в манжетах сверкали дорогие запонки.

– Азиз! – представился он Калмыкову, сгибаясь в поклоне, прижимая худую ладонь к сердцу. И пока он приветствовал Калмыкова, его лицо на мгновение стало мягким, добрым, а когда вновь уселся – потускнел, ожесточился, и лицо его выражало страдание.

Калмыков уселся, видя, как Татьянушкин говорит по телефону. Из дверей появлялись и исчезали молодые люди, легкие, бесшумные, похожие на спортсменов. Казалось, на вилле разместились спортивная команда и Татьянушкин был ее тренер.

– А я тебе повторяю, Азиз, вам не надо было начинать революцию! – Квасов, повернувшись к афганцу, продолжил прерванный разговор. В его словах слышались назидательность и все те же превосходство и всеведение. – Рано было начинать. В итоге в партии раскол, в народе раскол, и будет из всего этого большая буза!

– Революции не начинают! – Афганец отвечал на правильном русском, допуская легкие неверности в интонациях. Твердые согласные с трудом проталкивались сквозь его коричневые зубы. – Афганистан был, как банка с рыбой! Долго лежала на солнце, разбухла, и взрыв! Революция – взрыв!

– Революцию делают люди, мой дорогой! – остужал его легким, едва заметным цинизмом Квасов, почти наслаждаясь терзаниями собеседника. Позволял ему страдать, а сам отделился, отчуждался от его страдания. – Люди в Кабуле, люди в Москве, люди в Вашингтоне! Мое мнение – не надо было затевать революцию, а надо было потихоньку-полегоньку прибирать власть к рукам. Меньше крови, больше денег – вот смысл хорошей политики!

– Революция – взрыв! – Афганец, отчаявшись убедить дипломата, обратился к Калмыкову: – Общество был раскол, армия был раскол! Советские раскололи, американцы раскололи! С севера вы дороги строили, с юга американцы нам строили! Вы туннель на Саланге построили, американцы аэропорт в Кандагаре построили! Вы политехнический институт построили, американцы университет! Офицеры в Советском Союзе учились, другие офи-

церы в Америке! Инженеры диплом получали в Союзе, другие в Америке! Общество был расколот. В нашей революции есть афганские проблемы, есть советские проблемы, есть американские проблемы! Советский Союз решает в нашей революции свои проблемы!

– Дорогой Азиз, не надо вешать на нас ваши проблемы, у нас своих по горло! – доброжелательно, но и с нескрываемым раздражением перебил афганца Квасов. – Что вам надо? Продовольствие посылаем – пожалуйста! Политическую литературу – пожалуйста! Деньги на нашем монетном дворе печатаем – ради Бога! Танки и самолеты – нате! Но только не войска! Наши военные, если их сюда запустить, они такое здесь наворотят! – Квасов хохотнул, колыхнув жирным подбородком, тяжело заерзал на диване и замер, еще больше оплыл, погрузился рыхлыми телесами в мягкую глубину дивана.

Калмыков принял на свой счет едкое замечание о военных. Его, Калмыкова, не любил Квасов. Против прибытия батальона возражал дипломат. Калмыкову был неприятен этот тучный ироничный политик. Но он молчал, не вступал в разговор. Истинный смысл разговора был ему непонятен. Не дело ему, военному, вступать в разговор политиков.

– Если сейчас не пришлете войска, наша партия будет расстреляна! – Азиз страдальчески ломал брови, убеждал, умолял. – Лучшие члены партии, интеллигенты, теоретики, замучены и расстреляны! Вы говорили мне: «Действуйте!», и мы действовали, делали революцию! Теперь мы в тюрьме, нас пытаются, расстреливают, а вы не хотите спасти! Вы верите Амину, что он ваш друг! Когда нас всех расстреляют, Амин скажет вам: «Нет». Он позовет Америку, позовет Пакистан. Вы хотите, чтобы на границе с Советским Союзом были Пакистан и Америка?

– Это преувеличение, дорогой Азиз! – барственно ответил Квасов, прощая собеседнику незнание истинного положения дел, видного ему, дипломату. – Афганистан при любом режиме будет дружественной страной. Нам не нужно присылать войска, не нужно повторять ошибку англичан. Нам нужно ждать, когда в Афганистане восстановится политическое равновесие!

– Вы будете ждать, а нас будут стрелять!.. Вчера в Пули-Чархи расстреляны Нур Мухаммед, Достагир, Надир Сайд! Лучшие товарищи!.. Вы будете ждать, а нас будут вешать за ребро и огонь к ногам! Будут пальцы в дверь и давить!.. Будут ток в провода и в язык!.. Вот, смотри!..

Он задрал рукав своего дорогого пиджака, обнажил белоснежную рубаху. Дрожащими пальцами расстегнул золоченую запонку. Заголил руку, и по всей руке до локтя бугрились, перекрещивались перламутровые рубцы и шрамы, проедали мышцу почти до кости.

Глядя на эту руку со следами ожогов, Калмыков вспомнил не давнюю пирушку в казарме, офицера-афганца с рубцом, его ненависть и проклятья предателям, желание мстить, убивать. Вдруг остро, грозно почувствовал, что страна, куда он явился, была страной беды и войны и он со своим батальоном оказался среди этой беды, стал ее частью. Но было неясно, кого из афганцев станет защищать батальон. Тех ли, что пили с ним на офицерской пирушке, или этого, сидящего на вилле советской разведки. Кому из них станут помогать его «бэтээры» и «Шилки», его роты спецназа.

Татьянушкин подошел, мягко положил руку на плечо афганца, и тот, оглянувшись, благодарно улыбнулся. Стал задерживать рукав рубахи, скрывая ожоги, застегивал золотую нарядную запонку.

– Азиз, тебя к телефону! – сказал Татьянушкин. И афганец торопливо и бесшумно заспешил по ковру в дальний угол, где на столике стоял телефон.

– Он здесь на нелегальном, – сказал Татьянушкин. – Если выходит в город, надевает чалму и бороду. Жизнью рискует!

И опять Калмыков подумал: здесь, на вилле, вынашивался неведомый план, и его батальон, опустившись на эту землю, встроился в этот план. Ему, Калмыкову, известны лишь малые, проступившие наружу штрихи, а главная сущность скрыта. Так и останется в тайне, ведомая, быть может, тучному цинику Квасову, милому, с добродушным лицом Татьянушкину.

– Ведь какая страна была! – с сожалением, пока не было рядом Азиза, произнес Квасов. – Рай! Можно было ехать по любому проселку, в любой кишлак, и везде ты желанный гость, белый человек! Здесь Восток, нетронутый, первозданный! Дешевое золото, дешевые ковры, изумруды! Гератское стекло, зелено-голубое, как море! Нуристанские клинки – волос на лету рассекают! Все погубят, все разорят!.. Нет, с меня довольно! Уезжаю! Не хочу в этой ерунде участвовать! Пусть эту дурь другие без меня творят!

Он выпятил нижнюю губу и с презрением посмотрел на Калмыкова. В его глазах была острая неприязнь. Калмыков не понимал ее природы, не умея разгадать таинственный план и чертеж. Испытал к дипломату ответную неприязнь.

Снаружи, приглушенный стенами, раздался сигнал машины. Дверь растворилась, и вошел высокий, поджарый военный в афганской серо-зеленой форме без знаков различия. Следом шагнул молодой человек с короткоствольным автоматом, аккуратно поставив оружие у дверного порога.

При появлении мужчины Татьянушкин вытянулся. Азиз сделал нетерпеливый радостный шаг. Квасов с трудом вырвал из дивана жирное туловище, охнул и распрямился. Калмыков, подобно другим, встал, вытянулся по стойке «смирно», распознав в вошедшем военного.

– Здравия желаю, товарищ генерал! – приветствовал гостя Татьянушкин.

– Сидите, сидите! – махнул генерал, усаживая всех, а сам вместе с Татьянушкиным прошел по лестнице на второй этаж. Походка его была молодой и упругой, хотя худое лицо с крупным носом было покрыто морщинами.

– Главный военный советник, ездил в Москву проветриваться. И мы здесь, грешные, без него отдыхали. Теперь вернулся, и мы забегаем! – Недовольный тем, что пришлось вставать, Квасов ерзал среди кожаных складок дивана, устраивал поудобнее свое тучное тело, похожий на неуклюжего моржа. – У него жена молодая, вот и скачет!

– Товарищ генерал понимает наши проблемы! – Азиз, защищая генерала от иронии Квасова, обратился к Калмыкову: – Настоящий друг афганского народа!

Наверху заскрипели ступени. Генерал сбегал, неся под мышкой папку. Спустившись, принес с собой в гостиную запах одеколона, дорогих сигарет, распространяя вокруг себя поле деятельной властной энергии.

И Калмыков представился, выдержал взгляд колющих умных глаз. Заметил, что морщины генерала сложно шевелятся, перебегают, меняются местами, видимо, вслед генеральским ощущениям и мыслям.

– Я был в Москве у министра, делал доклад об обстановке. – Генерал взял под руку Калмыкова, отвел в сторону, усадил на низенькую резную табуретку, инкрустированную разноцветными камушками. – Не было возможности познакомиться с батальоном. Какие у вас возникли проблемы? Как разместились? На днях приеду в распоряжение, посмотрю на месте.

Калмыков кратко доложил о состоянии дел, о нуждах батальона, чувствуя постоянно запах одеколона и табака, наблюдая, как странно бегут и шевелятся морщины на лице генерала, словно рябь от невидимого ветра. В этом движении пряталось знание и суждение о нем, командире, о его батальоне, неведомое самому Калмыкову.

– С афганцами отношения наладили? Гвардия – это лучшее, что они имеют. Еще полк «коммандос» хорошо воюет на юге. А так ведь армия у них без боевого опыта, для плац-парадов! Не сравнишь с нашей выучкой.

Калмыков чувствовал, как испытывает его генерал. Куда-то помещает свои о нем впечатления, в какой-то скрытый объем. Морщины на генеральском лице складывались в сложный орнамент, в неведомый замысел, и все они, здесь сидящие, были вписаны в таинственный план.

– С Джандатом, начальником гвардии, сошлись? Очень умный, осторожный и хитрый. Предан Амину до последнего вздоха, своего и чужого. Это он задушил Тараки. Пришел к нему

в комнату, принял от него часы на память, снял с него галстук, положил на лицо подушку и задушил.

Калмыков вспомнил огромные членистые пальцы Джандата, похожие на железное гидравлическое устройство. Представил: комнатка арестованного Тараки, табакерки, узорные пепельницы, недопитая пиалка чая. Входит Джандат, веселый, резкий. Беспомощный слезный взгляд старика, часы на худом запястье, стариковские руки послушно стягивают с шеи галстук, расстегивают рубаху на шее, и красные, с белыми костяшками пятерни Джандата поудобнее обхватывают начинающее kloкотать и пульсировать горло.

– Техника на ходу? Горючее? Боекомплект? С министром говорили о батальоне. Все необходимое по вашему докладу будет обеспечено. – Генерал поднялся, дружелюбно и властно глядел на Калмыкова. – Через несколько дней к вам приеду!

– Товарищ генерал, оставайтесь пообедать! – подошел к ним Татьянашкин. – Все готово, товарищ генерал!

– Спасибо. Обедаю дома. Жене обещал. – Легкой моложавой походкой последовал к выходу. Охранник, прихватив автомат, гибко выскользнул вслед.

Азиз и Квасов тихо переговаривались у окна, за которым в бледном холодном солнце желтел и розовел сад, сквозили ржавые кусты роз, ходил садовник и мелко, серебристо струилась вода из фонтана. Калмыков сидел на резной табуретке и обдумывал слова генерала, простые и почти пустые, в которых, однако, мерещился тайный смысл.

На юге, в Джелалабаде, вечнозеленом и влажном, где в туманном дожде лоснятся глянцевиые цитрусы, оранжевые плоды, как маленькие развешанные на деревьях светила, – там идут бои, горят кишлаки, танки скребут гранит, легконогие повстанцы целят из английских винтовок в бегущую цепь «коммандос».

В Герате, у иранской границы, восставший полк казнит офицеров, вяжет советников, сжигает казармы и технику. В горчичном воздухе кривятся минареты мечетей, голубеют изразцы на мазарах.

В предместьях Кабула, в тюрьме, похожей на каменное черное солнце, идут день и ночь допросы. В застенках липко от крови, вопли в глухих казематах. Под утро на бледной заре выводят во двор заключенных, и пули, пробив тела, кокают о камень стены.

На севере, в стране хазарейцев, идут облавы. Женщин, детей, стариков везут к мутно-желтой реке, стреляют, кидают в воду. И потом на глинистый берег выносят распухшие трупы. В жирной шоколадной воде колышется, всплывает и тонет мертвое лицо старика.

Калмыков чувствовал себя в центре беды и опасности, видел себя помещенным в неведомый чертеж.

Снаружи послышался шум машины, приглушенный говор. В дверях появился сутулый, долгоносый человек с маленьким стиснутым ртом, и Калмыков в нем мгновенно узнал личного врача Амина, Николая Николаевича, с кем познакомился день назад в кабульском госпитале.

– Машина пускай уходит! Меня подбросят товарищи! – сказал кому-то невидимому вошедший, шагнул в пространство гостиной под высокий потолок, где на черной балке висела хрустальная люстра.

Татьянушкин, увидев гостя, заторопился навстречу с особой деликатностью и любезностью.

– Николай Николаевич, пожалуйста, проходите!.. Присаживайтесь, Николай Николаевич! – подводил он его к кожаному дивану, на котором сидел Калмыков. – Вы ведь знакомы с подполковником?

Калмыков и доктор пожали друг другу руки. Ладонь доктора была холодной и вялой, не ответила на пожатие Калмыкова.

– Я сейчас принесу, Николай Николаевич, то, что вам прислали, – Татьянушкин ушел вверх по лестнице, скрылся в дверях на втором этаже, Калмыков и доктор остались сидеть. Рука Калмыкова хранила нерастаявший холод чужой ладони.

– Я помню, вы сказали, у вас умерла собака, – Калмыков произнес эту фразу неожиданно, испытывая к сидящему человеку мучительный интерес, природа которого была необъяснима. В сутулой худой фигуре, в длинном, словно выдолбленном из дерева носе, в маленьких сжатых губах было страдание, вызванное, как показалось в первый раз Калмыкову, смертью любимой собаки.

– Спаниель Фриц, шестнадцать лет, – ответил доктор, удивленно взглянув на Калмыкова, знающего о его несчастье. – Жена написала. У нас нет детей. Собака была членом семьи. Когда-то раньше я с ней охотился.

– Сочувствую. Вижу, как вы переживаете!

– Мы уезжали на Украину, под Чернигов, в городок Седнев. Там замечательная пойма. Я стрелял уток на старицах, Фриц доставал птицу. Как сейчас помню: теплая вода, кувшинки, жена в розовом сарафане, Фриц кладет утку у ног жены.

– Есть воспоминания, от которых плакать хочется.

– И у вас такое бывает?

Доктор пристально посмотрел на Калмыкова, словно удивлялся тому, что был столь откровенен с неизвестным, в афганской форме военным. Старался понять, кто он. Калмыков испытывал к нему смешанное чувство симпатии, сострадания и вины. Здесь, на вилле в центре Кабула, сходились люди разных профессий, привычек и лет, скрепленные невидимой связью, вписанные каждый по-своему в неведомый план и чертеж.

– Удивительный феномен – память, – сказал доктор. – Человек рождается без памяти, подключенный через пуповину к материнской плоти. А потом через память он подключается ко всему мирозданию, к мировой памяти. Быть может, смысл человеческой жизни объясняется именно наличием памяти. Своей малой памятью человек питает необъятную мировую память. Когда Вселенная погибнет, останется Память. Потом в новом Большом Взрыве эта Память воплотится в материнскую жизнь Вселенной.

Он сказал это и умолк. Калмыков не удивился этой мысли, смотрел в сад, где в зимнем солнце чахли и умирали последние розы и садовник в чалме пригибал колючие ветки к земле. Он постарался все это запомнить, веря, что память о розах и бородатом садовнике унесется в бледно-синее небо, сохранится там навсегда, и когда-нибудь через миллиарды лет, после гибели и возрождения Вселенной, вновь будет этот сад, искрящаяся струйка воды, мягкий диван в гостиной, на котором будет сидеть длинноносый, похожий на грача человек.

– Послезавтра Амин переезжает во Дворец, – сказал врач. – Я тоже там поселюсь. Мы с вами будем соседи.

– Нам запрещено приближаться ко Дворцу, – сказал Калмыков. – Мы прикрываем Дворец на подступах, с востока.

– Неизвестно, откуда может прийти опасность, – сказал врач, морща и без того маленький рот, сжимая его в плотный бутон. – Есть опасность-невидимка.

– Что вы имеете в виду?

– Например, болезнь.

– Разве Амин болен?

– Слава Богу, здоров, – сказал врач и повел худыми плечами, словно ему стало холодно в свете зимнего солнца.

Калмыков вдруг подумал: если бы они ехали долго в одном купе или жили вместе в гостиничном номере, в каком-нибудь санатории или доме отдыха, они бы могли подружиться, могли бы сойтись, рассказать друг другу о своих жизнях, увлечениях, о невыразимых загадочных состояниях, о теории Памяти, как только что поведал доктор, или об ожидании чуда, как

было когда-то в детстве, когда на опушке леса в весенней, набухшей соком осине было дивное синее небо, словно из вершины изливались могучие живые силы, наполняли его могуществом и любовью.

Но нет, им не было суждено подружиться. Слишком разные у них были задачи и цели, по-разному их вписали и встроили в загадочный план и чертеж.

– Вот, Николай Николаевич, просили вам передать, – Татьянушкин вернулся в гостиную, протянул доктору маленькую, плотно упакованную посылку. Тот сунул ее в карман – то ли ампулы, то ли таблетки.

– Сейчас будем обедать, – сказал Татьянушкин, заглядывая в столовую, где два молодых человека, похожие на спортсменов, ставили тарелки на стол.

– Мне надо ехать, – сказал врач.

– Я вас могу подвезти, – предложил Калмыков. – Нам в одну сторону.

– Остались бы, пообедали, – уговаривал Татьянушкин.

– Уж мы поедем, – поднялся доктор. – Я должен отвезти медикаменты. Подполковник меня подбросит.

Они вышли на крыльцо, где стояли картонные коробки с лекарствами. Калмыков помог доктору перенести их в машину.

– До скорой встречи! – провожал их к воротам Татьянушкин, дружелюбный, голубоглазый, махал вслед рукой.

Позднее, курсантом, и в первые годы службы, во время увольнений, командировок и отпусков у него было много женщин. В иных он влюблялся. Были увлечения милыми, добрыми, любившими его, дарившими ему свою женственность, нежность. Были мимолетные встречи, от которых оставалось изумление, память о каком-нибудь ресторане, о каком-нибудь гостиничном номере. Были отвратительные грязные встречи, с последующим чувством гадливости к ней, к себе. Были хищные, красивые, властные, верящие в свою власть и в свою красоту. Были беспомощные, жалкие, урывающие малые крохи любви. Были злые, развратные, равнодушные к нему, любившие его плоть, его деньги.

Иногда в самолете, когда качало и начиналось удушье, или на корабле во время морской болезни он пользовался одним приемом, возвращавшим ему телесные силы. Вспоминал женщин, с которыми был прежде близок. Но ни с одной из них он уже не мог испытать того, что пережил в тот московский год. Ни одна из них не могла стать его женой, матерью его детей, продолжить его род. Не было полноты, высшего божественного единства. Не было любви. Не было той черной рогатой веточки, отпечатанной на лунной поверхности.

Калмыков направил машину ко Дворцу по асфальтовой трассе, не той, что вела к батальону, а той, что, скользнув мимо пышного министерства обороны, возносилась вверх по серпантину к portalу Дворца. Несколько раз им навстречу от шлагбаума выскакивал солдат-гвардеец, делал устрашающее лицо, орал сквозь оскаленные зубы: «Дресь!», что означало: «Стой!» Нацеливал автомат в радиатор машины. Доктор доставал свой особый пропуск, Калмыков предъявлял свой, и солдаты, подозрительно заглядывая внутрь автомобиля, пропускали их дальше.

Второй раз, теперь уже без Джандата, Калмыков подъезжал ко Дворцу, к его желто-медовому, снежно-белому фасаду. За деревьями Дворец казался золотистым заревом. Чувствуя его приближение, Калмыков машинально отмечал и запоминал посты и контрольно-пропускные пункты. Плоский бетонный дот, прикрытый травой, из которого торчал пулемет. Серо-зеленые клинья маскировочных сеток, прикрывающие двуствольные скорострельные пушки. Врытые в гору танки, направившие орудия сквозь прозрачный яблоневый сад в синеватую даль.

Вырулив на последнем витке серпантина, машина остановилась перед стройным порталом Дворца.

– Я вас буду просить о любезности, – обратился к Калмыкову доктор. – Не сможете отнести коробки в аптеку?

Они взяли каждый по большой картонной коробке, но охрана, посмотрев на пропуск Калмыкова, не пропустила его во Дворец.

– Какая жалость! – огорчился доктор. – Дворец уже взят на особый режим перед приездом хозяина. Ну, как-нибудь один донесу!

Но из Дворца вышел улыбающийся, приветливый Валех, принял у доктора коробку, приобнял за плечо Калмыкова, что-то тихо сказал охраннику, и они вошли сквозь тяжелые бесшумные двери в нижний вестибюль Дворца.

В высоком вестибюле было темно, матово-светло, пахло лаками, мастикой и чем-то еще, сладковатым, благовонным, витавшим в воздухе. Все было ново, богато. Высокие прозрачные окна с мраморными подоконниками. Колонны, облицованные полупрозрачным розовым и зеленым камнем. Мраморная лестница, уводившая вверх. Мягкие, покрывающие ее ковры. Две узкогорлые вазы по обе стороны лестницы. Белые, с золотыми ручьями двери были приоткрыты, и сквозь них в боковых комнатах виднелись солдаты охраны, вороненый блеск автоматов.



– Там рабочий кабинет Амина, – пояснял тихо доктор, когда они поднялись на второй этаж, где во всю стену висела картина в золоченой раме: кипела битва, падали кони и всадники, и наездник в белой чалме привстал с седла, воздел клинок, увлекал за собой кавалерию. – А там конференц-зал.

Двери кабинета и зала были плотно закрыты. На лакированной эмалево-белой поверхности сияли золоченые, похожие на морские раковины ручки.

– А там, – доктор кивнул на далекие покои, – там целый музей! Золото из курганов! Сокровища Тюля-Тепе!

Калмыков проходил мимо драгоценных предметов – настенных хрустальных ламп, висящих ковров, резных инкрустированных тумбочек. Подумал: он, русский военный, всю жизнь проживший по неизвестным гарнизонам, дивизионным городкам, среди невзрачного блеклого быта, был теперь волею судьбы охранником восточных сокровищ, стражем азиатского владыки, чья обитель была роскошна, как Дворец эмира и шаха.

На третьем этаже по обе стороны от лестницы стояли высокие торшеры под шелковыми абажурами на хрупких ножках, выточенных из лазурита и яшмы. В глаза Калмыкову бросились резная золоченая стойка бара, стеклянный буфет с пестротой ярлыков и наклеек.

– Там – спальня Амина, – кивнул доктор налево. – А там, – кивнул он направо, – спальня жены, комнаты дочерей, прислуги. А я живу тут, в сторонке!

В маленькой скромной комнате с видом на далекие горы Калмыков опустил на пол картонную коробку. К стене была приколота фотография собаки – вислоухий кудрявый спаниель с блестящими выпуклыми глазами. Калмыкову померещилось: женщина в розовом сарафане, глянцеvitые листья кувшинок, и собака, мокрая, стеклянно-блестящая, кладет перед женщиной убитую, с изумрудными перьями утку.

Спасибо, – благодарил Калмыкова доктор. – Вы очень мне помогли. Еще встретимся.

Он морщил маленький рот, сутулился, странный человек-птица. И Калмыков вновь почувствовал мучительную, завязанную между ними связь. Его провожал вниз Валех. Прощаясь у портала, он обнажил запястье, показал подаренные Калмыковым часы:

– Очень хороший время! Советский лучший время! Калмыков, не оставаясь в долгу, посмотрел на свои часы – подарок

Валеха, ответил той же любезностью:

– Лучшее время в мире – кабульское!

Рассмеялись, хлопнули друг друга по ладоням, и Калмыков, усевшись в машину, покати́л по серпантину мимо Дворца вниз, в батальон.

К ночи изменилась погода, завыл ледяной ветер, глухо захрипел в брезентовых занавесках, задул полог в дверях. Сквозь щели в казарму врывались жалящие сквозняки, и все печки и отопители свистели пламенем, багровые отсветы метались по недостроенному потолку, и солдаты ложились одетыми, ежились под одеялами.

Калмыков слышал, как бьет в саманную стену бурьян, шелестит песок, ударяют сорванные с гор камушки и песчинки. В ночных небесах что-то рвалось, летело, человеческая душа напрягалась, а плоть страдала, в кровь проникали невидимые яды небес.

Калмыкову снилось, что он дома, в России. Родина в беде и несчастье. Все сдвинулось с основ, все гибнет и рушится. Над черными, лишенными тепла городами – красное зарево. Его отблеск на рельсах, и он бредет по насыпи мимо застывших ржавых вагонов, а под насыпью по липким болотам бредут бессчетные беженцы. Среди них его мать в дырявом платье, в лохмотьях, как нищенка, и дед, опираясь на кривую клюку, и множество других, забытых и памятных лиц, как тени, сгорбленные, гонимые заревом.

Он стонал, метался во сне, порывался встать. Знал, что место его там, в гибнущих родных краях. Там его дело, служение, жертва. Он готов сложить свою голову за измученное лицо старика, за худенькую шею девочки, за обшарпанный особнячок в переулке.

Он проснулся от яркого света, бьющего сквозь пленку в окне. Это было солнце, но усиленное яркой и новой свежестью. За окном было бело, чисто. Выпал снег, и его ровное сияние проникло в казарму.

Снаружи, за брезентовым пологом, было шумно, топали ноги, раздавался крик, визг. Он вышел на воздух. Все блестело, благоухало, сочилось. Ровные волнистые снега лежали на ближних холмах, скрыв под собой все осыпи, рытвины и камни. Горы, белые и седые, возносились в синеву, как огромные распахнутые крылья. Солдаты бегали, продавливали снег каблуками, хватали его, жевали, чмокали, растирали им свои голые груди и животы, визжали, гоготали и охали. И уже летели во все стороны снежки, ударялись в стену казармы, оставляли белые метины. Маленький верткий киргиз с пульсирующими мышцами лепил сочный снежок, увертывался от попаданий. Прицелился, напрягся, метнул снежок в голоспинного, косолапо убежавшего увальня, ком снега разорвался на голых лопатках, брызнул, увалень заревел от боли и наслаждения, а киргиз в восторге завертелся на месте, расшвыривая вокруг мокрую белизну.

После утреннего построения, выслушав доклады ротных, Калмыков зарядил батальон на ежедневные работы в парке, на строительстве, стрельбище. Взял бинокль, поднялся на вершину холма, проминая в снегу хрустящую плотную тропку.

Дворец, млечно-желтый, стройный, красовался среди серебряных откосов в бледной голубизне. Яблоневый сад нежно розовел. Деревья были в покровах, а сухие бурьяны золотились сквозь сугробы. Калмыков восхищался Дворцом, вдыхал его свежесть, испытывал нежность. Охватывал гибкую стройную талию, танцевал среди сияющих пространств.

Увидел в бинокль – по серпантину, среди прозрачных деревьев, словно льющаяся в перегибах струя, несется кавалькада машин. Достигла Дворца, развернулась, блеснула радиаторами, застыла перед порталом. В длинных лакированных лимузинах открывались дверцы, из них выходили военные, охранники в штатском. Ступали по снегу, окружали кольцом машины. Из длинного кофейного автомобиля вышел человек в пальто и шляпе. Поднял голову, осматривая янтарный Дворец. Калмыков в окуляры угадал знакомое по портретам лицо, плотные сытые щеки, хрупкие губы – узнал Амина. Из другой машины вышли полная низкорослая женщина в длинной шубе, с непокрытой головой и две девушки. Оттуда же выпрыгнула, позорному пробежала за цепь охранников девочка в расстегнутой шубке. Наклонилась, подцепила снег, склеила снежок, кинула в ближайшего охранника. Калмыков с холма сквозь линзы бинокля угадал ее смех, детский счастливый визг, улыбку охранника, до которого не долетел снежок.

Приехавшие вошли в двери, скрылись во Дворце. Кортёж тронулся, оставляя на белизне темные дуги следов, скрылся за деревьями, как стеклянный мираж.

Дворец был заселен, обрел хозяина. Калмыков со своим обученным, оснащенным батальоном встал на охрану. Заслоняя янтарные стены, белые лепные наличники, хрустальные окна, обитателей, идущих сейчас по мягким коврам вдоль торшеров и ваз, мимо дверей с золочеными ручками, резного узорного бара. Все это оказалось под его, Калмыкова, защитой, и женщина в шубе, и маленькая розовая девочка. Эта мысль волновала Калмыкова. Его повседневные заботы и хлопоты обрели воплощение, и это было важно ему.

Он спустился обратно к казарме. Снег вокруг был истоптан, со множеством черных отпечатков. Черные дорожки вели на кухню, к туалетам, к стоянкам машин. Приближаясь к казарме, Калмыков уловил болезненное возбуждение, тревожные голоса и вскрики.

– Товарищ подполковник! – выскочил ему навстречу взвинченный испуганный взводный. – Чепе!.. Хаснутдинов из первой роты хотел повеситься!.. Из петли в сортире вынули!.. Жив!.. Откачали!..

Шагая по саманному полу казармы мимо реющих печурок, Калмыков вспоминал Хаснутдинова, механика-водителя, едва не опрокинувшего в ущелье «боевую машину десантников». Ему изменила невеста. Теперь в чужой стране эти мука и боль усилились, стали невыносимыми.

– Солдаты слышат – хрипит!.. «Ты, говорят, что, Хаснутдинов?»... А он в сортире хрипит!.. Дверь высадили, а он висит, дергается!.. Чудом успели!.. – торопясь, рассказывал взводный, попевая за Калмыковым.

На дощатом топчане, накрытый серым байковым одеялом, лежал Хаснутдинов. Его бритая голова, худое лицо, большие, полные слез глаза отпечатались на подушке. Шеи, по которой прошла петля, не было видно. Он был закрыт до подбородка, и под складчатой тканью дрожало длинное тело.

Ротный Грязнов стоял перед ним на коленях, гладил хрупкое, выступавшее под одеялом плечо огромной рукой. Хриплым, простуженным голосом, в котором звучали нежные, беспомощные интонации, говорил:

– Ну что ты, Хаснутдинов, дурашка! Что такое надумал!.. Жизнь у тебя впереди долгая!.. Девчонку себе найдешь мировую!.. Приеду к тебе на свадьбу, подарок привезу!.. Ты, Хаснутдинов, человек замечательный, механик-водитель классный!.. Я в твою машину даже и ночью сяду, как в такси!.. Я тебе мать родную везти доверю!.. Ты крепись, ты же мужик!.. Мы еще с тобой порадуемся!.. Мы еще с тобой посмеемся!.. – Грязнов гладил стриженую круглую голову

солдата. Тот немощно, благодарно кивал, вращал глазами. Слезы текли на одеяло. Калмыков почувствовал, как стало ему душно в груди. Пошел прочь, чтобы не разрыдаться.

Часть вторая

Глава одиннадцатая

Горожанин, выросший в каменных теснинах, среди московских закоулков, подворий, он больше дворовых игр, больше театра и книг любил природу. Уезжал на зеленой электричке сквозь дымные предместья, товарные склады, тепловозные депо. Сходил на лесном малолюдном перроне и шел наугад по дорогам, отдыхал у маленьких речек, выбредал к разрушенным старым усадьбам, останавливался на песчаных откосах, откуда синие волнистые леса катились на север, отрывались от невидимых океанов белые облака, и в падающем с неба луче загоралась далекая церковь, и в зеленой ржи кто-то шел, плутал в красной линиялой косынке.

Он любил природу, а она любила его. Смотрела на него из-за туч, думала о нем лесными опушками, вслушивалась в него сумеречными полями, вглядывалась глазами цветов, крыльцами стрекоз, темными вершинами дубов. Она хранила его, обещала удивительную жизнь и удивительные поступки и знания, которые научат его перевоплощаться в теплый шумящий ливень, в душистый просторный ветер, в сверкающее снежное поле, в белые морозные звезды. Это знание было доступно. Протяни руку к колючей ветке заиндевелой лесной малины, сорви последнюю заледенелую ягоду, и вкус этого знания, его пряная сладость – у тебя на губах.

Эти мартовские желто-белые поляны словно вымазаны горячим желтком. Их с размаху пролетаешь на лыжах, окунаешься в синеву студеного леса. Голубые тени, красные сосны, свист лыжни, и испуганная сойка мелькнула, раскрыв лазурные крылья.

Майские одуванчики, когда под ногами ослепительные вспышки цветов. Луг, золотой, ярко-солнечный, в мохнатых душистых цветах. Берег реки, заречное поле, далекие холмы – все желтое, яркое, ослепительное. Краткое чудо русского раннего лета. Не верится, что черная холодная грязь, гиблые сухие бурьяны таят в себе этот взрыв вселенского света, живое золото, миллиарды лучистых соцветий.

Духота июльского полдня. На горизонте дыбом черная застывшая туча. А здесь на белой, пыльно-мучнистой дороге жар, босые ноги оставляют следы в пыли. Солнце палит, крутится сухой дымный смерч. И душа, изнемогая, обращается к далекой черно-сиреневой туче. Вот долетел, наконец, язычок ледяного ветра, нагнув траву. Светило закрылось непрозрачной клубящейся тьмой. Упали на дорогу со стуком тяжелые капли, западали, полетели, слились в тусклые проблески холодные струи. Ливень как удары тысяч стеклянных палок. Белая дорога стала пятнистой, почернела. Бабочка-капустница, попав под удары, силится взлететь, колотится о дорогу.

Осенний воздух, густой, как напиток, и ты пьешь его вместе с ароматом яблок, подвяленных красноватых осин. Ночью ты спишь беспокойно, веки золотые изнутри, золотое свечение лесов гуляет ночью в крови. Над крышей избы дует ровный огромный ветер осени, и кто-то незримый, в развеянных темных одеждах, шагает под туманными звездами.

Мороз, железные комья земли на дороге, стальные лужи с трещинами, под которыми сизые металлические пузыри. Голо, темно. Мир костяной – скелет мира, каркас мира. Над полями одиноко, тоскливо трепещет сорока. Но тебе сладко от твоего сиротства среди голых родных полей, безжизненных деревьев, притихшей, забытой Богом земли. Ты веришь, знаешь – скоро задуют ветры, заструится по земле поземка, и падут снега, большие снега, укутают Русь в долгую чистую белизну.

Природа терпеливо ждала, когда он намается, налюбуется, настрадается, утомится быть человеком и, утратив свое имя и облик, снова вернется в ее лоно.

Иногда он думал: если ему суждено умирать на больничной койке от страшной болезни, или в застенке среди пыток и мук, или у скользкой кирпичной стены перед дулом чужих стволов, – он в последние, самые страшные минуты вспомнит о зябкой ягоде на мерзлой малиновой ветке, о синих тенях в мартовском красном бору, о мокром снеге на старых тесинах забора, и смерть его будет не смертью, а возвращением в природу.

Среди батальонных хлопот, когда сотни людей, собранных на тесном пространстве, сталкивались в бесчисленных, незаметных глазу конфликтах, подавляемых жесткой дисциплиной и волей, и эта воля исходила от него, командира, и в ответ на него воздействовало множество встречных непокорных и упрямых стремлений, – среди повседневных военных и хозяйственных дел было у него развлечение: подняться на холм и в бинокль смотреть на Дворец.

Он видел, как сменялась охрана. Из подъезда выходили гвардейцы, накапливались перед входом – несколько взводов вооруженных, темневших на снегу солдат. Отправлялись в казарму по крутой, ведущей с горы лестнице, а вместо них во Дворец заступала другая гвардейская рота, занимала первый этаж.

Он наблюдал, как уносится кофейный «мерседес», сопровождаемый тяжелым японским автомобилем с охраной. Весь день Амин отсутствовал, заседал во Дворце Революции, окруженном стеной со старинными пушками. Возвращался поздно во тьме, брызгала фарами стремительная вереница машин.

Днем из Дворца выходила семья Амина. Жена, полная, тяжеловесная, в пушистой шубе, и две дочери, одна совсем маленькая. Они спускались в сад, мелькали среди белизны на обледенелом серебряном склоне. Старшая катала на санках младшую. Иногда они обе усаживались на санки, катились, переворачивались. В бинокль было видно, как плачет испуганная падением младшая и смеется, утешает, вытирает ей слезы старшая.

Однажды он видел, как вслед за детьми солдат-гвардеец вынес бумажного змея, запустил его по ветру. В синем морозном небе мотался, скакал, парил красный змей. Солдат поддерживал нить, а младшая дочь радостно плескала руками.

Калмыкову было любопытно наблюдать за ними, фантазировать, о чем они там говорят в своих гостиных и детских комнатах, какие книжки читают, какие сказки друг другу рассказывают. А когда во Дворец возвращался хозяин и вслед ему проходили дородные военные и величественные штатские, Калмыков старался представить, какие государственные проекты обсуждались в роскошном кабинете Амина, выходящем окнами на белые горы.

И еще он думал, как в глубине Дворца, в маленькой комнатушке среди запахов лекарств, живет врач, сутулый, узкоплечий, похожий на деревянную птицу.

Калмыков собирался в город, в посольство, за очередной суммой денег, на которые кормился батальон, закупаая на рынке овощи, мясо, муку. Расулов, выбритый, с подстриженными усами, пахнувший одеколоном, напрашивался вместе с ним:

– Возьмите, товарищ подполковник! Забросьте в госпиталь!

– Разболелся? – усмехнулся Калмыков, открывая дверцу «уазика». – Совсем нет здоровья?

– Совсем! – кивал Расулов. Его темные глаза смеялись, а смоляные усы топорщились. Калмыков знал, что Расулов стремится к медсестре с розовой кожей и золотистыми под белой шапочкой волосами.

– Думаешь, носит твой перстенок? – поддразнивал Калмыков. – Может, уже другое колечко надела?

– Надо съездить проверить, командир! Носит или другое надела.

Они уже уселись в машину, собирались трогаться, когда к казарме подкатила знакомая «тойота» и Татьянушкин, в меховой куртке, в плоской кожаной кепочке, остановил Калмыкова.

– Главный военный советник прислал за вами!.. Генерал ждет вас на вилле! Срочно едем! – Обычно добродушное, приветливое, лицо Татьянушкина было жестким, с новыми, незаметными прежде чертами морщин, желваков, острых скул. Синие глаза потускнели, приобрели металлический серый оттенок.

Двумя машинами они промчались по Кабулу, по его морозному пару, сквозь запахи хлеба и дыма. Высадив Расулова у госпиталя, Калмыков вслед за «тойотой» въехал в железные ворота знакомой виллы.

Они сидели втроем, генерал, Калмыков и Татьянушкин, в теплой гостиной за низеньким столиком, на котором стояла каменная пепельница, склеенная из лазурита и яшм. За окном, весь в снегу, белел сад. Из-под снежных куп ржаво желтели высохшие обледенелые розы, а там, где недавно струилась вода фонтана, теперь блестела наледь.

Генерал, сухой, строгий, с лицом, напоминающим смуглую доску в потолке избы, в сухих и трещинах, расспрашивал Калмыкова:

– Как здоровье? Как самочувствие?... Акклиматизацию прошли? Климат в Кабуле хороший! Недаром восточные цари устроили здесь свои резиденции... Но русскому человеку, конечно, лучше России ничего не найти!.. Был сейчас в Москве, на приеме у министра, ну, друзья позвали на кабанью охоту. Кабана завалили, в сторожке, в избушке баньку истопили! Так хорошо, так славно! На год силы скопил!

Генерал улыбался, но лицо его оставалось сухим, строгим. Калмыков старался понять, куда генерал клонит, куда ведут его рассказы о кабаньей охоте, на какую тропу и след. Он чутко, молча внимал, стремясь разгадать генерала.

– Надеюсь, вы успели разобраться в обстановке? Сложная обстановка, запутанная. Революцию надо не только уметь делать, но и уметь защищать. А они, похоже, революцию с успехом проваливают. Земельная реформа проваливается – не берет народ землю! Реформа образования проваливается – не пускают девчонок в общие классы. Оппозиция крепнет, получает оружие из Пакистана!.. Если революция здесь проиграет, мы с вами получим на южной границе Союза враждебный исламский режим. Один уже есть в Иране, другой будет здесь, в Афганистане. Это не лучший подарок нашему государству!

Калмыков вдруг увидел бабочку. Желтая, полупрозрачная, она слабо шелестела крыльями, трепетала у стекла, за которым был зимний сад, снег и солнечный лед. В тепле гостиной, спасенная от стужи, она стремилась обратно в сад, где еще недавно летала среди бархатных пахнущих роз. Калмыков следил за бабочкой с тончайшей мукой, слушал генерала, чувствуя, что его ведут по стезе, к чему-то приближают. Стремился понять к чему.

– Нет у нас, к сожалению, глубоких специалистов по исламской проблеме! Ни в МИДе, ни в разведке, ни в армии. Не могли предугадать события. Все старые кадры потеряны. А ведь когда-то, при царе-батюшке, были отличные специалисты по Средней Азии и Афганистану. Я специально рылся в библиотеке Генерального штаба. Русские военные изучали климат Афганистана, почвы, броды на реках, дороги через перевалы, нравы, виды продовольствия и товаров. Где можно конницу провести, где артиллерию, а где лишь пехоту! Готовились воевать на этом театре. Нам до них далеко!

Бабочка оторвалась от стекла, полетела в глубину гостиной, покружила у люстры и снова устремилась на белый блеск снега. Ударилась о стекло, забилась, пульсируя желтыми прозрачными крыльями. Калмыков слушал шелест ее перепонки, старался различить тот звук в генеральских словах, который выдавал истинный смысл разговора. Этот смысл был известен Татьянушкину, таился в его стальных глазах, в жесткой выбоине подбородка, в сухих отточенных скулах.

– Амин оказался предателем, палачом своего народа! Мы доверяли ему, Тараки ему доверяли! Он обманул Союз, обманул Тараки. Амин проводит аресты в армии, аресты в партии! Применяет самые изуверские пытки, а потом расстреливает! Он хочет уничтожить партию.

Есть сведения, что он начал переговоры с целью создания коалиционного правительства! Нам стало известно также, что он агент ЦРУ!

Бабочка исчезла. То ли скрылась за занавеской, притаилась, отбив свои крылья о прозрачную преграду. Или, может, пригрезилась, как тончайшее наваждение. Стекло было пустым, за ним белел сад, и не было в нем садовника в чалме и накидке, не было бархатных роз, не было бабочки.

– По разведанным, в первые дни года Амин готовит переворот! Будут арестованы тысячи членов партии, командиры корпусов и дивизий, советские военные и экономические советники! В стране будет установлена террористическая диктатура! В Кабуле высадутся американские силы быстрого реагирования! В итоге, как мы понимаем, американцы получают в Афганистане военный плацдарм, на котором развернут против Советского Союза ракеты средней дальности. На возвышенностях и на плато установят системы дальней радиолокационной разведки, позволяющие просматривать территорию СССР на глубину до трех тысяч километров, фиксировать испытательные и учебные пуски наших баллистических ракет.

Калмыков искал глазами исчезнувшую бабочку и не мог найти. Сверкала в застывшем фонтане глыба льда. Светились в каменной пепельнице лазуриты и яшмы. Ко Дворцу, к янтарному portalу подкатывала машина кофейного цвета, и из нее выходили величественный хозяин Дворца, женщина в пышных мехах, девочка в распахнутой шубке. Путь, по которому вел генерал, приближался ко Дворцу, к его стройному фасаду.

– Я был у министра в Москве. Есть приказ на уничтожение Амина, на захват Дворца силами вашего батальона. Вам отводится неделя на обдумывание операции, на доклад по захвату объекта.

Генерал умолк. По его лицу побежали морщинки, как трещины по сухой доске, расщепляя лицо на множество мелких щепок, заноз, заусениц. А в нем, Калмыкове, паника, смятение, ужас.

Батальон атакует Дворец. Врытые танки прямой наводкой жгут «бэтээры», отрывают башни, ошметки разорванных тел. Пулеметы косят охрану, и в этой афганской охране Валех, умирая, взмахнул рукой, и на этой руке подарок Калмыкова – часы. Он гонит людей на штурм, поскользывается на ледяном откосе, а сверху от Дворца тугие секущие трассы, сквозь ветки розовых яблонь.

Он ужаснулся, не понимая задания, ошеломленный его внезапностью. Но сквозь ужас и панику вспомнил, что оно угадывалось, слабо проглядывало еще там, на учебной базе во время бросков по пустыне, и позже, когда грузил батальон в самолеты и летел на пустую луну, и позже, когда входил в Кабул и город расступался своими мечетями, рынками, пропуская боевую колонну, и позже, когда выла метель и валил снегопад, и душа тосковала, стремилась прочь, стиснутая предчувствиями. Он, военный разведчик, привел батальон спецназа в чужую страну, знал, что приказ возможен, удар по Дворцу возможен.

– Кроме того, – продолжал генерал, – готовится восстание здоровых сил партии и армии. Они выйдут из подполья и атакуют министерство информации, министерство внутренних дел, радиокомитет, узлы связи, министерство обороны. Вы должны выделить силы на поддержку восстания, осуществить захват перечисленных объектов.

– Но это невозможно! – вырвалось у Калмыкова, который отметал, отшвыривал саму возможность атаки, вероятность крови и жертв. – Невозможно, товарищ генерал!

– Почему? – спросил генерал, и его вопрос относился не к самой возможности атаки и штурма, а к ответу офицера, не согласного с ним, генералом. – Почему невозможно?

– Не хватит сил батальона! Это верная гибель, вот и все! – путаясь, торопясь, захлебываясь, ненавидя генерала, испытывая отвращение к Татьянушкину, обманувшему его своими голубыми глазами, презирая себя самого, стал объяснять генералу план обороны Дворца, численность гвардии, количество орудийных стволов, невозможность малыми силами атаковать

одновременно десятки объектов города, набитого войсками, с танковыми полками в окрестностях, с «коммандос» в Балла-Хис-саре. Это срыв операции, бессмысленные гибель и смерть, безумная затея в центре чужой столицы.

– Батальон спецназа стоит дивизии, – сказал генерал, но в голосе его не было раздражения, а усталость и вялость.

– Товарищ генерал, комбат прав! – вмешался Татьянушкин. – Задача, я подтверждаю, нереальная. Силами батальона город не взять. Надежда на всеобщее восстание партии и армии маловероятна. Мы уже послали доклад по своим каналам. Было бы хорошо, если бы мнение комбата стало известно министру!

Они молча сидели перед низеньким столиком, на котором красовалась драгоценная пепельница, изделие афганского ювелира, и сад сверкал, и не было бабочки, а был мутный дымный вихрь в душе, непонимание себя, бессилие перед грозной, жестокой силой, проложившей след через азиатский город, эту гостиную, его, Калмыкова, душу, в которой смятение и страх.

– Хорошо, – сказал генерал, – я доложу министру и начальнику Генерального штаба. Но вы все равно готовьте план операции, через неделю доложите!

Калмыков выходил из гостиной, в последний раз озираясь, не мелькнет ли на зимнем стекле желтокрылая бабочка.

Весной, в подмосковной деревне, он охотился на вальдшнепов. Нес на плече старенькую «тулку», тряс в кармане двумя отсырелыми патронами. Он не был охотником и шел побродить по вечерним болотам, постоять на сырых озаренных опушках.

Он облюбовал себе место у огромной березы, розовой в последних лучах, среди блеска длинных холодных луж, на краю жирной черно-красной пашни. Стоял среди звуков близкого леса, треска и щебета птиц, слабого хлюпанья и журчания болот. Вдыхал чистейшие ароматы теплой воды, мокрой земли, последних почернелых снегов. Его душа полна ожидания, предчувствия неясной вести, единственного к нему обращенного знака среди множества звучаний и знамений весны.

В елках шумно перелетали дрозды. В прозрачной березе уселась малая птаха, пела, и ей из-за черных резных вершин отзывалась другая. Пашня, маслянистая, в красных мазках, шевелилась, взбухала, выдавливалась могучими подземными силами. Опушка мерцала, туманилась. Соки земли проникали в стволы деревьев, испарялись цветным туманом. Фиолетовая палая листва шуршала, ее поднимали, раздвигали проснувшиеся стебли и корни. Лес, поле, небо к чему-то готовились. словно он, пришедший на опушку, был зван сюда, его поджидали, готовили встречу.

Солнце село. В кронах деревьев стемнело. Оттуда подул холодный темный сквозняк. Но в небе, в прозрачных кронах горела заря, и на веточке крохотная, с алой грудкой, сидела птица, редко и чисто высвистывала.

Пашня потемнела, небо стало каменным и зеленым, и в этой зелени, бледная, прозрачная, словно облако, парила луна.

Он был весь в ожидании. Чувствовал, что-то близится, несется к нему, еще далекое, запредельное, но уже выбравшее его, заметившее его здесь, у пашни, у березы, под тонкой струйкой зари.

Небо густело, земля была темной, погасшей. Пашня угрюмо, едва различимыми глыбами, уходила в сырую даль. Но луна наливалась блеском, начинала сочно мерцать, будто в нее стекались металлические растворы. Среди пустой синевы горела серебряным кругом.

Его душа обращалась к небу, луне, к угасающим утихшим вершинам, к ночным холодным чащобам – с вопросом, с мольбой, с ожиданием чуда. Он не знал ни единой молитвы, но молился земле, и воде, и последним краскам зари, просил послать ему знак, подтвердить, что

он замечен, что в грядущей жизни ему уготована особая доля, особая любовь, особый поступок, делающий его навсегда причастным к этой дивной весне, родной природе, первой звезде, похожей на яркую каплю.

Он молился, стоя на холодной земле, среди ночных влажных звезд. Ждал знамения. От березы, по небу, над его головой пролетела птица. Ее длинный клюв, широкие серповидные крылья, гладкое плавное тело. Она вылетела к нему, окруженная светом, как дух вечернего леса, как посланец звезд и луны. Осенила его, оставила на нем незримую мету, подтвердила, он замечен, избран, ему уготована дивная доля.

Он ехал по Кабулу, выруливая среди автомобильных потоков, обшарпанных желто-белых такси, размазанных грузовых фургонов, моторикш, похожих на расшитые тибетейки. Улицы кишели толпой. Укутанные в теплые накидки, с торчащими носами и бородами, вышагивали смуглолицые мужчины. Развевая шелковистые паранджи, напоминая разноцветные язычки пламени, двигались женщины. Ребятишки плотно облепили двуколку с красноватыми дровами, толкали ее по проезжей части. В лавках, ужаровень, у хлебных пекарен, перед входом в чайхану клубились люди, множество похожих, созданных по единому образцу и подобию, с гончарно-красными лицами, черными и белыми бородами. И глядя на них, Калмыков пугался – вдруг они угадают его мысли, узнают о полученном приказе. Вмиг загудит, зарычит взбудораженный город, сигналы опасности полетят по перевалам и тропам, вдоль дорог и селений, и несметные скопища охваченных отпором и ненавистью бросятся на него, Калмыкова, и расстреляют.

Он боялся думать о приказе генерала, чтобы мысли его не стали известны толпе. Пусть торгуют красной промытой морковью.

Пусть бегут за переполненным, с незакрытыми дверями автобусом.

Пусть раскидывают на прилавках цветное тряпье. Люди сновали и роились, как пчелы у летка, занятые повседневными хлопотами. Но если их потревожить криком и выстрелом, жесткой и злой командой, все их несметные толпища налетят на него и зажалят.

Он катил по Кабулу, дыму и изморози, ужасаясь тому, что придется врываться своим оружием, стреляющими броневидами в людское месиво, вспарывать серый, накрывающий город чехол, выпихивать из него кровавую подкладку.

У госпиталя Калмыков подобрал Расулова. Веселый, самодовольный, с увлажненными, умиленными глазами, он подсел в машину. Ухмылялся в усы, разглаживал их красивую подстриженную щетку.

– Перстенок мой носит!.. Говорю: «Буду приезжать проверять!..» А она: «Приезжай!»

Калмыков испытывал к ротному, счастливому любовнику, сострадание. Его сильное, обласканное женщинами тело будет пробито пулей, станет корчиться на операционном столе. Права была Роза, гарнизонная гадалка, сыпавшая перед ними лакированных королей и вальсов, сулившая беду в Большом Доме, в янтарном восточном Дворце.

В казарме он созвал командиров рот, истребовал срочный доклад о состоянии техники и оружия. Накричал на Баранова, узнав, что на стрельбах у «бэтэра» отказал пулемет. Приказал заму по вооружению перебрать и почистить все пулеметы на «бэтэрах» и «боевых машинах десантников».

Вечером он дождался, когда стихнет казарма, угаснут команды, ссоры и смех и множество молодых утомленных людей быстро, почти одновременно уснут. Он лежал в своей комнатухе на дощатом топчане и планировал операцию. Продумывал подходы ко Дворцу, направление атаки, рубеж сосредоточения и развертывания. Просчитывал время, нужное для преодоления откоса под огнем пулеметов. Хитрил, фантазировал, как незаметно прокрасться к танкам, сжечь их из гранатометов. Он выделял две роты для захвата министерства обороны, радицентра и министерства внутренних дел. Знал, что эти роты лягут костями, по их спинам

пройдут афганские танки, а отборный полк «коммандос» довершит убийство. Приказ, полученный от советника, был приказом на истребление. Он, комбат, собирал батальон, учил, снаряжал для того, чтобы погубить в бессмысленном скоротечном бою в чужом азиатском городе. Пожары и взрывы в кварталах, копотный дым из Дворца, и по всем площадям и рынкам, у мечетей и глиняных хижин – истерзанные трупы солдат.

Ему было страшно. Его мысли носились над ночным Кабулом, над объектами атак и ударов и бессильно возвращались обратно, в тесную каморку казармы.

Он не обсуждал приказ генерала, не вникал в его политический и военный смысл. Он был офицер, и вся его жизнь и служение состояли в беспрекословном выполнении приказа. Его психология разведчика, его ремесло спецназа побуждали на выполнение любого задания, на следование по любому маршруту, хоть в Африку, хоть в Антарктиду. И мало ли Дворцов на земле, в Париже, в Мадриде, в которые ему прикажут вломиться.

Но здесь, в Кабуле, он ощутил себя обманутым. Его уверяли, что он станет спасать Дворец, станет защищать его вместе с гвардией, вместе с Валехом. Теперь же он должен убить Валеха и разрушить янтарный Дворец.

Он чувствовал свое бессилие, обреченность. Свою неумолимую включенность в жесткий план, где ему уготована беспощадная роль.

Ему вдруг показалась возможной и спасительной мысль – исчезнуть, уклониться от этой роли, навязанной неизвестно кем и за что. Сбросить жесткую неудобную форму, ремни, оружие. Покинуть промозглую казарму и превратиться снова в ребенка, того, который слышал шипение блинчиков на кухне, ждал, когда мама снимет в прихожей шубу, обнимет его холодными пальцами.

И в этой тоске, обреченности вдруг ярко и сочно вспомнил о женщине, которая осталась в Москве. Не вспоминал о ней все недели, но она присутствовала, как жаркая точка под сердцем. И теперь, спасаясь от холода и озноба, он стал раздувать эту малую искру, дышал на нее, чтоб она не погасла, и она разгоралась.

Тот дождливый осенний день. В тусклом музейном зале огненный бег хоровода. Он захвачен этим огнем, помещенный в его пламенный круг. Оглянулся – женщина стоит у окна, смотрит на него неотрывно. Они шли по мокрым бульварам, по прелой листве. Он вспоминал, как выглядел в детстве бульвар, какие гуляли здесь старики.

Забрели в ресторанчик, где собирались художники. Пили вино. Он рассказывал ей, как бегут по осенним степям табуны сайгаков, попадают в фары машин, скачками уносятся вспять. В промокших пальто, с кружащимися от вина головами они оказались в ее маленькой уютной квартирке. Он видел, как сбрасывает она у порога туфли, вставляет узкую стопу в расшитый тапочек. Ему захотелось коснуться ее узкой гибкой щиколотки. Они оказались рядом в сумраке комнат. Она сидела напротив, говорила, тихо смеялась. Он накрыл ее пальцы ладонью. Он помнил, как опадала ее шелестящая блузка, как повела она зябко плечом, как он нес ее на руках, но не помнил, как были они близки. Лежали, касаясь друг друга плечом, и, медленно открывая глаза, он видел, как белеет ее согнутое колено, смутно темнеет на стене акварель.

Калмыков лежал на казарменных досках в морозной ночи. Где-то рядом за снежным бугром, осыпанный звездами, дремал восточный Дворец. А он стремился в Москву, к желанной, к любимой женщине, умолял ее о спасении.

Глава двенадцатая

Это случалось каждый раз в годовщину отцовской смерти, в зимний день домашней печали, когда лицо матери, ее черное платье, вздохи и пришептывания бабушки, фотографии

отца в раскрытом альбоме – все было напоминанием об утрате, семейным поминовением, ежегодным трауром, ставшим для него, мальчика, такой же незабываемой датой года, как и его собственное рождение, или новогодняя елка, или майское, из красных флагов и зеленых почек торжество.

На этот раз он уехал в лес на лыжах и носился, одинокий и легкий, по морозным туманным полям. Думал об отце, взлетая на ледяные блестящие холмы, падая в звонкие обжигающие долины, врываясь в хрустящие с красными шишками ельники, и ему все казалось, что отец безымянно, безгласно следит за ним из туманного белого солнца, из морозного запорошенного стожка, из сизой, с черной промоиной лесной речки.

Он выскочил на лесосеку. На поляне дымились костры, валялись распиленные стволы. Лесорубы с сизыми носами, в рукавицах обивали топорами суки. Мелькала сталь, клубился синий смоляной дым, стояли запряженные в сани заиндевелые лошади. Пробегая по поляне, слыша крики, звон, хруст, он вдруг подумал: отец не умер, а где-то здесь, среди этих сильных голосистых людей. Машет топором, дышит паром, смотрит с улыбкой на сына, пробегающего сквозь сиреневый дым.

В маленькой деревеньке, черневшей в сугробах косыми избами, он зашел напиться. Принимая из рук старушки расколотую чашу с водой, оглядывал избу. Примерзший к стеклу цветок, стоптанный половики, седая серебряная икона с раскрашенным яичком и бумажной розой, на лавке – свежеструганая деревяшка, ножик, моток бечевы. И мысль его была: отец не умер, а живет в этой Богом забытой избушке. Это он минуту назад точил деревянный колышек, мотал бечеву. Вот-вот звякнет дверь и отец вернется.

Он бежал по полю, вдоль осинника, по волнистым снегам. Лыдисто зеленели стволы, золотились корявые металлические вершины. Внезапно лисица, пышная, красно-белая, с толстым тяжелым хвостом, выскользнула из-за деревьев, встала, приподнявшись на лапах, нацелилась на него заостренной головой.

Их взгляды встретились. Лисий, зелено-желтый, зоркий, веселый, и его, испуганно-радостный, знающий, – это отец, превратившись в лисицу, вышел ему навстречу, заглянул в сыновье лицо веселым звериным оком. Сказал ему – смерти нет, и когда сын пробежит по всем лесам и полянам, пройдет по всем дорогам и тропам, одолеет все пространства и дали, он снова вернется к этим мерзлым осинам, превратится в лисицу, и они, отец и сын, встретятся среди дивной долгожданной зимы.

Охрана Дворца установила на въездах еще несколько постов и шлагбаумов, подогнала грузовики с прожекторами, и ночами вспыхивали ртутные кипящие чаши, голубые струи металлись, сливались, озаряли ледяные откосы, яблоневый сад, упирались в далекие горы, в пустые летящие тучи.

Калмыков с биноклем взбирался на холм. Думал, считал, промерял, водил невидимым циркулем, очерчивая Дворец кругами и дугами, доказывал смертельную теорему о штурме Дворца.

Он мысленно делил батальон на несколько неравных частей – штурмовых атакующих групп. Распределял между ними машины, гранатометы, ручные и станковые пулеметы. Одну из групп посылал по серпантину вверх, держа на ладони несуществующий хронометр, следил, как мелькают сквозь кусты боевые машины. Вторую группу, оснащенную штурмовыми лестницами, направлял по ледяному откосу, сквозь яблоневый сад, где блестела наледь. Третья группа уходила в расположение зенитного полка, где в капонирах под маскировочной сеткой укрывались скорострельные установки, способные на сверхплотный заградительный огонь. Четвертая группа, вооруженная гранатометами, направлялась к зарытым танкам. Их следовало сжечь, прежде чем начнется атака. Пятая группа шла в атаку на казарму охраны, где размещались полторы тысячи гвардейцев, ее задача – подкрасться к окнам и забросать охрану грана-

тами. Шестая группа оставалась в резерве, ее следовало бросить туда, где захлебнется атака. Он сам, в случае неудачи, поведет эту группу, прикроет отход разгромленного окровавленного батальона в горы, в снега, в голые камни, где они смогут еще продержаться несколько часов до рассвета, когда прилетит авиация, подтянутся афганские танки, и никто никогда не узнает, куда бесследно исчез батальон спецназа, отправленный воздухом лунной осенней ночью со специальным заданием.

Калмыков опустил бинокль, смотрел на Дворец, сиявший на снежной горе. Спустился к казарме, где, не знающие о его страхах и замыслах, сновали солдаты.

Он собирался на аэродром. Прибывал борт из Союза, специально для батальона. Доставлял запчасти к «бэтэрам», боекомплект, пиленный лес для обустройства казарм. Машина ждала у КПП, когда внезапно появился Татьянушкин. Он отвел Калмыкова в сторону, подальше от пробежавших солдат, от ротного, распекавшего двух унылых провинившихся прапорщиков.

– Генерал согласился с вашими доводами. Отстучал шифровку министру. Будет подмога. Объекты в городе – не ваше дело. Вам остается Дворец!

– Не знаю, в чьей башке родился план операции! – язвил Калмыков. – То, что я услышал на вилле, – гадость, глупость! Если кому-то нужно уничтожить батальон, пусть так и скажет! Зачем штурмовать объекты? Я выстрою батальон на плацу, и пусть нас расстреляют из пулеметов!

– Я же сказал! – раздраженно перебил Татьянушкин. – Генерал отослал шифровку, и пришел ответ. Будет подмога. Ваше дело – Дворец!

Они стояли на снежной тропке и смотрели один на другого почти враждебно.

– Я буду вместе с вами при штурме объекта, – сказал Татьянушкин. – Мое подразделение пойдет с батальоном. Вы обеспечите доставку к объекту моих людей. Мы войдем во Дворец и все сделаем сами.

Это «все сделаем сами», как понимал Калмыков, было истребление Амина. Батальон обеспечит захват Дворца, а Татьянушкин, поразивший его в Баграме милой родной улыбкой, прикончит Амина.

– Вы умеете это делать? – спросил Калмыков. – Был опыт?

– Я вообще-то ярославский мужик. В деревне скотину гонял, подпаском, – сказал Татьянушкин. – Отец мой был пастух, и дед тоже. Все на одном лужке. А я с того лужка ушел и больше не возвращался. Служил в Африке, Европе, Латинской Америке. А теперь вот здесь оказался. Если отсюда живым выйду, поеду к себе на лужок. Кнутик сплету и буду до конца дней скотину пасти. И ничего мне больше не надо!

Его окаменелое лицо потеплело, заулыбалось. Калмыков подумал: и этот стоящий перед ним человек, как и он сам, Калмыков, жил двумя жизнями. Одной – явной, где готовился штурм Дворца, ожидалась смерти и кровь. И другой – неявной, невысказанной, где какой-то лужок, какие-то цветочки. Как и у него, Калмыкова, – в московской комнате женщина с распушенными по спине волосами стоит у окна, смотрит на снежный бульвар.

Они проехали по Дарульамману мимо комплекса министерства обороны, вдруг испугавшего Калмыкова своим объемом, обилием входов, этажей, зелеными, старой конструкции «бэтэрами», похожими на стальные корыта. Миновали советское посольство, откуда доносили на него язычки чьей-то невидимой жестокой воли. Сделали круг по набережной: лавки были присыпаны снегом, и клубилась косматая черная толпа. Обогнули Дворец Революции с древними пушками, из чьих черных нестреляющих жерл посмотрели на него чьи-то сумрачные неверящие глаза. По прямой помчались в аэропорт – еще один объект для захвата, куда бессонными ночами мысленно направлял роту. Блокировал диспетчерский пункт, взлетные полосы с самолетами, чтоб ни один не взлетел и не сел.

Предъявляя пропуска, миновали посты охранения, выехали к терминалу, где, припав на хвосты, застыли истребители и ленивые солдаты перекачивали железные бочки. Тут же стоял двухмоторный военный транспорт. Под крыльями вытянулась неровная очередь, молодые люди в накидках, шароварах, застывшие, с торчащими на безбородых лицах носами. Тут же прохаживались автоматчики, караулили новобранцев.

В небе было пусто, прозрачно. Высоко, на снежных склонах сияло солнце.

Подкатил лимузин, лакированный, широкий в боках. На радиаторе трепетал американский флажок. С сидений поднялись два молодых человека, один с фотокамерой, другой с пухлым блокнотом. Оба стали заглядывать в блокнот, указывая на соседние терминалы и склады. Что-то сверяли, а может быть, искали.

– Американский атташе по культуре, – сказал Татьянушкин, всматриваясь в номер машины. – С тех пор как здесь застрелили американского посла, резко сократился штат посольства. Эти двое: один – ЦРУ, другой – военная разведка!

Американцы заметили, что за ними наблюдают, переглянулись, помахали им издали – их неафганским белесым лицам, грубошерстным афганским мундирам.

Калмыков посмотрел на часы, подарок Валеха. В хрустальном стекле пульсировала хрупкая стрелка. Транспорт был на подлете. Калмыкову не терпелось узнать, привез ли он узлы к «бэтээр», – две машины нуждались в ремонте.

Горы вокруг сияли, раскрывались вверх огромными каменными лепестками. Солдаты катили тяжелые железные бочки. Новобранцы, подобрав накидки, поднимались на борт. Американцы стояли у лимузина с опавшим нарядным флажком.

Калмыков, озирая близкую и дальнюю окрестности, вдруг почувствовал, как что-то меняется. Словно прозрачная тень коснулась снегов. Небо наполнилось мельчайшей вибрацией, сотрясавшей студеным солнечный воздух.

Звук летел из небес, отслаивался, опадал серебристой фольгой, накрывал металлическим куполом аэродромное поле. Глаза, устремленные ввысь, искали источник звука. Находили малые серые точки, распахнутые парящие крестики, издававшие тонкий звон. Их было много, они возникали из синевы. Казалось, напряженные зрачки создают их из собственных мерцаний и слез.

Самолеты появлялись из-за хребта, скользили в пустом, окруженном горами небе, начинали мерно кружить, словно их затягивало, засасывало воздушной воронкой. Снижались по размытой спирали, увеличивались, создавали свое собственное, пронизанное звуком пространство.

Первая машина, четырехмоторный бело-серебряный транспорт, скользнула к земле, оставляя копотный след, с ревом прошла вдоль лысых склонов, развернулась на дальнем крае долины, устремилась на посадку, отягченная, растопырив закрылки, в жужжащем кружении моторов, нацелилась лапами в землю. Хватанула бетон, набежала с жужжанием и воем, шевеля перепонками, замедляя бег, пронося над бетоном переполненное рыбье брюхо, в направлении проделанного полета, в изморози неба, в отвесах льда и снега. Самолет катил мимо Калмыкова. В хвосте отворилась щель, отламывалась плита, и пока машина катила, жужжа и вращая винтами, начинали скатываться, рассыпаться темные комочки. Падали, катились, обретали очертания людей. Вскидывали, распрямлялись в беге. Машина по-рыбьи метала икру, из нее тут же выводились мальки. Десантники бежали в бушлатах, касках, с автоматами, с красными разгоряченными лицами. Мчались от самолета, разбивались на малые группы, врассыпную по взлетному полю.

Садилась вторая машина, сливая свой рев с первой. Вдоль белых скал снижалась третья. Самолеты ввинчивались в низину, наполняли ее скрежетом, ревом, зазубренным гулом. Второй самолет опустился в дрожащем стеклянном воздухе, запаянный в жидкое стекло, с размытыми, оплавленными очертаниями. Из черного чрева летели зародыши, касались земли,

оплодотворяли ее, и в месте прикосновения вскакивали в рост солдаты. Скачками, в косых прыжках, уклоняясь от секущего ветра, начинали бег, веером, в разные стороны, толкаясь в сухой бетон, краснолицые, в касках, с тусклым светом оружия.

– Подмога! – ликовал Татьянушкин, ярко синее глазами, приземляя ими самолеты. – Вот она, подмога твоя!

Одни самолеты садились, терлись друг о друга боками, другие, облегченные, начинали взлетать, уходили в небо, освобождая место для посадки. Две спирали, ниспадающая и взмывающая, соединились в сложную карусель. По аэродрому уже катили боевые машины, вырвали тяжелые гусеничные самоходки, упруго подпрыгивали легковые машины. Десантники рассыпались во все стороны – к постам охраны, к траншеям с афганскими зенитками, к зданию порта, к диспетчерской, к штырям и чашам антенны.

– Вертикальный охват! – радовался Татьянушкин красоте и мощи десанта. – Вот она, подмога! Как в Чехословакии, точно!

В его ликовании была жестокая ярость.

Калмыков понимал технологию десантирования, военный принцип захвата – движение самолетов, оружия, броски десантных групп. Аэродром захватывался во всех его жизненных центрах, вырывался, выкраивался из территории, подключался к небесной трубе, в которую из-за хребтов взлетали самолеты. Громадная помпа качала из-за гор грозную энергию, и он, Калмыков, был частью этих падающих вихрей металла и звука. Он не был посвящен в причины и истоки событий, не знал их глубинного смысла. Все, что он мог, – это следовать грозной анонимной воле, пригнавшей в Кабул самолеты.

Афганские солдаты, катавшие бочки, ошалело смотрели. Новобранцы у самолета сбились в толпу, их окружали десантники, гнали с бетона. Американцы в длинных пальто, обомлев, наблюдали десант. Один что-то быстро писал в блокнот, задира голову, словно пересчитывал самолеты, и снова писал. Другой сорвал с груди фотокамеру, жадно, быстро снимал. Пробежавший мимо десантник с хрустом костей и суставов, выбрасывая вперед автомат, выдохнул вместе с паром:

– Ну ты, козел, кончай снимать! А то пристрелю!.. Американцы попятились залакированный борт машины, а десантник, увлекая за собой остальных, исчез в ангаре.

Повсюду, на всем пространстве, далеко и близко, двигались машины и люди. Катилась гусеничная техника, качались стволы самоходок. Десантная дивизия закреплялась на плацдарме, топорщила во все стороны жерла. Кабул, клетчатый, глиняный, хрупкий, смотрел бессчетными глазницами своих хижин, мечетей и рынков на явившихся с неба пришельцев.

Несколько давних осенних дней он прожил на Белом море, на Терском берегу, где в рыбацких тонях, в рубленых белесых избушках старики поморы ловили семгу. Берег, песчаный, с холодным кипящим рассолом, был усыпан бревнами и седыми корягами, с остатками прогнивших ладей, в ржавых якорях и цепях. Казалось, в море потерпела крушение огромная эскадра и остатки мачт и шпангоутов, корабельный мусор и скarb выброшены бурей на берег.

Он бродил среди мокрых песков, спотыкался о прогнившие бревна, набредал на кривые кресты, на старые серые кладбища. Море кидало ему под ноги соленую серую пену, а из туч летел мокрый снег, тонул в воде. Ветер гудел невнятную печальную песню об исчезнувших деревнях, о канувших в море матросах. Былая отшумевшая жизнь оставила после себя гнилое железо и дерево.

Старики в домашних вязаных блузах грелись у печей, кашляли, латали драные сети. Блестела на полу чешуя. Колотился в слепое оконце дождь. Море стучало в деревянные стены, как в бортовину.

Он засыпал в ночи, слушая близкое море, думал об исчезнувших жизнях – о румяных невестах, о шумных свадьбах, о корабельщиках на еловых ладах.

Утро было хмурое, в морозящем дожде. Тусклый блестящий отлив омывал черный карбас, залипший в песок. Старики в брезентовых робах, в резиновых сапогах, подкладывали под карбас катки, сипя и кашляя, налегали на борт, сдвигали к воде тяжелую мокрую лодку. Сели, медленно оттолкнулись шестами, заколотили, зашлепали длинными веслами. Направили карбас в крутящуюся рябую волну.

Дрожащая череда поплавков. Багром – за капроновый жгут. В шесть рук, перебирая красными кулаками, тянут со дна канат. Хлюп ячеи, потоки холодной воды. Повисла, стекая капелю, сочная морская звезда. Прилипла к борту глянцевитая скользкая водоросль.

Лодка танцует в волнах. Он тянет сеть, хрипит со всеми, отдирает от морского дна невидимую тяжесть, выкатывает из вод огромные деревянные обручи. И вдруг среди тусклых волн, под низкими снежными тучами, возникает сияние. Будто из бездны под лодкой разгорается свет, подымается столб серебра, изливается из воды потоком дивных лучей.

Вода кипит, взбужает тяжелым огнем. Словно из моря встало пернатое диво, достало головой до туч, распустило по окрестности крылья света. И он сам, стоящий в лодке, вырос до неба. Глаза его расширились, будто в них вставили чаши света. Грудь наполнилась мощью, ноги уперлись в морское дно, а голова увидела солнце. В ясновидении он вдруг понял устройство мира, ход небесных светил, движение подводных течений. Ему открылась чудная истина – смерти нет, а есть бесконечная жизнь, и в этой жизни никуда не исчезли, а гудят все свадьбы, скачут все кони, целуются женихи и невесты.

Это длилось мгновение и кончилось. Он выпал из неба. Стоял в пляшущей лодке. Рыбаки вынимали из сетей тяжелых серебряных рыбин, они бились в днище, сбрасывали слизь и молоку. Старики глушили их деревянными колотушками, пока из-под жабер не выступала алая кровь.

Ночью Калмыкова стал бить озноб. Он кутался, поджимал колени, набрасывал поверх одеяла комья одежды. Утром, одолев недуг, встал вместе с казармой, вышел на развод. Строго поговорил с командиром четвертой роты Беляевым, направил его прапорщиков и механиков-водителей на ремонт «бэтээров». И снова почувствовал слабость, ушел в свой закут за брезентовый полог. Прилег не раздеваясь и задремал.

Ему снова приснилась желанная женщина в ее маленькой московской квартире. Они стоят у ночного окна. На белом бульваре новогодняя елка, разноцветные мигания и вспышки. Он касается ее голым плечом, она медленно к нему поворачивается, ее теплые груди давят ему на грудь. Он чувствует гладкое скольжение ее колен, и такая сладость и мука, такой ослепительный блеск.

Он проснулся от криков в казарме. Сбрасывая незавершенное видение, возвращаясь в озноб, в явь, в крики, он нырнул под брезентовый полог, вышел в длинное, с ревущей печуркой, пространство. Солдаты ругались, держали за руки худосочного полураздетого парня. Ротный Расулов схватил его за подбородок, тряс, ломал ему челюсть, приговаривая:

– Ах ты, скот!.. Ах ты, сука вонючая!.. Падла паршивая!.. Калмыков перехватил руку Расулова, отодрал ее от трясущегося, безумного, с блуждающими глазами лица.

– Отставить!.. В чем дело, капитан?

– Амиров, тварь такая, ящик сгущенки на кухне спер, толкнул афганцам! А те ему наркотик насыпали!.. Он, тварь, накурился, полез в оружейную комнату за автоматом! Старшина его перехватил, свинью вонючую!..

Солдат водил красными белками, безумно улыбался, на его вялых губах пенилась, стекала зеленоватая жижа. Комбат вспомнил, что уже видел эту пену на тех же губах, – в маршброске рухнул солдат, лежал на соляной корке, сучил ногами, и из полукрытого рта текла ядовитая зеленая гуща.

– Он в оружиеку прокрался, автомат спер!.. Тут его старшина прихватил!.. Что он с автоматом надумал, наркоман проклятый!..

Расулов порывался снова вцепиться в белое, без кровинки лицо, на котором слепо двигались красные выпученные белки. А в нем, Калмыкове, – душная ненависть к солдату, к Расулову, к себе самому, больному, дряблему, сомневающемуся в то время, когда необходима жестокая воля, умная энергия, хитрость, направленные на близкое, неизбежное дело.

– За ротой кто смотрит? – заорал он на Расулова. – К бабе ездишь! За солдатами кто будет смотреть?... Под трибунал!.. Эту гниду на цепь!.. Клизму ему!.. Водой ледяной!.. Первым же рейсом в Союз, в штрафбат!..

И пошел, ненавидя, пережигая в себе болезнь, мучительные, разрушавшие его колебания. К казарме подкатывала знакомая «тойота» Татьянушкина. В ней было битком, на переднем и заднем сиденьях. Татьянушкин, выходя из машины, что-то втолковывал спутникам.

– Есть срочное дело! – обратился он к Калмыкову. – Из аэропорта доставить спецгруз. Берите три грузовика и охрану! – Лицо его было озабоченное и насупленное. Было видно, что он нервничает.

Они выехали с тремя грузовиками вслед за Татьянушкиным. Калмыков сел в первую кабину, в две другие посадил Баранова и Грязнова. Под брезентом на лавках поместились автоматчики. Калмыков не спрашивал Татьянушкина, что за груз и куда его надо доставить. Подчинялся не столько приказу полковника, сколько утвердившейся в нем напряженной угрюмой воле. Сидел в кабине, глядя, как накатывается скользкая, липкая Дарульамман, мелькают велосипедисты в длинных балахонах и чалмах, похожих на рыхлые подушки.

Они подъехали к аэродрому. На подъездах, где еще недавно дежурили афганские посты, лениво поднимали шлагбаум горбоносые, лиловые от холода солдаты, теперь стояли десантники в плотных теплых бушлатах, розоволицы, с золотистыми усиками сержант проверял документы, а из грязного проулка выглядывала могучая пушка гусеничной самоходки, обнюхивала подъезжавшие машины.

Они выкатили на взлетное поле, на котором стояли под разгрузкой транспорты. Из них осторожно съезжали зеленые фургоны, радиостанции, тягачи – снаряжение десантировавшейся накануне дивизии.

У дальнего терминала застыл самолет с обвисшими лопастями. Под крыльями расхаживали часовые – вскинули автоматы, когда грузовики и «тойота» подкатили к хвосту со звездой.

Из самолета по трапу спустился человек в невоенной кожанке. Они переговорили с Татьянушкиным, поднялись на борт, исчезли в овальном проеме.

Калмыков наблюдал, как топчутся под крыльями часовые, как ползает по далекой горе пятно солнца. Его мучил озноб, он старался вернуть недавнее ощущение сна, прикосновение женской теплой груди, скольжение щекочущих тонких волос.

Татьянушкин спустился по трапу, поманил его. Из теплой кабины, ежась, он вышел на ветряной холод.

– Я вам должен сообщить о характере груза. – Татьянушкин, поддев его локоть, отвел Калмыкова в сторону, под плоскость крыла. – Это люди. Большие люди. Из афганского руководства. Мы их спасли от репрессий, прятали у себя в Союзе. А теперь возвращаем в страну. После свержения Амина они будут управлять государством.

Белое зимнее солнце ползло по склону горы к серой вершине, где голо стыли колючие камни. Калмыков представил, как пусто и жутко в этих солнечных бесснежных камнях, и новая волна озноба пробежала по его мускулам.

– Доставите их на виллу, – продолжал Татьянушкин. – Будете проходить афганские посты. Если начнут задерживать – прорывайтесь! Если остановят и начнут досмотр – груз уничтожить.

В последних словах Татьянушкина была жестокость и злоба – к тем, кого, как груз, привезли в самолетах, но ради которых они, Калмыков и Татьянушкин, должны были жертвовать жизнями.

Калмыков вызвал из кабин ротных, повторил приказ Татьянушкина. Грязнов, выслушав, сплюнул, тронул автоматное дуло. Баранов часто задышал, выдувая сизые струйки пара, и рука его, задрожав, оцепала цевье «Калашникова».

Они поднялись на борт самолета. В сумрачном фюзеляже валялись комья брезента, громоздились зарядные ящики, свитки стального троса, мятые алюминиевые баки. Поодаль висело несколько дощатых невысоких контейнеров с маркировкой, с ручками, как у носилок. Войдя в нутро самолета, Калмыков мгновенно углядел эти контейнеры, понял, что это и есть спецгруз.

Сквозь крашенные маркированные стенки угадывалась притаившаяся чуткая жизнь. Те, невидимые, скрытые в контейнерах, слышали его появление, его шаги по клепаному самолетному днищу, его дыхание, кашель. Были в полной от него зависимости, боялись, доверяли бессловесно, безгласно умоляли не чинить им вреда.

Калмыков, не приближаясь к контейнерам, вслушивался в их молчание. Подумал: так, самолетами, из одного заповедника в другой, перевозят животных, редкую исчезающую породу, которую надлежит размножить.

– Сейчас аппаратель опустят, и их аккуратненько в грузовики! – Татьянушкин был похож на товароведа, принимающего ценный товар. – И вот это добро захватите! – Он кивнул на прикрытые брезентом бруски. Калмыков распознал в них заводскую тару для хранения стрелкового оружия.

Корма самолета медленно раскупоривалась, увеличивалась белизна света с далекой льдистой горы. Грузовики, пятась, подъезжали под киль. Солдаты, стуча сапогами, поднимались на борт.

– А ну, сынки, давай берись! Аккуратней, аккуратней, а то разобьете! – понукал их Татьянушкин, ставя у каждого контейнера по четыре солдата. Калмыков, приблизившись, разглядел в деревянных стенках среди цифр и букв маркировки просверленные дырочки. Подумал: в случае остановки и стычки с дозором он, Калмыков, хлестнет из автомата по этим фанерным стенкам, пропустит сквозь контейнеры сверху вниз и крест-накрест разящие очередей.

– Аккуратно!.. Пошли!.. – командовал Татьянушкин.

Солдаты подняли носилки, спускались на землю, грузили ношу под брезент кузова. Их было шесть, этих деревянных ловушек, в которых скрывались медведи, олени и лисы.

Они ехали по Кабулу колонной. Впереди Татьянушкин с помощниками, которые так и не вышли из машины. С теми, у кого на коленях, чуть прикрытые куртками, лежали короткоствольные автоматы. За ними – три тяжелых, пузырящихся брезентом грузовика, в чьих кузовах, окруженные солдатами, стояли деревянные клетки. Калмыков сидел в передней кабине, придерживая у ноги автомат.

Они двигались по городу, но не главными улицами, где клубилась толпа и сновали велосипедисты и рикши, а окольным путем, где в липких, грязных проулках гнездились бедные лавчонки и за ними, как термитники, возвышались глиняные бесчисленные хижины.

Их остановили в узкой улочке, вдоль которой тянулись жестяные мастерские, ремесленники в фартуках гнули листы жести, колотили по ним молотками, паяли, лудили, выставляя тут же для продажи корыта, тазы, железные, с гнутыми спинками кровати.

Офицер с кокардой, с раздраженным лицом, в сопровождении четырех автоматчиков остановил их взмахом руки, закрывая проезд. Калмыков, озирая проулок, углядел впереди за поворотом заслоненный лавками зеленый транспортер допотопной конструкции, похожий на открытый гроб, с пулеметом и мерзнувшими солдатами. Прорыв впереди был невозможен. Развернуться и уйти нельзя из-за тесноты проулка. Оставалось направить грузовики сквозь

строения, разбрасывая тазы и ремесленников, уходить соседними улицами, отстреливаясь от погони. Он смотрел на афганский патруль, лбом сквозь ветровое стекло чувствуя удар грузовика о глинобитную стену построек.

Офицер зло, раздраженно приказывал, махал рукой. Из «тойоты» навстречу ему вышли Татьянушкин и молодой человек, упругий и мягкий, готовый к рывку и прыжку. Они что-то втолковывали офицеру, показывали пропуск. Татьянушкин кивал, соглашался, дружелюбно похлопывал офицера по плечу, но тот зло, недоверчиво косился на грузовик, вытягивая шею, заглядывал в кабину.

Калмыков держал руку на автомате, готовый вскинуть его вверх, перехватывая, рубя сквозь стекло по тощей фигуре офицера, по его кокарде, по раздраженному, злому лицу.

Кокарда на офицерской фуражке горела, как маленький уголь. Калмыков, готовый стрелять, вдруг остро ощутил, что в эту минуту он сам, и его солдаты, и раздраженный афганский офицер, и те неведомые, притихшие в деревянных контейнерах – все они зависят от воли и замысла того, неведомого, кто невидимо присутствует в этом грязном проулке, ведет их по зимнему Кабулу, держит его палец на спусковом крючке автомата.

Эта зависимость от невидимой, управляющей ими силы, от недоступного пониманию замысла, готового столкнуть их в скоротечном кровавом бою, поразила Калмыкова. Он чувствовал, как утончается пленка пространства и времени, отделяющая их от смерти.

Офицер заглянул в кабину, вытянув плохо выбритую прыщавую шею. Двинулся дальше к кузову, чтобы осмотреть груз. Но замер, остановленный кем-то невидимым, и повернул обратно. Татьянушкин и его спутник уселись обратно в «тойоту». Колонна двинулась дальше мимо транспортера с зябкими солдатами, мимо ремесленных мастерских и лавчонок.

Они подъехали к вилле. Грузовики пятились, закрывали торцами ворота. Солдаты сгружали контейнеры, ставили их в ряд во дворе. Когда двор опустел и закрылись ворота, Татьянушкин подошел к контейнерам, отстегнул на них металлические замки, и из деревянных ловушек неуверенно, робко, шурясь от света, расправляя затекшие члены, стали выходить люди. Небритые, в мятых одеждах, с поднятыми воротниками пальто. Татьянушкин трогал каждого за рукав, словно пересчитывал, направлял к дверям виллы. Они прошли гуськом и скрылись.

Калмыков заглянул в опустевший контейнер. В нем была дощатая скамья, светлели просверленные дырочки, валялся на полу оброненный платок.

Вновь появились солдаты, несли длинные тяжелые ящики, сносили их в подвал по узкой, ведущей из сада лестнице. Калмыков спустился в подвал. Среди бетонных стен, под тусклыми решетчатыми светильниками стояли верстаки, и на них рядами лежали автоматы, заряженные магазины, вскрытые цинки с медно-красными патронами. Молодые парни из числа обитателей виллы клещами вскрывали ящики, извлекали промасленные глянцевиные автоматы, нежно тряпкой снимали жир. Татьянушкин смел в ладонь рассыпанную горстку патронов, всыпал их обратно в цинк.

– Арсенал! – хмыкнул Калмыков. – Мотострелковый батальон обеспечен.

– Когда будем брать Дворец, сюда придут афганцы-подпольщики. Мы будем кончать Амина, а они возьмут под контроль улицы. Это будет народное восстание. Те, кого мы сейчас привезли, возглавят восстание. Об этом напишут газеты. Вот мы и работаем, чтобы им было о чем написать!

Глядя на верстаки, заваленные оружием, Калмыков представил, как в верхних комнатах сидят усталые, в мятых одеждах люди, пьют из пиалок чай и один из них роется в кармане, ищет и не может найти платок.

Глава тринадцатая

Однажды он наблюдал затмение солнца. Поднялся до восхода на гору, на холодное сухое жнивье. Смотрел, как медленно, багрово растет заря, клубятся малиновые тучи, валит пар из близкого озера. Красная, стоит колокольня, краснея, словно напоенная кровью, торчит по полю стерня. Деревня, косые избы, глинистый путь – все было красное, налитое, в ожидании беды.

Солнце взошло медленно, тяжело, вывалилось, как кровавое, в жидкой оболочке яйцо. Ветер, летящий от солнца, был ледяным, и он стоял, замерзая, в багровом сумрачном свете среди умирающих трав и последних осенних соцветий.

Солнце стало гаснуть, чернеть. Его край выедался, выгрызался. На мир ложилась тусклая дымная тень. Он чувствовал, как разум его ужаснулся, его коснулось безумие. Хотелось бежать, укрыться от ветра, от дымного тусклого света. Стерня почернела, словно ее сжег невидимый пал. Туман над озером стал черно-красным, и над избами, над лесом, над старой без креста колокольней поднялись птицы. Они вылетали растерзанными зыбкими стаями и без крика, подхваченные ветром, носились в черно-красном угрюмом небе, в котором гасло солнце и начиналась вечная ночь, прекращался свет, тепло навсегда покидало землю.

По стерне шурша бежали испуганные мыши. Промчались два зайца. Черно-красная, с дымящейся шерстью лиса. Поднялась и вяло летала бабочка-белянка, в свете пожара казавшаяся лоскутом кумача.

Он погружался в безумие. Ему тоже хотелось бежать, спастись, прибиться к зверям, греться их живым теплом, слышать и чувствовать их живое дыхание. Ужас, который был в нем, был древний, от угасающих звезд и светил, от черного солнца, из которого проливалась тяжелая тьма.

Кончался свет, кислород земли, сама земная жизнь. По всем горизонтам и далям горели города и деревни, бежали по дорогам полуголые люди, уносили скарб и детей, а их догоняла, гнула, валила тьма.

«Тьму небесную» – вот что он видел тогда, стоя на горе. Эта тьма была простым отсутствием света. Она была антисветом, самостоятельной силой и сущностью. Присутствовала в мироздании, таилась в его собственном сердце и разуме. В минуты помрачения изливалась наружу.

Черно-красное, изъеденное ржавчиной солнце. Вялая бабочка, летящая над красной стерней.

Через несколько дней на вилле Калмыков докладывал главному военному советнику план операции. Генерал замкнуто слушал. Его подвижные морщины остановились, словно заснули. В лице проступило истинное выражение – придиричвого внимания, брюзгливого недоверия.

Калмыков докладывал о составе групп, о направлении и объектах атаки, о секторах огня и прикрытия, о предполагаемых вводных. Татьянаушкин, уже знакомый с планом, бесстрастно слушал, вертел на столе разноцветную каменную пепельницу, предоставляя генералу самому оценить план, согласиться или отвергнуть.

– Добро, – сказал генерал. Складки его лица, смуглые морщины и трещины зашевелились, спутали, замаскировали истинное выражение. – Как видите, ваши прежние возражения были учтены. Я их довел до сведения министра обороны и начальника Генерального штаба. К нам пришло подкрепление. Объекты в городе, блокады аэродрома, путей подхода к Кабулу, нейтрализация гарнизона – все это на плечах десантников. Ваш – основной объект. План одобряю в целом. Он нуждается в некоторых уточнениях. Но об этом потом. Основные позывные и коды для радиосвязи: Дворец – «Дуб». Амин – «Главный». Вы – «Ракита». Я – «Кора». В целом ваш план совпадает с нашими представлениями и расчетами!

– Разрешите вопрос, товарищ генерал! – Калмыков собирался задать вопрос, беспокоивший его все это время. – Какова уверенность, что в момент штурма «Главный» будет находиться на месте? Дворец может оказаться пустым.

Генерал посмотрел на Татьянушкина. В его лице появилось прежнее брюзгливое недоверие. Татьянушкин поставил каменную наборную пепельницу с кусочками лазурита и яшмы. Сказал:

– «Главный» останется в этот день во Дворце. Об этом позаботится доктор Николай Николаевич. Быть может, когда мы займем Дворец, Амин уже будет мертв. Нам с ним не придется возиться.

Калмыков пережил тонкое прозрение: сутулый долгоносый доктор, похожий на деревянную птицу, здесь, на вилле, получил коробочку яда. Уколом шприца введет его в кровь человека, и тот умрет. Доктор, горюющий по умершей собаке, по цветущим лугам и поймам, отыскивающий разгадку Вселенной, введет человеку в кровь каплю бесцветного яда, и человек исчезнет. И вся разгадка Вселенной – в действии тонких ядов, убивающих людей и животных, государства и страны, планеты и луны. И у всех за спиной – печальный отравитель, мешающий яд в целебное зелье.

Ему было худо. Им всем, здесь сидящим, была поставлена задача: взламывать границы, врываться во дворцы, проникать в секретные центры, подслушивать разговоры, сыпать отравы. История, состоящая из войн, революций, выражалась в невидимых миру усилиях разведки. Он, Калмыков, был в жестком клубке этих схваток. Сидел, угнетенный, потухший, думал о докторе-отравителе.

Генерал заметил его состояние:

– Понимаю, вы переживаете. Мы все переживаем, я – тоже! Нас готовили к войне, к крови, но теоретически, в академиях, в училищах. Мои товарищи дослужились до больших звезд, а пороху толком не нюхали. А тут, что скрывать, будут убийства, война. Придется себя подготовить!

Калмыков его слушал. Видел печальное долгоносое лицо, маленькие сжатые губы, коробочку с ядовитыми ампулами. В душе было пусто, тускло.

– Амина жалеть не надо! Палач, гад, мерзавец! Собрал на мирные переговоры старейшин хазарейских племен. Съехались в его шатер, в его ставку, двести человек. Он поставил перед ними блюда плова, жареную баранину, а когда те стали есть, велел открыть по ним огонь из пулемета. Также поступил со своими товарищами по партии – тысячи арестованы, замучены, расстреляны! Пока мы с вами здесь разговариваем, в Пули-Чархи кому-то ломают кости, кого-то жгут каленым железом, кого-то пытаются током, завернув в мокрую простыню. Также он поступит и с нами в день переворота – арестует, перестреляет, возьмет в заложники! Его надо убить, раздавить, как гадину! Не надо его жалеть!

Сквозь приоткрытую дверь гостиной была видна лестница, ведущая наверх, двери на втором этаже. Одна дверь растворилась, появился худой осторожный человек с очень смуглым горбоносым лицом, бесшумно прошел и скрылся в соседней комнате.

Там, наверху, жили люди, тайно привезенные в город, терпеливо ожидавшие грозного часа, когда Калмыков начнет штурмовать Дворец. Если Дворец падет и хозяин Дворца умрет, к этим тихим людям перейдет вся власть в государстве. Эти тайно привезенные люди станут править страной и народом. Но если штурм не удастся, если танки прямой наводкой расстреляют идущую цепь, если сгорят от гранат атакующие по серпантину машины и хозяин Дворца уцелеет, то эти люди исчезнут бесследно. Никто никогда не услышит о их проживании на вилле. И они это сами знают.

– Позывные я вам сообщил, – сказал генерал. – Время «Ч» – двадцать седьмое декабря, восемнадцать часов. Можете довести до командиров рот. Начинайте рекогносцировку. Проработка операции на вас и на полковнике Татьянушкине.

Генерал поднялся, сухощавый, с тренированными суставами рук и ног. Простился и вышел, и его унесла тяжелая машина.

А у Калмыкова угрюмое упрямое знание: с этой минуты ему надлежит забыть и отбросить все, что мешает исполнению приказа. Все недавние разбегавшиеся чувства и мысли, все сомнения и страхи будут отринуты, и их заменит единственное устремление, от казармы ко Дворцу, по пути атаки.

Он шел к машине, уже встраивая себя в эту грозную линию, устраняя из поля зрения новогоднюю елку на снежном бульваре, женщину у голубого окна.

Тот давний июльский полдень. Он разделся донага в прибрежных зарослях, уплыл на середину озера и плавал там в теплой мягкой воде. Зелено-голубая, в цветах, возносилась гора. Красная кирпичная колокольня, седые избы деревни были окружены туманом цветочной пыльцы. Над озером, белое, высокое, застыло облако.

По горе по тропке спускалась женщина в белой косынке. Плавая среди мягкой воды, он видел у самых глаз блеклый опавший листочек, стрекозиное крылышко, испытывал сладость от своей безымянности, затерянности в любимых летних пространствах.

Он был лишен своего обличья и имени, растворился в небе и озере, стал горой, цветами, бело-стеклянным облаком, далекой избой, где, невидимые, любимые, жили мама и бабушка. Он знал, что никуда не исчезнет, будет вовеки здесь, на родимой земле. Будет всегда возрождаться, создаваться вновь из теплой зеленоватой воды, из стрекозиноного крылышка, из белой женской косынки. Под другим именем, в ином обличье станет смотреть на эту ширь и красу, молиться бессловесной счастливой молитвой.

Из белой тучи посыпался мелкий дождик. Он плыл под дождем, подставляя губы под блестящие холодные капли.

Солдаты на кухне кипятили котлы – таскали ведрами воду, жгли солярку, рубили на плахе бело-розовую баранью тушу. Другие мыли и чистили лук, картошку, морковь. Мелькали черпаки, белые поварские фартуки. Там, где готовили яства, царило возбуждение, гогот, согласованная веселая работа.

А рядом, на пустом заснеженном пятачке, куда Калмыков вызвал ротных и начальника штаба, было ветрено, снег блестел под ногами, и было чувство, что он, Калмыков, владевший жестоким замыслом, отдален от остальных непроницаемой мембраной. Скрываемый замысел давит на эту мембрану, выгибает ее и ломает.

– Прошу вас реагировать спокойно и правильно, – начал Калмыков. – С тех пор как мы заступили на охрану объекта, обстановка в корне изменилась. Возникла прямая угроза внутреннего переворота в Афганистане. Началось истребление лучших сил партии, друзей СССР. Амин вступил в прямой стовор с Пакистаном и Америкой. Возможна высадка в Афганистане подразделений американской армии. В этой связи функция батальона меняется. Нам приказано осуществить операцию по захвату Дворца, ликвидировать Амина. Сейчас я доведу до вас план операции. Прошу обдумать его, внести свои замечания и предложения. Начало операции – двадцать седьмое декабря, в восемнадцать ноль-ноль!

Пока говорил, чувствовал, как мембрана в груди медленно открывается, напор угрюмых сил ослабевает в нем, наваливается на стоящих перед ним. Эти пятеро, мгновение назад легкомысленные, неведующие, тяжелеют, сгибаются, обремененные знанием.

Первым отозвался Грязнов. Насупил косматые рыжие брови, ощерил рот, показав крепкие желтые зубы, выдохнул со свистом пар:

– Здорово получается, по-людски!.. Они нас в дом пустили, а мы их молотками по башке!.. Они нас дом сторожить поставили, а мы их дом грабить!.. Хотя что же, спецназ – дело разбойное! – Зло засмеялся, длинной никотиновой слюной сплюнул сквозь желтые зубы.

Командир второй роты Расулов мигом возбудился, затоптал, затанцевал, ударил по бедрам руками, закрутил во все стороны красивое кошачье лицо.

– Командир, я давно примериваюсь! Как атаковать, знаю! Подстанцию подорвать, проектора переколотить, и в темноте мы их голыми руками возьмем, гранатами забросаем!.. Я давно говорю, этот Амин сучий на «мерседесе» катает, мясо жрет во Дворце, а народ с голоду мрет, детишки по снегу босиком бегают!.. Что-то не то! Не такая у них революция! – Он вился, топтал, весь в нетерпении, в веселой ярости, гитарист, любовник, стрелок. Его пылкая, требующая сильных впечатлений натура ликовала в предчувствии боя.

Командир третьей роты Баранов побледнел. Тяжело дышал, моргал воловьими влажными глазами.

– Если приказ, то конечно... – говорил он несвязно. – Чем мы хуже других?... У кого была Куба, у кого Чехословакия, у кого остров Даманский. Дядька мой в Испании воевал... Не говоря уж о Великой Отечественной... Американцы повсюду лезут, а нам, что ль, отсиживаться? – Он дышал так глубоко, словно здесь, на чистом белом снегу, среди горного ветра, ему не хватало воздуха.

В то время как Калмыков говорил, командир четвертой роты Беляев смотрел в сторону, тонко, длинно улыбался. И пока говорили остальные, продолжал презрительно улыбаться. Но потом его тонкая длинная улыбочка вдруг превратилась в оскал, в углах растянутых губ закипели пузырьки слюны, и он стал резко выкрикивать:

– Не имеете права!.. Превышение!.. Знал, когда собирались!.. Блатные все улизнули!.. У кого мохнатая лапа!.. У меня желудок болит! Как дураков заманили!.. Прикончат всех, как козлов!..

Он кричал, переходил на визг, брызгал слюной. Два солдата, идущие стороной, несущие на палке дымящий котел, оглянулись на его вопль.

– Кончай! – Грязнов ударил его кулаком под дых, несильно, но так, чтоб заткнуть его крик. Тот умолк, захлебнулся, скорчился от боли, обняв руками место удара. – Не голоси, как баба!

Начальник штаба Файзулин озабоченно, хлопотливо оглядывался, словно уже начинал выполнять приказание. Пересчитывал, собирал все разрозненное, рассыпанное по ложбине хозяйство батальона.

– У нас бронежилетов всего сто штук. Надо решить, кому дать. Калмыков стоял среди своих подчиненных, чувствовал, что тяжесть

замысла, недавно обременявшая его, теперь стала легче. Распределилась среди остальных, обременила их своей ношей.

Солдаты трудились в казарме, в парке, в ружейных комнатах, слаженно, напряженно, охотно. Им сказали, что назавтра учения. Они соскучились по рейдам и марш-броскам, доверчиво и дружно работали, предвкушая завтрашний рывок в окрестные горы, прочь из этого тесного распада, из надоевших глинобитных казарм.

По приказанию прапорщиков выпиливали из недостроенной кровли длинные волокнистые следи, мастерили из них штурмовые лестницы. В ружейных комнатах набивали магазины, чистили стволы, сшивали оборванные ремешки и лямки. Обслуживали технику, окатывали водой зеленое железо, протирали ветошью двигатели. Ремонтировали одежду, ваксой жирно чернили высокие афганские краги.

Калмыков обходил казармы, следя за веселой, спорой работой солдат. Замысел, еще им неведомый, уже владел ими, направлял их усилия, выстраивал по отточенной прямой от казармы ко Дворцу по пути атаки.

Через день, все на той же открытой снежной площадке, чтоб никто их не смог подслушать, Калмыков собрал командиров рот и распределил позывные, условился о зрительных,

звуковых и радиосигналах, установил количественный состав групп, которые пойдут на танки, на зенитную батарею, на казарму гвардейцев.

К танкам, врытым в пологий склон, вела тропинка. Внизу у подножия горы протекал арык. Через этот арык на гору должен был ворваться «бэтээр».

Пользуясь быстротой и внезапностью, надлежало обезвредить экипажи танкистов, вывести танки из капониров и использовать их для поддержки атаки. В случае неудачи – сжечь танки из гранатометов.

Подстанция с трансформаторами обеспечивала освещение Дворца, питала прожекторные установки. Ее следовало разбить в первые минуты штурма – вырубить электричество, чтобы операция прошла в темноте.

Но главная хитрость состояла в том, чтобы накануне атаки, за полчаса до штурма, пригласить в казарму гвардейцев – Джандата, Валеха, начальника контрразведки, главных командиров охраны. Устроить товарищеский ужин и взять всех в плен. А если будет нужда, то и уничтожить, лишить гвардейцев командования.

Все это довел Калмыков до своих подчиненных. Выслушал их замечания. Отослал назад в роты шлифовать и оттачивать замысел.

Наутро появился Татьянушкин. За его «тойотой» к казармам подкатил грузовик. В кузове валялась рухлядь, поломанные стулья, матрасы, листы отсыревшей фанеры.

– Это зачем? – удивился Калмыков.

– Там человек. Из тех, кого мы завезли на виллу. Поставьте пост. Никого не подпускайте к машине. Завтра, когда все кончится, ему покажут Амина. Он опознает труп. Мы должны быть уверены. Пусть в машину кинут пару одеял, поставят горячий чайник. В случае непредвиденных обстоятельств, мало ли что завтра может случиться, – уничтожить! – Его лицо было спокойным, жестким. Он уже не думал о притаившемся в грузовике человеке, а только о завтрашнем штурме, в котором сам будет участвовать, выполняя главнейший замысел.

– Утром приеду с людьми. Мои люди внедрятся в группы захвата. Ваша задача – доставить нас к объекту, прикрывать продвижение, пока мы не сделаем дело.

– У нас есть бронжилеты, – сказал Калмыков. – Ваши люди их могут надеть.

– Все есть, – ответил Татьянушкин.

Они пожали друг другу руки. Татьянушкин укатил. Калмыков смотрел на грузовик с рухлядью, прислушивался. Из кузова не доносилось ни единого звука, но чувствовалось – там терпеливая безмолвная жизнь, смирившаяся перед грозной высшей волей, готовая к любому для себя исходу.

Вечером после отбоя Калмыков наблюдал, как укладывается казарма. Солдаты снимали мешковатую грубошерстную форму, сбрасывали тяжелые краги. Их голые плечи, бритые головы мелькали в тусклом свете ламп. Худые и крепкотелые, чахлые и налитые силой, с татуировкой и нежными родинками, славяне и азиаты, они не ведали о том, что предстоит им завтра. Не знали, что во многих вонзится острый горячий металл, станет рвать и буравить их кости, жилы и мускулы.

Узбек на худых ногах стаскивал мятый носок, рассматривал свои длинные нечистые пальцы. Плосколицый казах с синей наколкой вяло взбивал подушку. Все они завтра пойдут под пули, станут умирать, убивать. Это он, Калмыков, отнял их у матерей и отцов, навьючил на них патронташи и вещмешки, погрузил в самолеты, привез в чужой азиатский город и завтра кинет их в бой.

Он лежал за брезентовым пологом, удерживая в сознании весь окрестный ландшафт с Дворцом. Следил за выдвижением рот. Притормаживал разогнавшиеся на серпантине машины. Торопил штурмовые группы, бегущие сквозь сад по горе. Открывал огонь из самоходных «Шилов» с фланга по белым колоннам Дворца. Подавлял пулеметные гнезда. Летал,

вился, взмывал, как сокол, кружил над Дворцом, озирая картину боя. Пикировал вниз, в открытый люк транспортера, гнал «бэтээр» через рытвины навстречу закрытым танкам.

– Товарищ подполковник!.. Товарищ подполковник!.. – За брезент заглянуло испуганное лицо лейтенанта. – В четвертой роте рядовой Хакимов с гранаты кольцо сорвал!.. Держит!.. Грозит подорваться!..

И пока торопливо натягивал форму, застегивался на бегу, слушал булькающие бестолковые слова лейтенанта, вспомнил: Хакимов, щуплый, тощий, стоит на коленях среди красной глины бруствера, жует липкую грязь, а над ним наклонились глумливые лица учителей.

Казарма гудела, сгрудилась на одной половине, освободив другую. Под тусклыми лампами валялись скомканные матрасы, гудела форсунками печь. В углу, в рост, на кровати, голоногий, с тонкой вздетой рукой, стоял Хакимов. Бритоголовый, с безумными прыгающими глазами, сжимал в кулаке гранату.

– Хакимов, выйди и кинь ее в снег к едреной матери! – не приказывал, а умолял ротный Беляев из дальнего угла казармы, готовый упасть, распластаться на земляном полу. – Обещаю тебе во всем разобраться, и кто тебя пальцем тронул, того, гада, под трибунал!.. Давай, парень, иди и метни ее в снег!..

Калмыков мгновенным прозрением постиг случившееся. Отчаяние замученного, затравленного, забитого до полусмерти Хакимова, одинокого и безгласного среди веселых, неутомимых мучителей. Пропадая вдаль от близких, от матери, братьев, сестер, отделенный от них непреодолимым пространством враждебной земли, сырой глинобитной казармой, непрестанной мукой и пыткой, рванул у гранаты кольцо, – кинет себе под ноги, умирая в клубке огня, разбрасывая по ненавистой казарме вихрь осколков.

Прозревая все это, стиснутый полуголыми солдатами, зная, что завтра будут другие осколки и взрывы, Калмыков пробрался вперед, медленно пересек пустое пространство, мимо солдатских постелей, гудящей печки, и подошел к солдату, чья рука была занесена для броска, а глаза, огромные, белые, сверкали и прыгали:

– Хакимов, это я, Калмыков, комбат!.. Об одном тебя прошу: на минутку успокойся!.. Подумай о своей матери, о братьях!.. Тебе домой возвращаться!.. Минуту пережди, ничего не делай, а дальше все будет нормально!..

Он медленно приближался, уговаривал солдата, видел, как дрожит в стиснутом кулаке округлая стальная картофелина, торчит задранный локоть. Чувствовал, как на шаткой грани колеблется измученная, лишенная опоры душа, не желающая больше жить. Калмыков подходил к солдату, что-то говорил, отвлекал. Уводил от колеблемой грани, удалял от последней, необратимой секунды.

Подошел к кровати, наступил ногой на матрас, ощутил исходящий от солдата запах: ужаса, предсмертного пота. Обнял его за худое плечо. Провел ладонью по острому локтю, к запястью, к стиснутому кулаку. Чувствуя, как пульсируют на тонком запястье жилы, проник своими осторожными сильными пальцами в сплетение его, худых, схвативших гранату. Нащупал влажный лепесток предохранителя. Перехватил в свой кулак гранату. Повернувшись спиной к толпе, сбившейся в дальних углах, понес перед собой гранату, как светильник. Прошел мимо печки, вдоль застывших полуголых солдат.

Вышел в темноту на снег. Двинулся прочь от казармы, хрустя ботинками, вверх по полному склону. И удалившись на расстояние, когда стих, не стал слышен гул голосов, метнул гранату вверх, чуть пригнувшись, зная, что веер осколков минует его, просвистит над его головой. Увидел красную ранку взрыва. Услышал короткий грохот. Ветер донес теплое зловоние взрывчатки.

Он вернулся в казарму. Сам надел, навьючил на Хакимова одежду. Увел к себе. Тот безвольно, понуро брел, словно потерял все жизненные силы. Калмыков уложил его на свою койку, подоткнул под ноги одеяло, выключил свет.

Снова вышел на снег. Медленно, вдыхая ледяной воздух, зашагал вверх по холму, туда, где на вершине поджидало его видение Дворца. Пока взбирался, чувствовал, как дотягиваются до него через гребень, влекут невидимые силы. Послушно шел, подчиняясь безымянной понуждающей воле.

Вышел на вершину холма и стал. Дворец был окружен туманной кристаллической изморозью. Свет окон расщеплялся на туманные причудливые лучи, сливался в розоватые кольца и нимбы, словно вокруг морозной луны.

Дворец казался огромным небесным светилом, парил над туманным ландшафтом земли. Щупальца света пронизывали атмосферу, слабо отражались на обледенелых склонах, на глянцевиных наледях, достигали зрачков Калмыкова, проникали в глазницы, в кровь, в дыхание, наполняя их таинственными цепенящими ядами. Он стоял, пойманный щупальцами розового света.

Ему было странно стоять одному на холме и смотреть на Дворец, который завтра он должен разрушить. В ответ из Дворца полетит в него огонь и железо и, быть может, его завтра убьют.

Но сегодня, живой, дышащий, он стоит среди ночного мира. Во Дворце, не ведающий о своей участи, отдыхает властитель. Золотистая резьба на стойке деревянного бара. Девочка в ночной рубахе перелистывает книгу с картинками. Врач, похожий на дятла, капает в хрустальную рюмочку безвкусное и бесцветное зелье. В казарме забылись солдаты. В ружейных комнатах, в пирамидах, рядами стоят автоматы. В тяжелом грузовике под брезентом притаился неизвестный человек, чутко слушает ночь. И все это совершается в единое непрерывное время, которое завтра может для него оборваться. Завтра его могут убить.

Он стоял на холме, овеваемый ветром гор, чувствуя в последнюю ночь перед боем шарообразность Земли, тонкую пленку жизни, в которой он появился на свет, под ней – каменную неживую толщу Земли, над ней – в бесконечном космосе – млечные спирали галактик, хвостатые звезды, туманы иных миров.

Он стоял на вершине, чувствуя под ногами глубинный донный огонь, а над головой удаленные мироздания. Смотрел на Дворец, который он завтра разрушит.

Часть третья

Глава четырнадцатая

Утро блесело, сверкало, было голубым, розово-белым, как перламутровая раковина. Горы вдали напоминали крылья огромной птицы, готовой к взмаху и взлету. Калмыков встретил этот солнечный день, как грозную неизбежность, которую по ошибке украсили глазурированной белизной, ослепительной чистой лазурью. К вечеру, когда солнце отсверкает и уйдет за хребты, на мгновение зажгутся на вершинах многоцветные хрустали и лампы, он, комбат, поведет батальон на штурм. Теперь же он проживал этот день в непрерывных заботах и хлопотах, предварявших атаку.

Были опробованы штурмовые лестницы, припрятанные в казарме, заваленные одеялами и матрасами. Баки транспортеров и боевых гусеничных машин были полностью залиты горючим, а в люки был спущен двойной боекомплект. В арык, отделяющий склон с зарытыми танками, еще прежде, под покровом ночи, были опущены бетонные плиты, по ним транспортеры преодолеют арык, доставят группу захвата.

Солдаты вокруг казармы весело, бодро работали, не зная об истинном замысле, готовились к предстоящим учениям.

К полудню он выехал на КПП, где дежурил афганский пост, и там поджидал Татьянушкина. Вышел из машины, прислонился к капоту, смотрел, как в стороне за безлистыми деревьями вздымаются выпуклые, похожие на огромные пузыри кровли министерства обороны. Из будки, где сидели афганцы, вышел солдат. Обогнул КПП, оглядываясь, будто за ним следили. Вынул из кармана потрепанный платок. Расстелил его на снегу темно-зеленым квадратом. Опустился на колени и стал молиться. Падая ниц, касаясь лбом кромки платка и снега, словно прожигал наст своими горячими закрытыми веками. Что-то беззвучно, истово наговаривал заснеженной земле. Отталкивался от платка ладонями, распрямлялся на коленях, обращая долгоносое лицо к небу, открывая небесам разжатые смуглые ладони, будто принимал на них весь лазурный сияющий купол. Снова склонялся, вдыхал, вдувал в холодную гору услышанные из небес слова. Казалось, смысл его молитвы в перенесении небесных энергий к земле, без которых она, земля, умрет и замерзнет.

Так понимал его Калмыков, оцепенев у радиатора остывшей машины. Испытывал странную боль при виде молящегося человека. Ему было не дано молиться, просить о милости и прощении, каяться в грехе, в котором был виноват. Сами же грех и вина состояли в немощи, глухоте, в неспособности обратиться к синему небу, услышать в нем тихое слово, передать это слово холодным камням, не дать им оледенеть и замерзнуть.

Татьянушкин подкатил к КПП. Его щегольская хромированная «тойота» была полна до отказа. Плотнo, плечо к плечу, сидели молодые парни, их лица были знакомы Калмыкову, бесшумно примелькавшись в переходах и комнатах виллы.

Они последовали с Татьянушкиным к казарме на снежный отдаленный пятачок. Четверо парней, выйдя из «тойоты», разминались на снегу. Их куртки топорщились на боку, скрывая портативные автоматы.

– Внедрите их в группы захвата. Командиры групп переходят в подчинение моим людям. – Татьянушкин говорил сухо и жестко. – Я пойду с вашей группой. Ваша задача – фронтально, по склону атаковать объект, сопровождать меня снаружи и внутри на всех этапах операции.

Это уже было оговорено прежде. Калмыков многократно обсуждал с Татьянушкиным план операции. Выбрал для себя фронтальное направление по глазурированному снежному

склону, через яблоневый сад туда, где вздымались колонны до портала и над ними парило ажурное, словно одетое в кружевной кринолин, женственное тело Дворца.

– Пункт связи расположен на вилле. На время всей операции генерал остается в эфире. Позывные известны. Москва через космос будет информироваться о ходе операции.

И снова – не мысль, а осколочек мысли, как малый черепок от расколотой фарфоровой чашки. Женщина в московской квартире. Забилась в угол дивана, накрыла босые ноги шелковой нарядной подушечкой. В синем окне, как в экране, виден Дворец. Ночной глазурированный свет, и он, Калмыков, идет, спотыкаясь, по склону, солдаты с деревянными лестницами.

– Десантники нас прикроют с флангов. Их ближайший объект – министерство обороны. В случае нашей неудачи они выдвигаются в район серпантина и вторично, по нашим следам, атакуют Дворец.

И этот вариант проговаривался. Если гвардейцы сорвут операцию, разгадают план, расстреляют батальон из танков, истребят из бетонных дотов, десантники выкатывают на прямую наводку самоходные пушки, сжигают танки, долбят фасад, превращая в труху и щебень хрупкое здание Дворца. Об этом говорилось прежде. Татьянушкин в своем педантизме повторял хорошо усвоенное.

– Мы мало с тобой знакомы, – Татьянушкин, меняя тон, вдруг посмотрел на него долго и пристально изменившимся взглядом, в котором загадочно и внезапно возникла прежняя, поражающая голубизна. – Водку даже вместе не пили. А сегодня бок о бок в бой! Может, одного, а может, обоих убьют! Если пронесет и живыми в Москву вернемся, приглашаю тебя к себе. Жена угощение поставит. Тогда уж друг другу расскажем, кто из нас откуда взялся. Задним числом познакомимся!

Глаза Татьянушкина, теплые, синие, нежно, почти с любовью смотрели на Калмыкова, словно из другой, наивной, давно исчезнувшей жизни.

– У тебя есть дети?

– Нет, – сказал Калмыков.

– Как же это ты детей не народил? В смертный бой идешь, а потомство после себя не оставил. Мы с тобой ничего не стоим, а дети – все! Это я тебе говорю!

В глазах его возникла ослепительная синева. Калмыков изумился этому малоизвестному человеку, с кем сегодня в ночь побегут на льдистый откос. В этом человеке, которому сегодня предстояло убить главу государства, было нечто привлекательное и прекрасное и одновременно отталкивающее и жуткое. Как и в нем самом, Калмыкове.

– Вы хоть в грузовик к тому, замурованному, горячую пищу носите? – кивнул Татьянушкин на брезентовый кузов, где за грудой тряпья и мусора скрывался неведомый человек. – А то околеет от холода!

– Прапорщик суп ему ставит. А пустую тарелку уносит.

– Джандат когда на пьянку придет? – Татьянушкин посмотрел на часы. – Свяжите и в каптерку их спрячьте. А если будут верещать, ликвидируйте!

Его глаза были тускло-стальные, жесткие, как осеннее небо, по которому пронесся и канул случайный клочок лазури.

Еще было светло, но морозный воздух стал розоветь, зеленеть, словно густел, стекленел. В казарму, где были составлены столы, покрытые вместо скатертей свежими проглаженными простынями, явились офицеры-гвардейцы, приглашенные с ответным визитом на дружескую посиделку. За несколько минут до штурма их надлежало взять в плен, запереть в каптерку, лишить охрану Дворца командиров. Сразу же после этого личный состав батальона получал задачу, и в означенное время «Ч» начиналась атака Дворца.

Афганцы входили в казарму, праздничные, благоухающие одеколоном, с ярко-красными петлицами и кокардами, в шелковых гвардейских шнурах. Обнимались с хозяевами.

– А где Джандат? – Калмыков прижимался своей щекой к гладкой, прохладной щеке Валеха. – Специально для него «Столичную» водку достал!

– Джандат Кабул поехал! Разведка!.. Потом придет, водка выпьет! На столе дымились баранина, маслено искрился приготовленный

поваром таджикский плов. Сверкала на блюде промытая редиска, сизые перья лука. Два прапорщика в белоснежных поварских куртках стояли поодаль, держали на салфетках бутылки с водкой. В одной бутылке была вода, и Калмыков долго втолковывал усатым верзилам, что водку следует лить гвардейцам, а своим офицерам только воду. Всмотривался в бутылку с водой, нет ли в ней пузырьков воздуха, еще и еще раз наставлял усачей, оглаживал их белые куртки, под которыми были спрятаны пистолеты. Другие прапорщики с автоматами притаились в глубине казармы за брезентовым пологом, готовые выскочить по окрику Калмыкова.

– Дорогие братья, товарищи по оружию! – Татьянушкин поднялся, держа перед собой граненый, наполненный водой стакан. – Мы рады вам, благодарим за то, что пришли. Но прежде чем выпить за наше боевое братство, за благородный афганский народ, за товарища Хафизуллу Амина, позвольте сделать вам маленький подарок!

Он щелкнул в воздухе пальцами. По его мановению появился молодой человек. Держа в руках коробку, стал обходить гостей, извлекая и преподнося им значки – красные застекленные кружочки с портретом Гагарина.

– Мы в Советском Союзе считаем, что Юрий Гагарин – лучший из нас! Его улыбка – символ России! Верю, когда-нибудь и афганский народ будет иметь своего Гагарина и вы нам подарите значок с его улыбкой!

Офицеры аплодировали, радостно прикалывали значки. И все стоя выпили за дружбу, за боевое товарищество, за товарища Хафизуллу Амина. Татьянушкин, проглотив свою «водку», морщился, кричал, тянулся сиреневой редиской в солонку, торопился закусить.

Следом поднялся Валех. Было видно, что его коснулся первый хмель. Красивые навывкате глаза влажно блестели, губы порозовели, дрожали в улыбке.

– Я вам скажу маленький слово! Мы вас любим! Делаем все, как вы! Вы делай революцию, мы делай революцию! Вы боретесь, мы боремся! Мы будем делать свой Гагарин, свой колхоз, свой метро! Товарищ Джандат сказал: советский друзья дадим новый форма, тонкий, английский материя! Красивый, как это! – Он пощупал себя за рукав, помял тонкое выделанное сукно. – Будем пить за дружба, за Советский Союз!

Он вдохновился, разволновался. Выпил водку, потянувшись тонкими смуглыми пальцами за ломтиком мяса. Калмыков видел, как пьют воду командиры рот, слегка переигрывая, излишне морщась и крикая.

Он посмотрел на часы, подарок Валеха, под хрустальным стеклом которых билась хрупкая стрелочка, приближая секунду, когда по его взмаху и крику из-за брезентового полога выскочат вооруженные прапорщики, гостей заставят встать, обыщут, расшнуруют ботинки, выдернут из лямок ремни и стволами погонят в каптерку, непонимающих, хмельных, оскорбленных.

– Почему не пришел Джандат? – Калмыков повернулся к Валеху, подкладывая ему на тарелку перо голубого лука. – Посидели бы, отдохнули! Когда же отдыхает Джандат?

– Джандат товарищу Амину пошел! – Валех наклонился к нему, тихо зашептал, осторожно оглядываясь по сторонам: – Товарищ Амин заболел. Желудок болит, лежит дома. Сегодня политбюро сказал нет, болен. Индийский посол сказал нет, болен. Джандат товарищу Амину пошел, дома с ним говорит!

Валех жарко дышал в ухо Калмыкову, доверяя ему профессиональную тайну. А у Калмыкова догадка – невидимое зелье врача достигло цели, распустилось в крови Амина убивающими тонкими ядами. Во Дворце на богатом ложе, страдая, умирает властитель. Рядом в ком-

натушке томится врач-отравитель. И скоро пойдут на штурм боевые машины, заработают по Дворцу скорострельные «Шилки». Группы захвата ворвутся в покои, довершат истребление.

– Я тебе Кабул покажу, какой из русских никто не видел! – Валех, опьянев, умягченный, любящий, наклонился к Калмыкову, дорожа их дружбой, возможностью выговаривать, вспоминать русские слова: – Хайр-Хана покажу, Шари-Нау, чайхана сидеть будем, чай пить, кебаб кушать, афганский люди смотреть!

Калмыков увидел, как в дверь казармы быстро вошел, почти вбежал, один из парней, что приехали вместе с Татьянушкиным. Татьянушкин тут же поднялся, пошел навстречу. Они стояли поодаль, переговаривались. Калмыков заметил, каким озабоченным, строгим стало лицо Татьянушкина, хотел угадать, какое известие принес белокрысый крепыш.

Татьянушкин вернулся к столу, улыбающийся, хмельной, благодушный.

– Комбат! – обратился он громко, на весь стол, к Калмыкову. – Не все у тебя здесь в порядке! Есть замечания! Есть предложения! Прошу налить! – приказал он усачам в белых куртках. – А тебя, комбат, прошу на минуту ко мне!

Когда Калмыков подошел, Татьянушкин нежно, полупьяно облапил его, крутя хмельной головой, бражно улыбаясь. Приблизил губы и резко, зло прошептал:

– Операция переносится на полтора часа!.. Десантники, суки, не успевают развернуться!.. Арест гвардейцев отложить на час!.. Протяни время, понял! – Отстранился от Калмыкова, благодушный, пьяный. Обвел застолье ласковыми синими глазами, произнес: – Сейчас мы едим плов таджикский, а кебаб афганский!.. Пусть командир прикажет зажарить шашлык кавказский!.. Пока шашлык будет жариться, есть предложение, товарищи офицеры, еще раз по маленькой!

Калмыков услышал, как снаружи раздался хрип тяжелых моторов, чавканье колес. Пошел на выход. На снегу перед казармой стояли два афганских «бэтэра», стальные корыта, наполненные солдатами. Над бронированными кабинами торчали крупнокалиберные пулеметы. Стрелки целили в глинобитные стены казармы.

От транспортеров к казарме шел Джандат, худой, костлявый, сжимая автомат огромным багровым кулаком. За ним поспевали четверо вооруженных гвардейцев.

Зло козырнув Калмыкову, Джандат прокричал:

– Где мой люди? – оттеснил Калмыкова жилистым жестким плечом, прошел в казарму.

Офицеры-афганцы при его появлении вскочили. Дожевывали, отирали платками жирные губы. Джандат быстро, крутя белками, оглядел пространство казармы, все углы, ниши, хищно, затравленно, по-звериному втягивая ноздрями воздух, словно вдыхал запах опасности, чуял засаду, отыскивал глазами ее приметы. Его охранники держали автоматы, готовые к броску и стрельбе.

Джандат топорщил усы, скалил желтые зубы, сипло, грозно приказывал офицерам. Те послушно, сутулясь, как провинившиеся, выходили из-за стола, направлялись к дверям.

– Товарищ Джандат! – Татьянушкин наивно, доверчиво подошел к начальнику гвардии, и Калмыкову показалось, что сейчас последует выстрел и жилистое, продырявленное тело Джандата грохнет на пол. – Мы вас так ждали! Отведайте нашего угощения, выпейте с нами! – Татьянушкин налил стакан, протянул начальнику гвардии.

– Нет времени! – сказал Джандат, все еще злой, подозревающий, держа костлявый палец на крючке автомата. Но уже успокоился, убедившись в сохранности своих офицеров. – Работа много!.. Другой день!..

Пропускал мимо себя офицеров, словно пересчитывал их. Прогромыхал им вслед тяжелыми крагами, и охранники гибко, один за другим, вынырнули из казармы.

Снова заработали двигатели, зачавкали колеса. Транспортеры удалялись, увозя хмельных офицеров.

– Суки, всегда все портят! – грубо, с ненавистью, не к Джандату, а к кому-то невидимому, сорвавшему план захвата, выдохнул Татьянушкин. – Ну и хрен с ними! Мы их в рабочем порядке!.. Еще полтора часа волокиты!..

И пошел упруго, косолапо, словно шагал по болоту, охотник, пастух, разведчик.

Калмыков вслушивался в затихающий шум транспортеров, переводил взгляд на соседние холмы и горы. Там, на вершинах, в вечерних небесах совершалось волшебное и таинственное. Начиналась огромная бессловесная музыка, возгорались прозрачные льдистые пласты неба, словно в них открывалась иная высота, глубина, из них начинали струиться алые, зеленые, золотые волны света. Ближняя гора стала красной. Над ней пролегла изумрудная гряда далеких хребтов. Вершины холмов стали золотые, как купола. Над снежными пиками возникли голубые, синие облака с розовыми тихими перьями.

Все это двигалось, меняло цвет, дышало. Казалось, на вершины садятся бестелесные светоносные существа, зажигают лампы, разноцветные стеклянные фонари. Поднимают эти фонари, с бесшумным колыбанием крыльев, переносят на другие вершины.

Калмыков смотрел на светомузыку гор, испытывая изумление, мучительную сладость и боль, будто это для него, как загадочный знак, отворились небеса, обнаружили незримую прежде сущность. Бестелесные духи небес для него танцевали свой танец, расцвечивали мир, развешивали над хребтами невесомые прозрачные флаги.

Темнело, смеркалось. Духи улетали, уносили с собой фонари и лампы. Небо угасало, становилось пустым и серым. И только вдаль на самом высоком леднике горел золотой мазок.

– Всех командиров рот ко мне! – приказал Калмыков, отводя глаза от гаснущего чуда, гася его в себе. – Довести до личного состава цели и план операции!

Он чутким слухом ловил разноголосые звуки казармы. Топот, крики, стук металла. И внезапную тишину. В этой тишине, охватившей длинные саманные строения, где замерло множество остановившихся вдруг людей, что-то свершалось. Грозное, тревожное, угрюмое. Знание проникало в солдат, останавливало в них недавнюю резвость, бестолковость, шумливость. Обращало их всех в одну сторону, к единственной цели, к общей внезапной опасности. Знание, бывшее недавно достоянием только его, Калмыкова, теперь пропитывало души и плоть множества людей, превращалось в человеческую массу, в мускулы, в тревожное нетерпение, в сталь.

– Командирам групп выцвинуться на исходные позиции!.. Начало боевых действий – девятнадцать тридцать!.. Раздать бронежилеты!..

Он видел, как в сумерках, мигая кормовыми огнями, пошли боевые машины. Как зазвенели, кинули едкие струи дыма, двинулись «Шилки». Как длинно, змеисто, колыхая броней, проструились «бэтээры». И уже выносили из казармы штурмовые лестницы. Татьянушкин застегивал на бегу латы бронежилета. Прапорщик зажигал и гасил длинный ручной фонарь. Калмыков, поднимая за ремень автомат, на одно лишь мгновение бросил взгляд в чернеющее туманное небо, где только что реяли пернатые разноцветные силы. Было темно и пусто. Дул черный холодный ветер.

Глава пятнадцатая

Командир третьей роты капитан Баранов ходил в темноте по мелкому снегу, ожидая начала атаки. Его группа, состоявшая из механиков-водителей и гранатометчиков, расположилась на двух «бэтээрах». Солдаты недвижно, как глыбы, бугрились на темной броне. В задачу группы входил захват танков, врытых в пологий склон, чьи пушки и пулеметы прямой наводкой могли истребить наступающих. Предстояло первыми, на десять минут опережая действия других групп, выцвинуться к арыку, преодолеть илистое раскисшее дно и рывком, внезапно достичь танков, обезвредить экипажи, выгнать машины из укрытий и, развернув пушки, поддержать штурм Дворца.

Ротный расхаживал вдоль бортов «бэтээров», слыша запах железа и смазки, слабые позвякивания металла, шуршания солдатских тел на броне. Он зажигал фонарь, направлял сноп света на часы, наблюдал движение стрелки. И по мере иссякания последних минут росла его растерянность и тревога.

Он старался себя укрепить все эти дни повторяемыми, как заветы, мыслями: «У каждого, черт возьми, должна быть своя Испания, своя Чехословакия, своя Куба!» Но казавшиеся прежде мужественными и праведными мысли, делавшие его сопричастным героическим событиям прошлого, прославившим армию и государство, – эти слова и мысли казались теперь ничемными, словно ночной ветер выдул из них живое содержание, оставил пустопорожнюю продуваемую скорлупу.

Его пугала переправа через арык, где по дну, по вязкому илу была тайно проложена узкая бетонная колея. По ней след в след должны были пройти транспортеры, перепрыгнуть через арык, рвануть на склон. Однако приближаться к арыку предстояло с потушенными прожекторами и фарами, в полной тьме. Механик-водитель мог промахнуться, соскользнув с бетонной направляющей, увязнуть в арыке. И тогда танки превратят «бэтээры» в растерзанное стальное тряпье.

Он снова зажег фонарь, подставил под него циферблат, видя, как бьется стрелка, словно крохотное насекомое.

– Сколько осталось, товарищ капитан? – С брони свесилось к нему неразличимое лицо, в скользнувшем луче фонаря мелькнула тяжелая, упертая в скобу подошва, труба гранатомета. – Хуже нет ждать!..

Баранов по голосу узнал Дерибу, гранатометчика, здоровенного малого, первого в роте силача, крестившегося двухпудовыми гирями. В учебном центре в Союзе он был славен самоволками, драками, отсидками на губе. Это он на ходу с брони жестоко поразил из гранатомета бегущую по пустыне козу. Теперь, ерзая в нетерпении, он счел возможным окликнуть своего командира.

– Пусть бы у арыка кто из наших слез и провел вброд «бэтээры». Хоть бы и я!

– С ходу возьмем арык! – Баранов всматривался в неразличимое лицо солдата. – Секунды дороги. Захватим экипажи – будем живы. А успеют они люки захлопнуть – тебе работать! Жги танки! Иначе все на склоне останемся.

Он прошел вдоль борта, предчувствуя, как через минуту-другую кинется на плоский ледяной металл, вденет в скобу ногу, метнет на броню тело, поместится в первом командирском люке.

– У каждого, черт возьми, была своя Испания, Чехословакия, Куба! – повторял он отрешенно, чувствуя пустоту этих слов. И вдруг, повинувшись больному толчку испуганного сердца, шагнул в сторону на нехоженный снег, нагнулся и горячей рукой начертил на снегу: «Лена, Андрюша» – имена жены и сына. Веровал, что утром, после боя, живой, невредимый, вернется сюда и при свете дня прочтает на снегу любимые имена.

Он вскочил на броню, окунул ноги в черный люк, нащупал подошвами спинку сиденья: – Вперед!

Ровно, с готовностью заработали, загрохотали механизмы, толкнули машину вперед.

Они прошли низиной по накатанной трассе, уводившей на стрельбище. Отвернули в каменное пересохшее русло ручья, полужасыпанное снегом. Круто, цепляясь скатами за шершавый бугор, поднялись на холм, и Баранов увидел Дворец. Окруженный золотистым заревом, он сиял, парил в высоте. Под ним среди сумрака таились врытые танки. Баранов через пространство ветра и воздуха ощутил на себе чуткие стальные жерла танковых пушек. Тело его тоскливо сжалось, и ему захотелось нырнуть в глубину транспортера, где светились на щитке цветные огоньки индикаторов.

– Вперед! – гнал он водителя, чувствуя пульсацию колес, наезжавших на камни и рытвины.

«Бэтээры» спустились в низину, проломили хрустящую преграду кустов, выкатили к арыку. Вода черно, глянцевито текла в белых берегах. Золотое отражение Дворца играло на мелких волнах.

– Левее! – командовал Баранов, направляя усеченный клин транспортера к берегу, где в снегу были протоптаны ориентиры, уводившие под воду и имевшие своим продолжением донные плиты бетона. – Щупай дно колесом!

Вода забурлила у борта, брызги долетели до лица. Мышцами, стиснутыми кулаками, упрямой волей он проталкивал транспортер сквозь арык, чувствуя под колесами узкий бетон, умоляя кого-то, чтобы скаты не потеряли опору.

«Бэтээр» клюнул носом, ударил железным днищем, закрутил колесами, надсадно взвыл, прокручивая скатами ледяные буруны, буксуя, сползая с опоры, проворачиваясь со скрежетом на железном днище.

– Промазал, м...ла! – в тоске взвыл Баранов, чувствуя непоправимое. – Газуй!

Машина, севшая на днище, крутила всеми колесами, чавкала, редела, подымала на воздух огромные буруны. Дворец, злой, золотой, светил с горы. Баранов в панике, в бездействии вцепился в крышку люка. Ожидая, что лопнет пламенем близкий склон и танковый снаряд превратит их в ничто.

– Чего сидим? Вперед! – Дериба толкнул его в спину. Сгребал, стаскивал с брони десант. Кинулся в воду, утонул по грудь, в бурунах и брызгах пошел по дну, неся над головой гранатомет. Остальные солдаты с обеих машин кидались в арык, перебрехали его, мокрые, черные, словно вырезанные на белом снегу, бежали вверх по склону. Баранов, одолев свою немощь, бежал со всеми, чувствуя, как прилипла к горячему телу мокрая ледяная одежда. Ждал – сейчас замерцают впереди огненные пузырьки пулеметов, прoderнут сквозь бегущую цепь разящие синие трассы.

Они вбежали на склон и у первого врытого танка, у его длинной пушки, у земляного припорошенного вала, в маленьком окопчике увидели экипаж. Афганцы грелись у костерка, кипятили котелок, подкладывали дощечки и щепочки. И им на головы с хрястом и хрипом прыгали солдаты спецназа. Заваливали, месили кулаками, глушили прикладами, прессовали в дно окопа липкими тяжелыми телами.

Баранов видел, как прапорщик легко и упруго вскочил на танк, погрузил длинные ноги в люк, захватывая первую машину. Ротный продолжал бег ко второму танку, от которого на звук рукопашной поднимались афганцы. И в их растерянную горсть, сминая и разбрасывая, расшвыривая ударами ног, кулаков, врезался спецназ.

Баранов ночным острым зрением увидел худое горло афганца. С выдыханием рубанул по нему кромкой ладони, и афганец, хлюпнув, осел.

– Бляха!.. Достану!.. – Дериба вырвался из клубка рукопашной, метнулся косолапо на склон, где чернел на снегу убежавший афганец – к третьему удаленному танку. Туда, за афганцем, за косолапым Дерибой бросился Баранов, увлекаемый безумной горячей силой, вогнавшей его на склон.

Они приближались к танку, к длинному, выраставшему из земли орудью. Афганец вскочил на броню, его высокая гибкая фигура мелькнула на фоне Дворца, и он нырнул в люк, как в воду, вниз головой.

И снова у Баранова пугливая мысль: сейчас лязгнет стальная крышка, закупоренный в танке афганец откроет пулеметный огонь, истребляя группу.

Дериба по-медвежьи косо и ловко, заслонив горящие окна Дворца, навис над люком, кувыркнулся в него, исчез в танке. Баранов, задыхаясь, харкая силным кашлем, громоздился на танк, слыша внутри возню, удары и рыканье.

С ним вдруг случился паралич, словно в тело вошел стальной стержень. Он не мог шевельнуться, согнуться.

Горел золотыми окнами Дворец. В недрах танка перекачивался клубок, разноголосно хрипел, выл, визжал. Доносился мат, гортанные вскрики, удары мякоти о металл. А Баранов застыл над люком, парализованный и безвольный.

Внезапно по другую сторону холма, где размещались казармы гвардейцев, раздалась стрельба. В черном небе полетели красные и белые трассеры, и на этот звук откликнулось множество невидимых огневых точек. Стали выбрасывать брызги и пучки огня. Пересекались во многих местах лучистые трассы, и вся ночь заголосила, застонала, захлопала.

Оцепенение его вдруг прошло, словно вынули из мышц металлическую спицу, и вместо нее разом вошла холодная и яростная сила.

Он зажег фонарь, направил в глубь люка свет. Озарил выступы, цинки, медные колонны снарядов, свившиеся хрипящие тела. На мгновение к свету поднялось худое, оскаленное, окровавленное лицо афганца. Баранов опустил вниз, в поток света, ствол автомата и выстрелил в белые зубы, лиловые глаза, в пузырящуюся на губах слюну.

Погасил фонарь. Из люка на воздух стал выкарабкиваться Дериба, вялый, усталый, с глухим постаныванием. Баранов видел, что на щеке его глубокий порез, из раны наплывает кровь, чернит лицо.

– Спасибо, командир! – Дериба выбрался и плюхнулся рядом с башней. – Он меня на нож посадил!

Подбегали солдаты, ныряли в люк. У соседнего танка взревел двигатель, замигал рубиновый хвостовой огонь. Это механики-водители выкатывали танки из капониров, разворачивали пушками ко Дворцу.

Глава шестнадцатая

Начальник штаба майор Файзулин завел свою малую группу в мелкий колючий кустарник, откуда видна была заснеженная гора с Дворцом, туманилось мгlistое варево Кабула с блуждающими огнями, сквозь кусты чернело строение подстанции, питающей Дворец электричеством. Группе вменялось обезвредить охрану, взорвать трансформаторные блоки, лишить Дворец освещения. К началу штурма лампы и люстры Дворца, прожекторы и наружные осветители следовало обесточить. Операция должна была проходить в темноте.

Файзулин сквозь сетку кустов осматривал контур строения, рыжий огонек караулки, где дежурил афганский пост – двое наружных охранников и двое внутренних. Задача была проста и понятна. В рюкзаке плотными брусками лежала взрывчатка. Объект охранялся слабо, взорвать его было нетрудно. И Файзулин сетовал на комбата. Калмыков не пустил его на опасный участок, не доверил штурмовую группу.

Он жевал отломанную веточку. Жесткая, замерзшая, она оттаивала в его губах, начала источать тонкие горьковатые соки. Файзулин глотал слюну, смешанную с соками растения, и вдруг вспомнил летний отпуск, глухую деревню у озера, жену, полоскавшую с мостков пузырившиеся рубахи, поляну в дожде, на которой на глазах росли, шевелились глянцевиные красноголовые грибы. Они парились в бане, брызгали на закопченные камни из деревянного обглоданного ковшика. Баня наполнялась звоном, жаром, душистым еловым туманом. И жена казалась стеклянной – груди с розовыми сосками, живот с темным глубоким пупком, округлое бедро с влажным березовым листиком. Утомленные после бани, они лежали в светелке с оконцем на ночное озеро, и казалось, в озерных туманах шествует бестелесное существо, призрачное и колеблемое. Ступает по водам, наполняя пространство слабым сиянием. Ночной дух звал его за собой, и он тянулся на это удалявшееся мерцание, пока не проснулась жена, тревожно его окликнула.

Теперь, лежа на холодной земле, чувствуя лопатками твердые бруски взрывчатки, а языком – горьковатые волокна надкусанной веточки, он вдруг мимолетно вспомнил об этом и тут же забыл.

– Пошли!.. Аккуратно!.. Без писка!.. – скомандовал он, увидел, как гибко зазмеились, поползли вперед сквозь кусты разведчики.

Два часовых-афганца сошлись вместе, заслоняя желтое окно караулки. Их льдистые штыки, высокие с козырьками картузы сбились. И в тот же миг рядом с ними взметнулись два вихря, опрокинули пару караульных, открыли желтый прямоугольник света. Файзулин, подбегая, успел рассмотреть разведенные башмаки гвардейца, рыжий, в пятне света, приклад автомата.

– Работаем!.. – одними губами беззвучно приказал он солдатам. Прижался к дверному косяку, пропуская в дверь два мощных упругих клубка. Кинулся следом в освещенное взломанное нутро караулки. Увидел, как сержант ударом в лицо глушит, заваливает худого темнокожего афганца. Другой гвардеец, получив удар в кадык, выпучил глаза, харкал красным.

Разведчики, шумно дыша, крутили лежащим гвардейцам руки, лепили им на губы пластырь. Файзулин бегло оглядывал караулку – нары с одеялами, красную спираль обогревателя, чайник на столе и пиалки с недопитым чаем, и вторую, внутреннюю дверь, ведущую в трансформаторную подстанцию.

– Волоки их наружу, а то взрывом башку оторвет! – приказал Файзулин, круша ломиком дверь, выколупывая из щепок тело замка.

В каменной будке тускло горели лампы, освещали ребристые кубы трансформаторов, фарфоровые изоляторы, медные жилы, распределительный щит с циферблатами. Файзулин определил входные толстожильные провода, соединяющие будку с городской питающей сетью. Раскрыл рюкзак и прилепил к изолятору взрывчатку с обрезком шнура. Второй брусок приклеил к выходным, утекавшим во Дворец проводам. Третий – на распределительный щит с рубильниками и квадратными стеклами циферблатов.

Он достал зажигалку, прислушался. Было тихо, лишь слабо урчал трансформатор, перегонял энергию из туманного Кабула вверх на гору, питая Дворец. Оставались последние минуты до штурма, и эти минуты он использовал для понятного и несложного дела.

Файзулин запалил зажигалку. Поднес огонек к обрезку шнура. Дождался, когда задымит, зашипит на конце шнура красная мушка. Подпалил два других заряда и, схватив мешок, проскользнул сквозь пустую караулку, выскочил на воздух.

Разведчики отволакивали сквозь заросли оглушенных гвардейцев. Дворец сиял сквозь кусты. И Файзулин, глядя на окна Дворца, чувствовал, как укорачиваются окруженные дымками обрезки шнура, уголек проползает сквозь пепел к взрывчатке.

Три взрыва слились в один, грохнули длинно и тупо, выдувая из караулки жаркую вонь, ворох колючих щепок. Дворец погас, будто его срезало с горы. В пустоте, где только что сияло унесенное взрывом диво, раздались отдаленные выстрелы, крики, полетели трассеры.

Файзулин испытал ликование. Он безупречно совершил свое дело. Малым точным ударом, направив его в самую уязвимую точку трансформатора, ослепил Дворец, прихлопнул его золотые глазницы, смел с горы озаренный остов.

Теперь комбат в темноте, невидимый, поведет штурмовую группу, а он, начштаба, вернется на командный пункт и оттуда станет слушать позывные, готовя подмогу штурмующим.

– Давай бросай здесь эти мешки с костями! – приказал он солдатам, тащившим оглушенных гвардейцев. – Вот какие вы звери полосатые! Людям чай не дали допить!

И вдруг Дворец загорелся. Вспыхнул ярко и чисто, возник на горе золотыми окнами, белыми колоннами. Файзулин испугался, не поверил. Подумал, что его зрачки, сотрясенные взрывом, вернули изображение Дворца и оно через секунду погаснет.

Но Дворец сиял, вокруг него разрасталась стрельба, и Файзулин понял, что подрыв не удался. Взрывчатка не разомкнула контакты, электричество поступает во Дворец. Задание командира не выполнено.

Он рылся в мешке, извлекая оставшиеся кубики тола. Торопился, проклинал себя. Кинулся к караулке, освещая путь фонарем.

Мелькнул опрокинутый стул, осколки пиалы, растоптанный сахар, растворенная задымленная дверь подстанции. Он направил в дым луч фонаря и увидел, как из дыма выступает ему навстречу ободранный человек с липким обрубком руки, с выбитым глазом, с кровавым шматком на усах.

Начштаба не знал, что энергопитание Дворца продублировано дизелями. Машины германского производства были упрятаны в бетонный бункер по другую сторону горы. Разрыв городской сети привел в движение автоматы и релейные группы, дизели заработали, и Дворец получил электричество.

Не знал майор и того, что начальник караула, услышав шум за стеной, бросился из караулки в помещение трансформаторной будки. Укрылся в сумраке среди шкафов и щитов.

Взрыв, разметавший трансформаторы, ранил офицера, оторвал ему руку по локоть. Еще не чувствуя боли, держа здоровой рукой автомат, он поднимался из дыма. И когда боль сквозь раздробленные кости и мышцы стала стремительно в него проникать, он увидел сноп фонаря, очертания идущего к нему убийцы. Он стал стрелять с одной руки, простреливая близкого врага, вырывая из него клочки одежды и плоти. Сам падал, пропадал, умирал от боли.

Файзулин выронил из рук фонарь. Он больше не видел бетонной стены, по которой скользнул луч падающего фонаря, разрушенных приборов, стрелявшего человека. В нем уже не было пугающей мысли о невыполненной задаче, гневе командира, о своей вине перед товарищами. Он видел лесное тихое озеро. Из озерного тумана появилось бестелесное существо, словно одетое в полупрозрачную рубашу. Протягивало к нему руки. Дотянулось до него, обняло, и они оба, бестелесные, полупрозрачные, закачались над озером, не касаясь воды.

Файзулин лежал бездыханно. Кругом метались лучи фонарей. Солдаты штыками кололи безрукого мертвого гвардейца. Сквозь распахнутые двери одиноко и ясно сиял Дворец.

Глава семнадцатая

Группа капитана Расулова на шести «бэтэрах» притаилась в темной ложбине. Машины тесно, слитно, с погашенными огнями готовились к броску. Солдаты, почти невидимые, слились с броней. Группе надлежало ворваться в расположение зенитчиков, обезвредить расчеты, закрепиться в капонирах, развернуть четырехствольные установки в сторону Дворца, поддерживать огнем атакующих. «Бэтэры» на больших скоростях должны были одолеть простреливаемые участки, избежать минных полей и внезапным ударом сокрушить зенитчиков. Расулов, нервный, бодрый, чувствуя горячие переливы мышц, крепость и гибкость суставов, ходил вдоль машин, глотая студеной воздух, испытывал нетерпение, жадное ожидание боя.

Солдаты смотрели на своего командира, и он, не умещая в себе эту нервную горячую силу, делился ею с солдатами. Цеплял то одного, то другого бодрими грубоватыми шутками.

– Ну вы, зверюги, что скукожились! Нахохлились, как вороны!.. Сержант, смотри в портки не надуй, лучше сейчас отлей!.. Старшина, давай постучи им кулаком по башке, а то спят, как сурки!.. Джигит, глаза протри, это тебе не по мишеням лупить!.. – Он дразнил солдат, отгонял от них страх, тревогу, направлял вперед, в темноту, в бой.

Поглядывая на фосфорный циферблат с мягкой дрожащей каплей, он заботился о том, чтобы головной «бэтэр» не въехал на минное поле, чтобы солдаты на крутых виражах не свалились с брони, и одновременно, в такт шагам, складывал слова и напев своей будущей

песни, которую завтра же, после боя, прогремит на гитаре: «В холодную ночь унесли „бэтээры“ последнего света последнюю веру...»

Он чувствовал, как сокращается время, отделявшее его от атаки. Еще минута-другая, и он кинется в люк, нажмет тангенту, отдаст короткий приказ: «Вперед!» – и железная гибкая колонна с рокотом метнется на склон. В эти последние исчезающие секунды его страстные мысль и память вызвали мимолетное зрелище – недавнее свидание в госпитале. Полутемная пустая палата. Ее влажные шелковистые груди, открытый дышащий рот. Он целует ее подмышки с куделью, белое выпуклое бедро, горячие колени. Она слабо защищается, кладет руку на свой живот, не пускает его жадные губы. Он целует ее пальцы с серебряным перстеньком и сквозь пальцы темную ложбинку пупка, щекочущий мягкий лобок.

Это зрелище возбудило его. Сквозь грубую одежду, кожаные ремни и железо он почувствовал, как его пах наполняется горячей силой. Исчезающие перед атакой минуты были наполнены этой влекущей раздражающей силой.

– Ну вы, зверюги, прилипли к броне задами!.. Слушай сюда! Дворец возьмете – час ваш! Что хапнете – унесете! Сувениры домой!..

И снова в такт шагам складывался неясный струнно-гремящий напев: «И пусть сбережет твоего офицера последнего боя последняя вера...»

Солдаты на броне сжимали автоматы и гранатометы. Водители ждали приказ, чтобы включить стартеры. Пулеметчики прицелились к прицелам ночного видения. Солдат Амиров прижался щекой к шершавой ледяной башне, и холод брони наполнял его тоской и страхом. Он боялся этой ветреной ночи, боялся боя, боялся своих товарищей и своего командира, ожидал близкой для себя боли и смерти. Ему хотелось спрыгнуть и убежать, без тропы, без дороги, в горы, через седловины и расселины, камнепады и хребты туда, где в маленьком узбекском поселке живут его мать и отец, бабушка и любимые сестры. На веревке перед домом развешаны пестрые одеяла. Сестра лупит по пыльному покрывалу палкой. Сквозь золотистую пыль видно близкое поле, цветущее деревце граната, которое цвело в те дни, когда его забирали в армию. Если броситься и побежать, не слушая окриков и погони, то можно добежать до дома, до цветущего пахучего деревца.

Чтобы не было так уныло и страшно, Амиров достал из кармана коробочку, где хранился зеленый, едко пахнущий порошок конопли, выменянный им у солдата-афганца. Осторожно, чтобы не заметил толстоплечий, в бронежилете, прапорщик, он отсыпал порошок на ладонь, быстро метнул пригоршню в рот. Разжевал, смачивая слюной, всасывал в себя горьковатые соки. Они согревали его, наполняли боящуюся слабую плоть бодростью, теплом и весельем. Глаза стали видеть зорче. В черной ночи расцветало перед ним все ярче розовое чудное деревце.

– Ну ты, водила! – Расулов шмякнул ноги в люк. – Запускай!.. Держи колею!.. На минное поле не влез!.. Вперед!.. – нажимал он тангенту рации.

Рванулась вся единая, стиснутая тесно колонна. Не зажигая огней, покатила распадком, огибая глыбы камней. Многолапо вскарабкалась на подъем. Процарапалась сквозь снег и заносы. Продралась сквозь хрустящие, polegшие на сторону кусты. И, вцепившись в асфальт, метнулась по трассе мимо деревьев, сквозь которые засиял, зажелтел Дворец.

– Держать интервалы!.. Расходимся каждый на свой объект!.. Мины смотрите!.. – командовал он, собирая в точку свою чуткость, ум, прозорливость. – Водила, бей впереди, что увидишь!

Хрустнул шлагбаум, проломленный тяжким ударом. Часовые, ошеломленные, с криком наставили штыки. И им на спины с брони по-кошачьи кидались разведчики, валили, глушили. «Бэтээры» веером, ломая колонну, расходились к позициям зениток. Расулов, хватая в раскрытый рот ком ветра, кричал:

– Звери, работаем!.. – Прыгнул вниз, пропуская над собой борт «бэтээра».

С разбегу, едва не упав, он ткнулся в землянку. Увидел, как открывается брезентовый полог. В слабом отсвете возник гвардеец – высокая офицерская фуражка, красный уголек кокарды. Рука с пистолетом протянулась, почти уткнулась в грудь Расулова, и тот поднырнул под выстрел, под рыжий шар пламени. Схватил стрелявшую руку, вывернул против изгиба, и человек с хрустнувшей переломленной рукой взвыл, а Расулов, бросая его, сорвал с гранаты кольцо, катанул ее под полог землянки. Отпрыгнул в сторону, слыша, как грохнуло в земле и кусочки стали, пробив полог, вылетели наружу.

– Сержант, к пушкам!.. – крикнул он, видя, как крутятся у орудия несколько неразличимых фигур, стягивают маскировочную сеть. – Не дай им орудие!..

Он пустил в темноту очередь, отгоняя от установки зенитчиков. Слышал, как пули рикошетят от стальных элементов орудия.

– Звери, работаем!..

В темноте, на батарее крутилось, хрипело, визжало. Под разными углами, вверх и вниз, летели трассеры. Падали, прыгали, катились черные комья. И вдруг ртутный слепящий свет ударил из близкой чаши прожектора. Из дыма, из лилово-белого котла прилетала на батарею шаровая молния, и каждая соринка, каждый камушек стали видны, отбрасывали тень. Люди, сцепившись в комки, боролись, махали руками вместе со своими длинными уродливыми тенями.

Расулов, заслонившись локтем от сверканья, видел четырехствольные установки под полусброшенной сеткой, ползущего по земле окровавленного артиллериста, своего сержанта, отбивавшегося ударами ног от двух цепких гвардейцев, серебряную обертку от сигарет, казавшуюся осколком зеркала. Видел бой, его завершение. Люди в пятне ярчайшего света боролись, как на арене. Казались погруженными в серебристое вещество, накрытыми стеклянным прозрачным колпаком.

Два зенитчика одолели сержанта, свалили его, били штык-ножами. Расулов, стреляя навскидку, отгонял обоих, отшвыривал вспышками, погружал очередь в лохматый мундир гвардейца, в блестящие пуговицы.

– Крути установки!.. – Расулов вился волчком, пригибался, пропуская над головой пули, кидался в сторону, уклонялся от взрыва гранаты. Успевал ударить, вонзить, хлестнуть очередь. Рычал, выдыхал, тонко взвизгивал.

Разведчики сволакивали маскировочную сеть, разворачивали зенитки, направляли их раструбы ко Дворцу. Обертка от сигарет валялась у него под ногами. Он сделал шаг, чтобы ее раздавить, и, шагая, наступил на фольгу, гася ее сверканье, увидел, как из-за бруствера поднялось узкое, с вдавленными щеками лицо, горбатый нос, черные усы, сбитые на лоб короткие черно-синие волосы. Ручной пулемет, пошарив рыльцем, уперся сошками в край бруствера, и оттуда дунуло, ударило жутким страшным ударом ему, Расулову, в пах, в промежность, отстреливая, отрывая всю его силу, свирепость и страсть. Лопнул тугой запаянный шар, и из него вместе с болью вырвались и унеслись все его песни и пьянки, и он сам, оскопленный, с выдранным сердцевинкой, катался клубком и визжал, затыкая ладонями пах, схватив кулаками кровавые шматки и волокна, – на сверкающей круглой арене, в свете прожектора.

Рядовой Амиров, наглотавшись наркотика, вместе с группой захвата ворвался на батарею. Вместе со всеми прыгнул с брони, побежал в темноте. Ему не было страшно, он не видел взрывов и выстрелов. В его счастливых безумных глазах колыхались цветные одеяла, сестра палкой колотила пыльную цветастую ткань, хлопки и удары гулко отражались в ушах. Когда вспыхнул прожектор, осветил батарею, ему показалось, что он на танцплощадке, вокруг него, обнявшись, танцуют, играет громкая музыка.

Он пошел вместе с танцующими туда, где в открытой степи цвело его любимое деревце, желая вдохнуть аромат розовых, покрытых цветами веток. Он перелез через бруствер, пробрался сквозь путаницу бурьяна и колючую проволоку, пересек помойку, оставляя за спиной

музыку и свет танцплощадки. Шел, протянув вперед руки, на ощупь, наугад находя дорогу, не зная, что ступает на заминированную землю. Минное поле защищало батарею, и он подорвался на первой же мине, чуть припорошенной снегом. Из-под ног его вырвался косой красный взрыв, раскалывая его кости и череп. И последним видением выбитых глаз было маленькое цветущее дерево, трепещущее среди синих пространств.

Глава восемнадцатая

Командир четвертой роты Беляев сидел в головной «бээмдэ», ухватившись за холодную пушку. Чувствовал затылком застывшую колонну боевых гусеничных машин, их литую неподвижность, готовность к одновременному рывку, огневому удару. Но это чувство не рождало в нем уверенности и силы. Боевая мощь колонны была источником опасности для него самого. Ему, Беляеву, волей глупых и жестоких людей помещенному в железный люк, в черную азиатскую ночь, грозили боль, страдание, смерть.

Его группа из шести машин с десантом готовилась к штурму Дворца. По серпантину, сметая посты, гася пулеметные гнезда, они достигнут портала, соединятся с группой захвата, штурмующей резиденцию в лоб, с боем подымутся на этажи.

Беляев сидел, прислонившись лопатками к пушке, боялся и ненавидел. Он ненавидел комбата Калмыкова, всегда спокойного и уверенного, мнимопонимающего смысл и цель их появления в дикой и жестокой стране. Ненавидел саму страну из камней и грязи, из пыли и снега, отторгавшую цветом своего неба, вкусом воды и воздуха, запахом селений, формой деревьев, очертаниями лиц. Ненавидел обитателей страны, бестолковых, шумных и нищих, затеявших грязную, кровавую, бессмысленную усобицу, назвав ее революцией. Ненавидел лепной, как осиное гнездо, зловонный город с липкими ручьями нечистот, путаницей перекрестков, убогим подобием других городов. Ненавидел Дворец с жестоким и умным властителем, которого он, Беляев, должен сегодня убить, но перед этим охрана властителя изуродует его, Беляева, тело свинцом и сталью.

«Все дерьмо! – поносил он страну, город, мечети, рынки, мужчин в грязных перевязках, женщин в нечистых балахонах, размалеванные дымящиеся грузовики, бренчащие трескучие повозки, и эту ночь, и невидимые горы, и асфальтированный виток серпантина, по которому машины рванутся к portalу Дворца. – И сам я дерьмо!..»

Он думал, как бездарно и опрометчиво он согласился на этот афганский поход. Ему следовало, подобно другим, увильнуть, отказаться. Договориться с врачом и улечься в госпиталь. Сослаться на невроз, на обострившийся геморрой, устроить операцию аппендицита. Нужно было воспользоваться связями в округе, в Москве, в управлении, добиться протекции подобно блатным сынкам и племянникам, которые, узнав о походе, исчезли из батальона, перевелись в другие части.

«Как же, за меня похлопочут!.. Без волосатой руки!.. Без генеральской родни!.. Мы – рабоче-крестьянские!.. Сам дерьмо, чужое дерьмо разгребаю!..»

Он ненавидел своих беспомощных, бесполезных родителей, не сумевших оградить его своими влиянием, властью, достатком. Но больше всего ненавидел и боялся неотвратимой минуты, когда машины пойдут вперед, навстречу боли и смерти. Это ожидание боли и смерти вызывало спазм желудка. В кишечнике бурлило, и он чувствовал резь в животе.

В десантном отделении боевой машины рядовой Хакимов, стиснутый спинами, стволами и подсумками, ожидал своей доли. На него навалилась толстая спина сержанта Шарипова, его постоянного мучителя и обидчика. Хакимов, придавленный тяжестью, не смел пошевелиться. Представлял, как приставит к этой спине автомат, нажмет на спуск, прекратит нескончаемые издевательства и мучения, делавшие жизнь невыносимой.

После того как Хакимов чуть не взорвал казарму гранатой, для него наступила короткая передышка. От него отступились, испытывая брезгливый страх и презрение. Но потом постепенно стали преследовать и мучить с удвоенной силой, изобретая множество новых издевательств. Добивали, домучивали его как подранка, который своим затравленным видом причинял страдание здоровым и сильным людям.

Теперь, накануне боя, он надеялся, что будет убит и таким образом прекратятся страдания. Но перед тем как наступит его собственная смерть, он всадит пулю в ненавистную толстую спину, отомстит мучителю.

«Пусть, – думал он, мечтая о своей смерти, представляя, как гроб привезут домой, к матери и отцу, они станут убиваться над его худым, твердым, холодным телом, целовать его бело-синие, с вьёвшейся грязью пальцы, его бритую голову, заострившееся, в кровоподтеках лицо. – И пусть, и пусть!»

Едва не плача, он наслаждался мыслью о мучениях, которые испытают отец и мать, отдавшие его жестоким, беспощадным людям.

Ротный Беляев сквозь холодное ветреное пространство услышал одинокий выстрел. Ему откликнулась редкая очередь. Ахнул металлический, стонущий взрыв. И в этой ночи со всех сторон застучало, заколотилось, затрещало, разбрызгивая длинные брызги, фонтаны огня, дрожащие угли и всполохи. Беляев, чувствуя, как больно распирает живот, кляня свою участь, скомандовал сиплю: «Вперед!»

Рыкнула боевая машина, высыпала из кормы огненную метлу. Вслед за ней с хриплым звоном задышала остальная колонна, вышвыривая красную гарь и перхоть.

– Твою мать!.. Пошел!.. – торопил колонну ротный, и стальная змея, цапая гусеницами камень, пошла резать ночь, извиваясь в распадке.

Выскочили на трассу, крутанув траками по асфальту. Кинулись вверх по серпантину, рокоча катками, с хрустом съедая наледь обочин. Отработали пулеметами по доту, погасив пузырек пламени. Прошибли стальные ворота, срезав очередь караульных. И мощно, с лязгом двинулись по серпантину ко Дворцу.

– Твою мать! – повторял Беляев, вцепившись в крышку люка, хватая ртом комья ветра.

Дворец возник внезапно, озаренный на черном небе, с белизной колонн, с янтарной лепниной карнизов, с шевелящимися лопастями света. Драгоценный, сияющий, окруженный черным плетением деревьев, он парил над горой, и Беляев, подняв глаза, сквозь ветер и рев моторов различил стаю испуганных, косо летящих птиц, сносимых за кровлю Дворца.

Ударило глухо и плоско, расщепляя воздух, словно сломалось сухое волокнистое дерево. Рванули над головой длинные белые проблески, улета в ночь, в пустоту, впиваясь в невидимую небесную точку.

«Шилка»! – подумал Беляев, узнавая трассы скорострельной самоходки. Видимо, установки вышли на позицию и с соседнего холма открыли огонь по Дворцу.

Снова просвистело, раздирая воздух вблизи виска. Молния вонзилась в дерево, раздробила его, и машина продралась сквозь ветки рухнувшей на дорогу вершины. Беляев, оглохнув, чувствовал виском пролетевший страшный снаряд.

Колонна, завершая вираж, поднималась по серпантину. Ливневые трассы впивались в фасад Дворца, высверливали боковой флигель, рубили каменные колонны, вытачивали овалы окон, и оттуда выплескивалось чадное пламя.

Машины поднялись на гору, открыв «Шилкам» глянцевитые стальные борта. Вошли в свистящие потоки огня. Беляев оказался среди растерзанного, ревающего воздуха, лопающихся металлических взрывов. Увидел, как ослепительно из черных пространств налетает, расширяется белый пучок. Окружил колонну огнем и ревом, поддел огромным белым гвоздем одну из машин, и та, пробитая ударом, крутанулась, дернулась, из нее саданул гулкий стонущий взрыв, повалил белый пар, словно вскипел металл.

– Суки!.. По своим!.. – прокричал, провизжал Беляев, проваливаясь в люк, ударяясь головой о железо. Внутренность желудка излилась из него, и он, упав на сиденье, в липком зловонии, повторял: – По своим!..

Колонна огибала подбитую машину, продолжала движение ко Дворцу.

Рядовой Хакимов втиснулся в металлическую нишу, чувствуя вибрацию брони, хруст гусениц, колыхание амортизаторов. На виражах толстая спина Шарипова наваливалась на него, так что трудно было дышать. Хакимов закрыл глаза, погасил в себе волю, отдаваясь железной вибрации, ожидая момента, когда оборвется мучительная и ненужная жизнь.

Он чувствовал повороты, плотность грунта. Слышал удары кормы о древесный ствол, короткий стук пулемета, запах пороха. За стальной оболочкой что-то свистело и выло, в бойницу залетали короткие ртутные вспышки, освещали матерчатые швы на спине Шарипова, цинки боекомплекта, трубу гранатомета.

Страшный треск и толчок проник в машину, прободал ее слепящей иглой, наполнил огромным тугим ударом. Хакимова вмяло в сталь, и он исчез. Не ведал, что идущая боевая машина попала под выстрел скорострельной «Шилки». Артиллерист, молотя по Дворцу, дрожанием пальца сместил траекторию, и снаряды коснулись колонны. Бронебойный сердечник, протаскивая за собой струю огня, прободил борт машины, растерзал механика-водителя, сдетонировал взрыв боекомплекта, выбивая экипаж и десант. Машина, искря и дымясь, застряла на трассе, ее на скорости огибали другие машины, устремлялись ко Дворцу.

Всего этого не ведал Хакимов. Он очнулся в горящей машине среди едкого зловония и дыма. Сквозь слезы и кровь разглядел истерзанную, наваленную грудой людей, иссеченную в клочки одежду, чье-то безносое, с выбитыми глазами лицо. Перед ним тяжелой грудой лежал человек, на спине его горела лохматая суконная ткань, и сквозь выгоревшее пятно в обрамлении огня краснело и пузырилось мясо. Жареная спина шевелилась, и из нее раздавалось мычание.

Хакимов начал понимать случившееся, окруженный тлеющими обрывками кабеля, зловонием сгоревшего пластика и взорвавшейся кислой латуни. Его душил кашель, рвало грудь. Из спины с язычками огня раздавалось сиплое:

– Му-у-у!..

Хакимов освободил свои ноги, вытащил их из-под чужого вяленого тела.

Это неузнаваемое тело было дряблым, перемолотым, без внутренней жесткости, и Хакимов сквозь боль в груди, кашляющее дыхание успел изумиться этой безвольной, бесформенной дряблости.

И вдруг острое желание жить, уцелеть, выскочить из этой стальной машины, где все убито, мертво, страшное, из мольбы и ужаса чувство овладело им, и он стал карабкаться, ползти, переваливаться через недвижных дымящихся людей к корме, к дверям десантного отделения. Отталкивал от себя неживые тела, вялые руки и головы, железо гранатометов и автоматов.

– Му-у-у!.. – раздалось из дыма, и этот бычий неразумный звук остановил Хакимова.

Мычал Шарипов, его бессловесное туловище с медленно выгорающей спиной. Хакимов хотел поскорей уползти от этого животного предсмертного мычания, оставить его здесь, в прокаленном чадном железе. Чтобы кончились навсегда нестерпимые издевательства, не дававшие жить унижения, – пусть сгорят и исчезнут в зловонии, а он, живой и свободный, останется жить.

Он открыл тяжелую половину дверей, выпал из машины, хватая морозный глоток воздуха. И вдруг вспомнил, как в первый день по прилете, ярким утром, Шарипов купался в арыке. Плотный, гладкий, с мускулистой спиной, плюхнулся в воду, плескался, похожий на сильного водяного зверя, гоготал, брызгал, и при взмахах на блестящей спине бугрились глянцевитые мышцы.

Теперь эта спина прогорала, и из нее раздавалось непрерывное:
– Му-у-у!..

Хакимов глотал свежий холодный ветер, тоскуя, плача, вновь повернул в копотное нутро машины. Перелез через неживые тела, ухватился за тяжелую тушу Шарипова и, хлюпая, плача, надрываясь, перетянул его через убитых, вывалил на дорогу, шмякнул, как куль.

Боевая машина горела. На снежной горе сквозь деревья сиял Дворец. Вдоль него, огибая, промахиваясь, летели трассы снарядов, пунктиры пулеметных трассеров. Громыхало и ахало. А здесь, под горой, одиноко искрила подбитая машина, белел снег, чернели деревья, и Хакимов, стоя на коленях, бросал горсти снега на тлеющую спину Шарипова, гасил угольки и плакал.

Глава девятнадцатая

Командир первой роты Грязнов в люке гусеничной машины жадно докуривал сигарету. Видел, как вблизи, в темноте, краснеют, разгораются, гаснут огоньки. Солдаты курили. Вся колонна пульсировала огоньками, была живой, дышащей, ждущей.

Группе вменялась атака гвардейских казарм, где обитало полторы тысячи охранявших Дворец солдат. В момент штурма казармы блокировались, гвардейцы в них запирались.

Грязнов обжигал губы сгоревшей сигаретой. Сейчас, за несколько минут до атаки, он все еще не знал, как станет действовать.

Простым и понятным было полное уничтожение глинобитных казарм. Боевые машины на скорости подойдут к саманным постройкам, откроют огонь по окнам из пулеметов и пушек, станут в упор разрушать ветхие стены, а десант под прикрытием брони станет истреблять убегающих солдат. Забросав гранатами дымящие, охваченные пламенем строения, будет добивать выползающих на снег окровавленных и обугленных гвардейцев.

Это было понятно, просто и отвратительно, невыносимо для Грязнова. Все дни с момента приказа он тосковал при мысли, что ему, приглашенному в чужую страну, придется убивать хозяев. Знал, что офицеры, прапорщики и солдаты роты думают, как и он, – не хотят убивать.

Существовал другой план, неясный до конца вариант атаки. Примчаться к казарме, открыть ураганный огонь над крышами, вдоль стен, оглоушить, ослепить гвардейцев. Малой группой, проникнув в казарму, захватить ружейную комнату. Продолжая стрельбу, имитируя бой, обезвредить пленных гвардейцев, всю тысячу с гаком, силами малой группы в пять десятков солдат.

План был неясен. В случае срыва грозил уничтожением группы, неудачей общего замысла. Грязнов задыхался от горького табачного дыма, не знал, как ему действовать, как захватить казармы.

– Товарищ майор! – Механик-водитель из люка слабо его окликнул. – Письмо моей передайте!

Рядовой Хаснутдинов в танковом шлеме тянул ему из люка белевший конверт.

– Что за письмо? Кому? – не понял Грязнов, недовольный тем, что его отвлекают, мешают сделать окончательный выбор.

– Невесте письмо... Если убьют, вы перешлете...

Механик-водитель настойчиво тянул в темноте письмо. Грязнов, отвлеченный этой упорной, казавшейся неуместной просьбой, вспомнил: невеста Хаснутдинова отказалась ждать, вышла замуж. Уже месяц назад в учебном центре Хаснутдинов чуть не повесился. Все это время в нем оставались боль и болезнь. Он боролся, наваливал на себя непосильную работу, возился в железе, преуспел в вождении. Но недуг не проходил, светился в больных глазах.

– Что ты мне письмо суешь! И меня убить могут! – раздраженно ответил Грязнов. – И я из мяса и кожи создан. И во мне, если что, дырку сделают!

– Нет, товарищ майор, вас не убьют! Ни за что не убьют! – с верой и страстью ответил солдат, не убирая письма.

А у Грязнова в ответ – внезапная нежность и страх, за него, за себя, за невидимых, сидящих на броне солдат.

Мать, худая и хвора, на убогом своем огороде, среди кустиков вялой ботвы. Под мелким холодным дождем высокий курлыкающий клин журавлей над серой родной землей, от которой его отлучили, затолкали в броню, нагрузили тяжелым железом, прислали в чужую страну, заставляют стрелять, убивать.

Все это остро и больно пережил командир первой роты Грязнов, глядя на мутно-белое под танковым шлемом лицо солдата, на светлеющий квадратик письма.

– Ты спрячь письмо, – сказал Грязнов. – Завтра сам отправишь... Слушай сюда, Хаснутдинов!.. Сбросишь десант у казармы и пошел кругами ходить! Из пушек и пулеметов над крышами, чтоб шум, гром! А мы свое дело сделаем!

И, увлекаясь замыслом, укрепляясь в своем решении, нажал тангенту:

– Я – «Гора-1»!.. Работаем по схеме-2!.. Как поняли меня?... Прием!

Механик-водитель спрятал конверт с письмом, огорченный отказом майора. В письме, которое он писал накануне, не было упреков и жалоб, а пожелание счастья. Он писал, что не таит на подругу обиды, пусть не считает себя виноватой. Его обида прошла, и он думает о своей прежней любви, как о прошедшем детстве. Сам же он сейчас находится в отдаленном гарнизоне, служить ему хорошо, а когда вернется, придет к ней в дом как друг детства. Таково было содержание письма. Он прятал конверт за противосолнечный щиток боевой машины, когда услышал короткое, злое «Вперед!», которым майор понуждал его к действию.

Включил зажигание. Услышал, как дрогнули живые тонны машины. Забыв о письме, о невесте, вглядывался в дрожащую тьму.

Колонна прорезала железом бугры. Выскользнула на асфальт. Чавкая, молотя гусеницами, ринулась к казармам. Включили прожекторы. В снопе туманного света возник КПП, полосатый шлагбаум, мечущийся караул. Прошибли броней преграду. По пустому плацу кинулись к глинобитным строениям. Машины задерживались, раскрывали кормовые отсеки, и оттуда кубарем выкатывался десант. Солдаты бежали к казармам, к красноватым светящимся окнам, а машины продолжали движение, открывали огонь. Грохали пушки, дергалось пламя выстрелов. Пулеметы посылали над крышей прерывистые красные очереди, прожектора металась, упиралась в стены, в стекла, в нужники, в щиты наглядной агитации. Машины ревели, молотили гусеницами щебень, окружали казармы дымом, огнем и грохотом.

– Ракетницы!.. В окна!.. – Грязнов на бегу отсылал вдоль стены здорового прапорщика. – Влупи им, мать их ети!..

Первый, ударом плеча вышибив дверь, ворвался в казарму, впуская следом грохочущий вал атаки.

Дневальный навстречу – ребром ладони в кадык. Офицер из-за столика – ногой в пах. Двоих бритоголовых, с изумленными глазами, расшвырял в разные стороны. Бросился к ружейной комнате.

– Ставь пулемет!.. Не пускай сук к оружию!.. – На пол у ружейной комнаты плюхнулся сержант, наставил рыло пулемета в казарму.

Под тусклыми лампами металась и прыгали люди. Сыпались оконные стекла. Внутри казармы с шипеньем влетали ракеты, ударялись о пол, о стены, рикошетили и взрывались. Прожектора слепили сквозь окна, освещали лежаки, свернутые на полу одеяла, бумажные плакаты, застекленный портрет вождя. Тяжелая пулеметная очередь задела кровлю, прошла крышу, расщепила потолочную балку.

– Ложись! – ревел Грязнов, вскакивая на тумбу, рассылая поверх голов долбящие очереди. – Ложись, твою мать!..

И этот звериный крик был понят, услышан.

Гвардейцы садились на корточки, вставали на четвереньки, ползли, плюхались на живот. Между ними вертко и ловко бежали солдаты, раздавая толчки и пинки, колотя по головам и по спинам, осаживая тех, кто пытался подняться.

– Взрезай им портки!.. По одному без порток через окна!.. – Грязнов, вращая глазами, ожидая удара и выстрела, успевал замечать дымящуюся, с огоньками кошму, подпаленную попаданием ракеты, и опрокинутую миску с рисом, и лоскутное свернутое в валик одеяло. В казарме воздух был спертый, зловонный – запах испуганной человеческой плоти.

Все было кончено. Солдаты ходили среди лежащих гвардейцев, подымали их рывками с пола, штык-ножом вспарывали сзади штаны. Толкали к окнам.

Оглушенные, подавленные, похожие на испуганных овец, поддерживая спадавшие штаны, гвардейцы выпрыгивали в окна наружу, где их поджидал спецназ. Усаживались на снег вдоль стены. А вокруг продолжали носиться боевые машины, били из пулеметов и пушек, освещали бритоголовых, сидящих на корточках пленных.

– Барашки тонкорунные! – похохатывал Грязнов, потный, горячий, выходя из духоты казармы, вглядываясь в темную массу усевшихся на снег людей.

– Воняют, как собаки! – вторил ему прапорщик, держа автомат стволом вниз.

Грязнов увидел – из скопления сидящих встал человек. Луч прожектора осветил его черные слипшиеся вихры, скуластое, с длинным шрамом лицо. Это был офицер, что на первой их встрече зло говорил и выкрикивал. Теперь он поднялся, поддерживая распоротые штаны. Лицо его было липким от пота. Шрам на лбу и щеке пульсировал. Он смотрел на Грязнова, оскалив зубы, вдыхая свистящий ненавидящий звук. Повернулся и побежал. Луч прожектора захватил его, следовал по пятам. Тот бежал кривообоко, неловко, поддерживая штаны.

Прапорщик поднял автомат и выстрелил. Офицер упал. Прожектор задержался на распластанном теле, окружив его сверкающим снежным пятном. Сместился, полетел в темноту.

Рядовой Хаснутдинов гонял боевую машину вокруг саманной казармы, скользя лучами по бритым головам, лиловым вспыхивающим глазам, высвечивая черное людское скопище.

Глава двадцатая

Калмыков разместил штурмовую группу в промерзшем пустом арыке. Видел, как сияет, парит на горе Дворец, рассылает вокруг зарево золотистого света. Казалось, Дворец опустился на гору с неба, не касается земли, держится на световых столбах. Оттолкнется, окруженный сиянием, уйдет в высоту, превращаясь в малую искру, оставив на зимней горе растопленный снег, кипящие, замерзающие у подножия ручьи.

Татьянушкин подполз, тяжело дыша, в нейлоновой куртке, раздутой, напигованной гранатами, автоматными рожками, фонарем, портативной рацией. Встал на колени, и пар от его дыхания был желтым на фоне Дворца.

– Почему без бронежилета? – спросил Калмыков, оглядывая его выпуклую от гранат и магазинов грудь.

– Не хочу, – ответил Татьянушкин. – Решил: кто кого. Либо я судьбу, либо она меня.

В том, что сказал Татьянушкин, не было бравады, а упорная решимость и истовость. Дело, на которое они поднялись, было предельным и неизбежным и для многих последним в жизни.

Дворец сиял на горе. В арыке, прижав к земле штурмовые лестницы, притаились солдаты.

Калмыков, поглаживая лакированное цевье автомата, вдруг вспомнил: в детстве, в Москве, в темном углу двора, среди крапивы и древесного сора, он строил тайник. В черной сырой земле рыл глубокую ямку, выкладывая ее глиняными черепками, фарфоровыми осколками. Цветочки, лазоревые и золотые каемки, и на мягкий лист лопуха, среди стекла и фар-

фора, клал мертвую желтую птицу, умершую канарейку. И после, засыпая в ночи, все мерещилось – под землей, в усыпальнице, среди изразцов и узоров, на бархатной зеленой подстилке лежит желтогрудая птица.

Мелькнуло и кануло. Дворец на горе. Гладкое цевье автомата.

– Только бы твой начштаба подстанцию вырубил! – сказал Татьянушкин. – Если прожектора зажгутся, мы все на ладони, под пулеметами поляжем!

Калмыков не ответил, смотрел на часы, приближавшие минуту атаки.

Гора туманно белела, в наледях, в осыпях снега, в безлистных, корявых яблонях. По горе, по голому саду, поскальзываясь на глазурованном льду, пойдут солдаты, кладя плашмя штурмовые лестницы, припадая под огнем пулеметов.

Дворец на белой горе, над плетением черных яблонь, был прекрасен и странен. Был желанный, влек к себе своей женственной красотой. И пугал, отталкивал смертельной опасностью. Притаившиеся в мерзлом арыке несли Дворцу беду и несчастье. Но Дворец для них, притаившихся, сам был бедой и несчастьем.

Калмыков всматривался в ровное, без теней, сияние окон, старался представить жизнь обитателей. Быть может, сошлись на семейную трапезу – накрытый яствами стол, сервизы, супницы. Или хозяин Дворца работает в своем кабинете – пишет бумаги, разговаривает по телефону. Жена в гостиной читает дочери книгу, большую, на твердой бумаге, с цветными картинками. Часы в гостиной с перламутровым циферблатом медленно движут стрелки, приближают минуту штурма.

Внезапно Дворец погас. Там, где секунду назад было золотое сияние, возник черный, пустой провал. И только на дне глазниц остывало и гасло изображение Дворца.

– Твой начштаба сработал! – сказал Татьянушкин, поднимаясь с колен, одергивая бугрящуюся куртку. – Пошли!

Калмыков отжался от заснеженной комковатой земли. Мимолетно, с дрогнувшим сердцем, обращая его в небо, к кому-то безымянно-огромному, наблюдавшему за ним, отрешенно подумал: «Спаси!.. Сбереги!..»

Встал в рост, повернулся к скопившимся в арыке солдатам:

– За мной!.. Не отставать!.. – Шагнул на склон, сжимая в кулаке автомат.

Первый десяток шагов шел молча, быстро, чутко прислушиваясь к звукам, не отрывая глаз от черной пустоты, оставшейся от Дворца. Солдат, идущий рядом, закашлялся, громко сплюнул, другой поскользнулся, и Калмыков поддержал его, ухватив за упругий локоть. Лестница чиркнула, свистнула о шуршащий наст, солдаты поддели ее, взвалили на плечи, понесли, торопясь и поскальзываясь.

Глухо, одиноко ударил выстрел. Калмыков повернулся на звук – стреляли в расположении зарытых танков. В ночи по всему пространству вокруг Дворца двигались группы, невидимо сжимали кольцо.

Ударил негромкая автоматная очередь, следом другая. Дробно и гулко пророкотал пулемет и ахнула пушка «бээмдэ».

На серпантине начинался бой. В ночь полетели трассеры, красные, желтые нити, под разными углами, ударялись в темноту, рикошетили, меняли направление, превращая плоскую темень в многомерное, насыщенное огнем и звуком пространство.

И вдруг Дворец снова возник. Восстал из тьмы, вернулся в черное, недавно пустое небо, наполнил его озаренной белизной, подсвеченными колоннами, лепными наличниками, сияющими высокими окнами. Словно кончилась мгновенная слепота и вернулось зрение – янтарно-белый Дворец. И от этого ужаса Калмыков остоленел, пораженный видением Дворца. Неистребимого, грозного, наполненного смертоносной плазмой.

– Что за черт! – хрипел рядом Татьянушкин. – Что же он, сука, не смог погасить электричество!

«Сука!.. – в панике, в гнев повторял Калмыков, кляня начштаба, беспомощного и бездарного, неспособного на малое боевое действие, не сумевшего разрушить подстанцию, обрекшего их на потери, кровь и гибель. – Сука бездарная!..»

И словно угадав страх его и панику, вспыхнули прожектора. В нескольких направлениях разом, сквозь кусты, деревья заголубели, задымились ртутные чаши, изливая холодный металлический свет. Скользнули по дальним горам, по небу, по фасаду Дворца. Ударили в ближний холм, выжигая в нем белую расплавленную пещеру, и с разных сторон развернули свои выпученные слезящиеся глазницы на гору, на сад, на идущих солдат, и все они среди корявых деревьев, сине-стеклянных наледей оказались в бестелесном свечении, испепелившем вокруг темноту, воздух, одежду, все защитные оболочки, и они карабкались по круче, голые, беззащитные, в беспощадном разящем свете. Клубы и взрывы света срывались с горы, ударяли им в головы, в глаза, превращались в слезы, страх, ужас.

– Вперед! – заорал Калмыков, но это был не приказ, а звериный рык смерти. Склон под ногами казался расплавленным стеклом. Калмыков поскользнулся, грохнулся подбородком, прикусил язык. – Вперед! – кричал он лежа, чувствуя на языке кислую кровь.

Сверху забил пулемет, наполняя лучи прожекторов невидимыми свинцовыми трассами. Световоды, наполненные пулями, гнали смерть, и сразу двое кувыркнулись, пронзенные лучами, застыли на наледи, отбрасывая тени.

Это и была смерть. Она имела образ белых кипящих светил, излучавших бестелесное свечение. Мир перед смертью был огромным черно-белым негативом, засвечивался, выцветал, превращался в ровное слепое ничто.

Группа лежала на склоне, пропуская по спинам шары света, среди корявых мятущихся теней, бурунов снега и льда. Очереди срезали суки с мерзлых яблонь, осыпали лежащих солдат. И хотелось чревом зарыться в гору, уйти в корни яблонь, стать камнем, черепком, комком земли. Калмыков, без воли, с парализованным разумом, вывалив изо рта кровавый язык, не имел сил сплюнуть кислую липкую слюну. Понимал, что случилось несчастье.

Операция провалилась, подстанция продолжала питать энергосистему Дворца. Прожектора освещали окрестность. Танкисты отбили нападение, разворачивали пушки зарытых танков и сейчас начнут истреблять «бэтэры». Зенитные позиции устояли, гвардейцы направили скорострельные установки на отступающую цепь, расстреливают ее в спину стальными сердечниками.

Ужас был неодолим. Мозг был высвечен, ослеплен на последней остановившейся мысли: это конец, смерть. Он умирает на открытой горе в чужой стране, и никто из близких в эту минуту не знает, что он погибает на ледяной горе.

– Ну что же ты, хрен тебе в рот! – Татьянашкин, трясая автоматом, навис над ним. – Поднимай людей, твою мать!..

Этот крик, унижающий его, обличающий в трусости и бессилии, вернул ему разум. В голове, в белой металлической пустоте возникла темная живая мысль: «Встать!.. Не сметь!.. Мать твою!..» Он оскорблял себя и этим оскорблением нащупывал в себе опору, не разрушенную страхом. Опирался на этот уступ, отрывался от склона, успевая заметить шершавый ствол яблони с линиялой повязанной тряпкой, слюдянистый снег с отпечатком собачьего следа. Повторял себе самому: «Не сметь!.. Мать твою!.. – и кому-то невидимому в небесах: – Спаси!.. Не убей!..»

Калмыков поднялся, чувствуя удары прожекторов, отворачиваясь от них к лежащей группе, крикнул косноязычно:

– Вперед!.. За мной!..

Боком, поскальзываясь, чувствуя ребрами вольтовы дуги прожекторов, стреляющие трубы пулеметов, пошел в гору. Солдаты поднимались, толкали на лед штурмовые лестницы, карабкались, с криком, пробитые пулями, срывались к подножию.

Он почувствовал, как кто-то рванул его за рукав, дернул за запястье. Оглянулся – никого. Пустое запястье. Пуля сорвала часы, подарок Валеха, оставила на запястье рубец от браслета.

– За мной!.. Не отставать!.. «Не убей!.. Сохрани!..»

Он достиг парапета бетонной, окружавшей Дворец балюстрады. Схватился за край. Рывком вознеся на обледенелые перила. Видел слева от себя Татьянушкина, длинного, перемахающего перила. Справа – прапорщика, усатое, с открытым ртом лицо. На этом лице что-то лопнуло, взорвалось, словно сдернули с головы приклеенную маску, и прапорщик с расплюснутым лицом упал назад на склон, исчезая в металлической белизне. Татьянушкин кувыркнулся вперед с парапета, откатился в сторону, освобождая место для хлестнувшей очереди.

И это убийство прапорщика, и промахнувшаяся, не доставшая Татьянушкина очередь, и одоление горы, и близкий освещенный портал Дворца, и стоящий перед порталом лакированный «мерседес», и выбегающий из дверей гвардеец, ведущий на бегу огонь по парапету, – все это вместе наполнило Калмыкова неведомой прежде злобой, свирепой силой и ненавистью, и он, срезая из автомата гвардейца, перевел очередь на сверкающий «мерседес», дробя обшивку, стекла, доставая спрятавшегося за машиной охранника.

– Слева!.. Прикрой!.. – Татьянушкин окрикнул его, указав на окно Дворца, пробитое изнутри пулеметным рылом. Не давая пулемету просунуться, извернулся, как баскетболист, метнул через плечо гранату, помещая в окне короткий лопнувший взрыв. – Прикрой, твою мать!..

Солдаты сыпались через парапет, разбегались веером вдоль фасада, прикрывая подступы ко Дворцу. На трассе из-за лепного угла, одолев серпантин, выскочила «бээмдэ». Развернулась на гусеницах, и на башне ее бледно, с грохотом затрепетал пулемет. Татьянушкин, длинный, в пузырящейся куртке, вытянул руку с раскрытой ладонью, с которой соскальзывала, слетала граната. Рыбкой нырнул к парапету, плюхнулся у порога, втягиваясь в двери вслед за дымным глухим разрывом. Калмыков обогнул «мерседес», хромированный радиатор, все с той же слепой неодолимой ненавистью кинулся в дымные двери.

От дверей – в сторону, вниз, кувырком, прочь от места, где только что было его тело и куда вонзилась грохочущая дробящая очередь. В броске, в кувырке успев провернуть в орбитах глаза, озирая холл Дворца.

По каменному полу, оставляя мокрый, кровавый след, полз гвардеец. Другой лежал навзничь, вцепился руками в грудь, и вся его форма, лицо, кулаки были в мелких надрезах. У столика с полевым телефоном офицер с трубкой силился что-то выкрикнуть, но глаза его, уже белые, выпученные, предсмертные, видели Татьянушкина. Тот из-за колонны сносил очередью телефон, инкрустированный столик, офицера-гвардейца. Из золоченых дверей высывались бритые головы, мелькали стволы, и над холлом, над лестницей, над фарфоровой, стоявшей на цоколе вазой висела огромная, в золоченой раме картина – сеча, наездники, вздетые сабли, клинки.

– Закупоривай их, закупоривай!.. – Татьянушкин из-за колонны бил по дверям, откалывая белые щепки, кроша золотую лепнину. На его крик снаружи вбегал спецназ. С воем, с лязгом солдаты рассеивались по холлу, били наугад, сметали вазу, дырявили картину.

– Закупоривай дверь, хрен им в рот!.. – Татьянушкин бил по створкам, лохматя их и дробя. Не давал просунуться в них стволу пулемета.

Сержант упал на колено, откинувшись, навел на дверь вороненую трубу «эрпэгэ», саданул гранату. В распавшихся, сорванных с петель дверях ахнул мутный взрыв. Сквозь дым и муть откликнулся многоголосый вой из визгов, стонов и клетотов. Орала, страдала растерзанная, иссеченная плоть.

В тесном пространстве холла, среди вспышек, стрельбы в упор, хриплых хлопков гранат, Калмыков избавился от недавних страха и ненависти, молниеносно реагировал на звук, на тень,

на металлический ствол, отзывался выстрелом, кувырком, превращался в один из визжащих, наполняющих холл клубков.

Увидел – с лестницы, со второго этажа, где мерцала, сияла хрустальная люстра, через перила свесился человек в белой, распахнутой на груди рубашке. Окунув автомат, бил сверху в холл – в головы, плечи, спины. Ахнул гранатометчик, схватился за перебитую ключицу. Повалился прапорщик, получив пулю в череп. Пули летели сверху, разбивались о каменный пол, рикошетили, наполняли пространство ломаными разящими траекториями.

– Кукушка сучья! – Татьянашкин выстрелил из-за колонны навстречу хрустальному, посылавшему пули блеску. Человек в рубашке выронил автомат, перегнулся через перила и, обращая вниз изумленное лицо, стал падать. Ударился об пол, издал хрустнувший костяной звук. Был мертв, с расколотым черепом, но ноги его в лакированных туфлях слабо шевелились.

– «Главный» на втором!.. Прикройте!.. – Татьянашкин крикнул не Калмыкову, а всему урчащему, стреляющему холлу, выдираясь из него, устремляясь по лестнице. Среди боя, путаницы траекторий и взрывов он знал свою цель, стремился к ней, взбегал по ковровым ступеням.

Калмыков отставал от него на несколько шагов и бросков, повторял с малым опозданием его прыжки и движения. Устремился вверх по лестнице.

Второй этаж. Длинный в обе стороны коридор. В удаленных торцах высокие двери. Броском от стены к стене. Ствол вперед. В левый флигель. Ударом ноги двери настежь. Они с Татьянушкиным ворвались в кабинет, высокий, с горящим плафоном. Огромный, под зеленым сукном, стол. Хрустальная старомодная чернильница. Пластмассовый набор телефонов. Кожаная папка с бумагами. Драгоценные брелоки, безделушки. На кожаном мягком диване огромный, живой, пышный кот, глазастый, злой, бьет хвостом по дивану, мяукает и хрипит.

– Здесь где-то! – Татьянашкин, дуло вперед, шарил по кабинету, рыскал за гардинами, простукивал обитые деревом стены, заглядывал под стол, пытался отодрать кожаную обивку дивана. Кот спрыгнул на пол, выгнул спину, раскрыл розовую клыкастую пасть, истошно орал. Калмыков на мгновение подумал: хозяин кабинета, услышав стрельбу, грохот подошв, обернулся котом. Протестует, хрипит, ненавидит.

– Нету!.. Дальше!.. – Татьянашкин сбил прикладом чернильницу, кинулся вон, преследуемый воем злого косматого зверя.

В коридоре крутились солдаты, стреляли, гнали кого-то вверх, получали ответные выстрелы.

Маленький краснощекий солдатик вырвал кольцо у гранаты, безумный, горячий, уцелевший в атаке, искал врага, собирался метнуть гранату.

Боковая дверь растворилась, оттуда с криком выскочили тучная растрепанная женщина с седыми волосами и девочка в коротком зеленом платьице. Солдат оглянулся на крик, выкинул руку вперед, разжимая кулак, выпуская стальной, начиненный взрывчаткой клубень. В последний миг, прозревая, разглядел старуху и девочку, запоздалым усилием мышцы сместил траекторию броска. Граната ударилась в стену, срикошетила в глубину коридора, взорвалась, разбросав по стенам осколки. Срезала девочку, та, перестав кричать, упала, и старуха накрыла ее своим рыхлым, тучным телом.

Он бежал по коридору к другой, дальней двери, где был второй кабинет и стучали пулеметные очереди, но не внутрь Дворца, а вовне, по невидимой атакующей цепи. Пока он подбегал к белым позолоченным створкам, по пулемету с дальней позиции заработала «Шилка». Ее частый ревущий грохот проник в коридор, стены Дворца завибрировали от множества буравящих кирпич сердечников. Очередь «Шилки» попала в окно, проникла в глубь кабинета, произвела в нем разрушение, в котором умолк пулемет. Там что-то хрустело и трескалось. Еще одна очередь наполнила кабинет лязгом, прорвалась сквозь белые двери. Снаряды промчались по коридору, срезав часть люстры, осыпав хрусталь на головы бегущих солдат. Калмыков отшатнулся от кабинета, где летала отточенная сталь, кинулся обратно. Невидимый вихрь снаряда

рванул воздух у лица, отсек руку краснощекому солдатику. Плотный горячий шлепок чужой крови залепил Калмыкову глаза.

– Нету!.. Сгинул, сучья пасть!.. – Татьянушкин, растерзанный, в разодранной куртке, вставляя магазин, пронесся, длинноногий, как лось, взмахом загребая с собой солдат. – Ищем подлюгу!..

Внизу в холл вламывались новые группы спецназа. Их завинчивало, возносило по лестнице, засасывало водоворотом атаки. Калмыков слышал гул башмаков, сип дыханий. Толкнул плечом ближнюю дверь, вкатился, разворачивая ствол автомата.

На кровати, продавливая мякоть одеяла, стояла босая женщина. Прижалась к стене на цыпочках, словно спасаясь от наводнения. На ее молодом лице был ужас.

У окна, у пулемета валялся гвардеец. На зеркале была красная клякса, словно о стекло разбилась птица. На туалетном столике блестели флакончики, пудреницы, цветные коробочки. Калмыков, скользя глазами по босым женским ногам с крашеными ногтями, по крагам гвардейца, по узорным флакончикам, успел спиной почувствовать приближение опасности. Развернулся, выстрелил наугад по платяному шкафу, и оттуда, из кома платьев, выпал гвардеец, держа пистолет. Рухнул на пол, умирая среди прозрачных сорочек.

Калмыков не испытывал испуга, ненависти, сострадания. Превратился в автоматическое действующее сплетение мышц, костей и суставов, в чуткость и зоркость, продираясь сквозь множество мгновенно возникавших ситуаций боя, тут же о них забывая.

Выбежал из спальни, оставляя босую, истошно кричащую женщину. Успел разглядеть длинные ноги Татьянушкина, его драную куртку, исчезающую на третьем этаже. Кинулся вслед солдатам, оглядая убитого, то ли своего, то ли чужого. Отвернулся от очереди, хватанувшей зубами стену. Оказался в длинном, в обе стороны коридоре. Коридор был в тусклой золотистой пыли, словно взрывы сдували хрупкую позолоту. В нише мерцал резной золоченый бар, подсвеченные этикетки бутылок, зеленое и коричневое стекло.

– Ищем суку! – орал Татьянушкин, вываливаясь из библиотеки, где на полках рябило от книжных корешков и что-то начинало гореть, едко, чадно. – Здесь он, сука, зарылся!..

Бок о бок, прижимаясь к стенам, пропуская мимо у самого лица трассеры и вспышки, они вломились в торцевую дверь. Ударились друг о друга плечами, протиснулись в комнату.

Мягко, красновато горел торшер. Белела разобранная, с распахнутым одеялом кровать. На столике мерцали флаконы лекарств. Свисал с потолка шелковый шнур с кистью. Рядом с кроватью, держась за спинку, стоял человек. Он был бос, в полусъехавших трусах, в сползшей шелковой майке. Его жирные плечи, мясистая грудь, толстые бугристые ноги были покрыты шерстью. На желтом отечном лице синела невыбритая щетина. Сквозь редкие синеватые волосы желтел череп. Это был он, хозяин Дворца, повелитель страны, повторенный многократно на портретах, плакатах

Это лицо, уверенное, самодовольное, смотрело со стен кабинетов, качалось над толпой демонстрантов, реяло над зданием аэропорта, на фасадах министерств и райкомов. Теперь человек, больной и несчастный, полуголый, в неопрятном белье, стоял на мохнатом ковре, и под съехавшей простыней на полу виднелась ночная ваза.

– Он! – воскликнул Татьянушкин, обернулся к Калмыкову, ища подтверждения. – Он, сука!..

Подбросил автомат и в упор, от живота, ударил в человека, наполняя пулями, рваными мускулами, перемолотыми костями жирный дряблый мешок падающего тела, из которого брызгала бледная сукровь, летели шматки сала.

Рухнувший без крика, без стога, он распадался, растекался, как студень, и Татьянушкин, разгоняя стволом автомата дым, всматривался в лежащее тело, шурился, скалился. Сплюнул, утеревшись рукавом.

Он кинул автомат на кровать. Задрал свою куртку, вытащил пистолет. Ввел. Приблизил ствол к оттопыренному уху человека.

Выстрелил, прорубив в ушной раковине липкую дыру.

– Порядок... – сказал он облегченно, устало, пряча пистолет.

В это мгновение погас свет – в спальне, в коридоре, во всем Дворце. словно пуля, пробившая голову, разрушила сокровенное генерирующее устройство, питавшее Дворец электричеством. словно Татьянашкин, убив человека, разрушил невидимую энергосистему страны.

Они стояли в темноте. В окно было видно, как горят в стороне несколько пожаров и летят, догоняя друг друга, красные трассеры.

– Успели, а то ищи его впотьмах на ощупь... – Татьянашкин засветил фонарь. Направил свет на лежащего человека. Щека с щетиной, нос с мохнатыми ноздрями, открытые блестящие, полные слез глаза, отпавшая челюсть со струйкой кровавой слюны.

– Доктор Николай Николаевич довел его до кондиции, а мы долечили! – зло сказал Татьянашкин, переводя фонарь на стену с картиной, на шнур с кистью, на потолок с лепниной. – Теперь его опознать и доложить генералу...

Калмыков почувствовал, как наполняют его огромная пустота и усталость. Сгорело дотла, улетучилось во время атаки все живое вещество, из которого состояла плоть, весь невидимый воздух, которым дышала душа, и в эту абсолютную пустоту валили, втягивались клубящиеся мутные тучи тупости и бессилия.

В темноте за окном пролетали красные угли трассеров, слабо хлопали выстрелы. А здесь, в разгромленной спальне, пахло одеколоном, пороховой гарью и парной вонью крови.

«Вот и все, что я совершил...» – подумал Калмыков отрешенно. Волосатый живот над спущенными трусами... Ночная ваза под кроватью...

Усталость наполняла пустые трубки костей, дряблые опавшие мышцы. Хотелось упасть и заснуть. Но внизу, у портала, вновь затрещали стволы, послышались визги и скрежеты. казалось, острая фреза врезалась в камень Дворца, стала погружаться в него, выпиливая желоба и протоки. И по этим каналам вверх приближается воющий вихрь атаки.

– Кто? – Татьянашкин кинулся к двери. – Какого хрена?

– Гвардейцы... – кто-то сказал в темноте. – С офицерской казармы... Опять кулаки в кровь сбивать...

Наверх со второго этажа взлетали, разбивались о потолок пульсирующие вспышки. Ахнуло снизу. Осветило на мгновение коридор, погасшие люстры, лежащего на ковре человека. Граната в желтой струе огня вонзилась в стену, ушла в нее, рванула изнутри раскаленной пылью штукатурки. Чье-то изуродованное лицо озарилось и кануло.

– Хрен возьмут!.. – Татьянашкин вжался в косяк дверей, готовый отдать свою жизнь за труп убитого им человека.

Атакующие черным валом заливали лестницу, наполняли коридор, разбегались в обе стороны, сшибаясь плоть с плотью, дуло с дулом, клинок с клинком. Рукопашная хрустела, визжала, екала, полыхала короткими, гаснущими в чьем-то теле вспышками.

Калмыков почувствовал, как надвигается на него темный дышащий клубок. Различил не лицо, не штык, а направление удара. Отстранился, пропуская мимо разящий вектор, и поперечным секущим ударом перерезал его, остановил мощный бросок. Хрустнуло сухожилие, истошный вопль, смешанный с матом, остановил Калмыкова, опускавшего на рухнувший ком автоматное дуло.

– Скоты вонючие! – прохрипел Калмыков и громко, срываясь на фальцет, заорал в темноту, навстречу ненавидящей, истребляющей силе: – Курвы! Охренели!.. Глаза залепило!.. По своим бьете!..

И этот истошный вопль остановил рукопашную. Клубки дерущихся, режущих, кусающих стали распадаться. По коридору грохотал мат, свои узнавали своих, и сквозь рык и хрип, стоны и плач недобитых Калмыков различил голос ротного. Зычно позвал:

– Грязнов, мать твою!.. Ануко мне, быстро!..

Зажег фонарь, и в метнувшийся луч, перешагивая раненых, запинаясь о трупы, вошел Грязнов, растерзанный, с закатанными рукавами, качая автомат.

– Сейчас бы тебя, суку, поставил вот здесь и кокнул! – набросился на него Калмыков в бессилии, тоске и немощи. – Пятаки у тебя в глазах или гильзы?

– Темно, командир! Ни хрена не видать!.. Подхожу, меня обстреляли!.. В холл захожу – граната!.. Думал, гвардия! Вас всех положили, а мне Дворец брать!..

– Ты, болван, второй раз его взял!.. Трупов наворочал!..

Мигали фонарики. Скользили по стенам, по лестничным перилам, по раскрытым дверям. Татьянашкин с рацией стоял у разбитого окна, где в тумане зимней ночи что-то горело и вспыхивало.

– «Кора»! «Кора»!.. Я – «Ракита»!.. Как слышите меня?... Докладываю!.. «Дуб» свален!.. «Дуб» свален!.. «Главному» конец!.. Как поняли меня?... Прием!..

Грязнов топтался рядом. Поставил ногу на край незастеленной кровати, у которой смутно белело полураздетое тело.

– Начштаба убит... Баранов сидит на танках, без потерь... Расулов ранен, яйца ему отстрелило... Казарма блокирована, без потерь... На серпантине одна «бээмдэшка» сгорела... Беляев обделался...

– Что? – не понял Калмыков. – Что Беляев?

– Обделался. Воняет от него, как из сортира... Люди без него работали...

Грязнов замолчал. Было слышно, как поскрипывает под его стопой кровать, как сипит в руках у Татьянашкина рация, выбулькивая, выплевывая чьи-то невнятные слова.

Дворец, погруженный во тьму, стонал, скрежетал, всхлипывал. На всех этажах шло копошение. Люди харкали кровью, истекали мочой, испускали последний дух, корчились в кровавых одеждах. Стоны, мольба, проклятья раздавались на разных языках – на русском, дари, фарси. Весь Дворец гудел, наполненный страданием.

Страшная усталость и тупость, отступившие во время рукопашной, навалились опять. Калмыков дотоптался до окна, где мерцали осколки стекла и влетал морозный сквозняк. Кабул вдали озарялся вспышками. В городе тлело зарево, ухали взрывы. И странная мысль:

«Неужели это я стою у разбитого окна в азиатском Дворце, на всех этажах умирают люди, те, кого я привел сюда, и те, кого я убил? Я сотворил эту ночь, эти стоны, эти красные пожары и взрывы...»

И вторая мысль, в мучительное продолжение первой: было время, когда в белой рубашечке он сидел, проснувшись, в кровати, цветок на окне был в зеленом прозрачном свете, рыбки металась в аквариуме, как разноцветные искры, янтарно светилась мамина акварель на стене, и бабушка, став на колени, натягивала ему чулки, улыбалась, щекотала, целовала его пятки, приговаривала: «Солнышко ты мое!.. Светик мой чудесный!..»

Он стоял у окна, чувствуя два потока, пролетающих в разбитом проеме. Изнутри, с запахом дыма и смерти.

Глава двадцать первая

Усталость его была велика, гнула, валила. Он был готов, не раздеваясь, упасть на разгромленную кровать и уснуть. Дать покой своим перетруженным мышцам, полуослепшим глазам, опустошенному рассудку. Но Татьянашкин позвал его к рации:

– Тебя на связь «Кора»!..

В булькающем, пиликающем эфире, где рвались и трескались бесчисленные волокна, звучал удаленный, запаянный в ночь голос генерала:

– Приказываю!.. Приказываю!.. Атакуйте офицерскую казарму!.. Офицерскую казарму!.. Ликвидируйте очаг сопротивления!.. Очаг сопротивления!.. Как поняли меня?... Прием!..

– Понял вас, понял! Ликвидировать сопротивление офицерской казармы!..

Пузырьки и бульканье рации. Шелест огромного покрывала.

– Ведь там десантура рядом!.. Флангом казарму цепляют!.. – Грязнов зло давил ногой кровать. – Пусть роту десанта пошлют, задавят казарму!.. А мы все в крови! У нас полсостава! Они нас на штурм бросают, добить хотят, что ли? Чтоб свидетелей не осталось?

Калмыков чувствовал, как велико утомление, каким тяжелым веществом налиты все его тело и даже ступни, словно многократно увеличилось земное притяжение, и трудно ворочать языком, поднимать веки, шевелить пальцами. Мысли не проворачивались в голове, напоминали коленвал в застывшем картере. Но он знал, что сейчас одолеет усталость и пойдет брать казарму.

– Я здесь остаюсь, – сказал Татьянушкин. – Мне это добро караулить.

«Добро... – вяло подумал Калмыков про голый, остывающий труп. – Какое же это добро...»

– Собирай людей, – приказал он Грязнову. – Оставь на этажах охранение. Остальным – по машинам. К казарме!

Сквозь вонь и смрад, собирая солдат, выкликая из тьмы командиров групп, сигналижая фонарями, они спустились к выходу, где стояли боевые машины, развернув по сторонам пулеметы и пушки.

– Где Беляев? – спросил Калмыков долговязого, в танковом шлеме комвзвода, хватавшего с парашюта снег. – Где твой ротный?

– Там, – лейтенант кивнул ребристой, зачехленной в шлем головой. – Зацепило его вроде осколком. Лежит, плохо пахнет... – В словах лейтенанта, прошедшего бой, было презрение к перетрусившему командиру.

– Ну и хрен с ним!.. Заводи!.. К офицерским казармам!..

Пошел к «бээмдэ», одолевая притяжение земли, прокручивая, проворачивая стальной вал в промерзшей смазке, быстрее и быстрее. Влез, взгромоздился на броню, слыша, как шлепают по металлу солдатские подошвы, начинают реветь неостывшие моторы.

Они шли колонной в шесть машин, собранных из разрозненных групп. На острой, врезанной в ягодицы кромке люка Калмыков испытывал острую неприязнь к генералу, сидящему в этот миг на уютной вилле, пославшему их после первого кровопролитного боя во второй, смертельный. Эта неприязнь к генералу, достающему из наборной каменной табакерки дорожную сигарету, это злое чувство быстро сжигало усталость, разлеталось по телу горячим звенящим звуком.

– Я – «Первый»! – командовал он. – При подходе из всех стволов! Лупим по казарме, чтоб пух и перо!..

Он увидел, как с обочины из черного стриженного кустарника поднялся гранатометчик. Навел короткую, промелькнувшую в темноте трубу. Проследил в прицел железный борт «бээмдэ». Перевел трубу на следующую колыхавшуюся машину. Дунула красная метла, короткий белый огонь впился в борт «бээмдэ», погрузился в броню. В машине чмокнуло, хрустнуло, из люка повалил красный дым, полетели частые искры, словно включили сварку.

Машина ткнулась, и другая, не успевшая отвернуть, саданула ее в корму. Включили прожектор. В белом пучке убежал гранатометчик, по-козлиному перепрыгивая рытвины.

– Огонь!.. – ревел Калмыков, направляя вслед бегущему первую неверную очередь. – Добей его, падлу!..

С машин в луч света, как внутри световода, ввинтились трассы. Находили бегущего человека, окружали его, накалывали, толкали вперед. Наколотый на спицу, он трепетал, пульсировал, а потом падал и исчезал из прозрачно-белых лучей.

– Обходи по правому борту! – командовал Калмыков, проводя колонну мимо подбитой «бээмдэ», которая продолжала гореть.

На броне под пушкой, головой вперед, лежал долговязый взводный в ребристом танковом шлеме.

У Калмыкова не было ненависти к генералу, а остервенение последних усилий.

Воспаленно светили прожектора, рассыпали вокруг снопы голубого света. Примчались к казарме и с ходу, ломая колонну, развернулись по фронту перед оградой. Ударили из пулеметов и пушек, разнося ворота, давя амбразуры, навешивая над казармой зыбкие волны пламени.

– С брони!.. В цепь!.. – сгонял он солдат. Укладывал их в снег на обочине. – Долби их!

Орудия грызли бетон, ломали ворота. Бронебойные снаряды впивались в стену, зажигательные горели в скважинах, извергая сыпучие ворохи. На дворе казармы тлела ветошь, бегали быстрые светлячки. По кровле скользило жидкое пламя.

– Прекратить огонь!.. За мной!..

Отворачивая голову от пожара, от ртутных лучей, от метущихся трасс, в сторону, в темноту, без надежды и веры, произнес: «Спаси!.. Не убей!..» Встал и кинулся в пролом ворот.

Бежал, нагоняемый тяжелым топотом. Гранатометчик, обгоняя его, поднимал трубу, готовясь влупить заряд в близкие двери казармы. Расколотые створки дверей раскрылись, и из них, шатаясь, вышел офицер, без фуражки, с белым, намотанным на кулак полотнищем. Он стоял на крыльце, шатаясь, ослепнув от прожектора. Кровь на его лице липко блестела, словно глазурь, а белая простыня спадала ему на плечо. Он шевелил полотнищем, стараясь придать ему видимость флага.

– Не стрелять!.. – проорал Калмыков. – Гранатометчик, мать твою, трубу опусти!..

За парламентаром толпились, выглядывали, опять пропадали неясные лица. Из дверей валила гарь.

– Выходи по одному! – крикнул Калмыков, надеясь, что будет понят. – По одному, без оружия!..

Вслед за первым, за его волочащейся простыней, стали выходить офицеры. Волокли на себе раненых, под руки, на спинах, в растерзанной форме, с бегущими непонимающими глазами.

Солдаты бегло охлопывали их, обыскивали, ставили на утоптаный голый двор под лучи прожекторов в неровную шербатую шеренгу. Среди офицеров Калмыков узнал знакомых командиров рот, с кем встречался на офицерских пирушках, начальника разведки, начальника гвардии, долговязого, костистого Джандата. И Валеха, чье носатое смуглое лицо было в каплях пота, морщилось, как от боли. В руке Джандата, в огромной стиснутой пятерне белела салфетка, словно штурм застал его за столом и судорога свела его костяные фаланги.

– Всем сесть! – командовал Калмыков. – Да посади их на снег, сержант! Дай им по кумполу!

Солдаты стали усаживать офицеров. Те не понимали, шарахались, а солдаты награждали их тумками, пока те не начали понимать, торопливо усаживались – нервные, живые бугорки на истоптанном снегу под лучами и пушками.

Калмыков повесил на плечо автомат, приблизился, вглядываясь в пленных. Раненые отвалились на спину и лежали. Кто-то ел с земли снег. Кто-то комкал снежок, залеплял им рану.

Когда проходил мимо начальника гвардии, тот вдруг вскочил, жилистый, костяной, сотрясаемый судорогой. Закричал, поднося ко рту салфетку, кусая ее зубами:

– Расстреляй меня!.. Расстреляй!.. Бить, мучить будут!..

Он рвал салфетку желтыми зубами, захлебывался слезами. Калмыков, глядя на его огромные костяные суставы, представлял, как Джандат смыкал свои пальцы на жирной шее Тараки.

Начальник гвардии умолк, ссутулился, сел на снег. Плечи его вздрагивали. Изгрызенная салфетка была в крови.

Когда Калмыков проходил мимо Валеха, тот поднял глаза. Горько, тоскуя, презирая, смотрел. Протянул руку. Заголил запястье, на котором поблескивали часы, подарок Калмыкова. Расстегнул ремешок и кинул часы через плечо, в снег. Они промелькнули в свете прожектора.

Калмыков посмотрел на свое пустое запястье, с которого пуля сорвала часы Валеха. В лучах света бугрился красный рубец. Их часы валялись теперь в снегу в окрестностях разгромленного Дворца. Будут ржаветь, показывать остановившееся время.

Он чувствовал опустошенность, тщету и безвременье, в которые превратилась вся его прожитая жизнь. Хотел исчезнуть прочь с этого окровавленного пустыря, озаренного жестоким искусственным светом, пропасть и не быть.

– Грязнов! – позвал он. – Строй их в колонну!.. Гони в накопитель!.. Утром разберемся!.. Пошел, запинаясь, к машинам.

Они двигались обратно ко Дворцу, уложив на днища машин своих убитых и раненых. Обогнули тлеющую подбитую «бээмдэ». Выехали на поворот, где туманился близкий Кабул и мутно горел пожар соседнего министерства обороны.

Он увидел перед собой на дороге два тяжелых красных разрыва. Гул и грохот ударили по колонне. Калмыков ощутил на лице хлопок тяжелого воздуха.

Опять проревело и шмякнуло, вспучив гору пузырей огня и разрыва. Дым от тяжелых снарядов, подсвеченный красным, клубясь, улетал в небеса.

– Водитель – реверс!.. Назад!.. Колонна, стоп!.. Рассредоточиться! Отходить за гору!.. – Калмыков находил последние силы для команд, для действий, для постижения того, что случилось.

Стреляли прямой наводкой от министерства обороны, где десантники, захватившие здание, смыкали фланг с его батальоном. Оттуда летели снаряды, дергались вспышки, били танки или самоходки десантников.

И страшная догадка: их хотят уничтожить свои. Стереть с земли, чтоб следа не осталось. Ни звука, ни слова, ни памяти. Они, взявшие штурмом Дворец, застрелившие его обитателей, совершили такое, после чего не живут. И поэтому, гоняясь за ними по свету, вылавливая по одному, посылали бесшумные пули. Их уберут с земли, сделавших презренное дело, чтоб не мешали своим знанием и видом, не свидетельствовали на судах и процессах.

Догадка была ослепительной. Она породила ярость и ненависть к тем, невидимым, в московских штабах, пославшим их убивать. Разработавшим план операции, последним звеном которой было убийство его, Калмыкова.

И, видя, как рвутся снаряды, как мерцают вспышки с туманной окраины города, он приказал операторам:

– По вспышкам огонь!.. Дави их, сук!.. Суки кровавые!.. До последнего!.. Мозги по стене!..

Боевые машины развернули башни и ударили из своих скорострельных пушек в ночь, в туман, испятнав его малыми красными нарывами, метинами взрывов.

– Я – «Кора»! – забулькала рация, и дальний, витавший в ночи голос генерала остановил его. – Что у вас происходит?... Почему ведете огонь?... Доложите обстановку!..

– Докладываю!.. Если не прекратят огонь по колонне, разворачиваю машины и двигаюсь в город!.. Дойду до посольства!.. Хоть на одной гусенице дойду!.. И раздолбаю в упор!..

С ним случилась истерика. Его бил колотун. Горло и грудь рвал кашель. Он был готов дать приказ по колонне и направить машины сквозь взрывы. Пробиться к прямой Дарульамман, к белому мраморному посольству, где укрылись мерзавцы, задумавшие его истребление. Упереться траками в асфальт и садить из пулеметов и пушек по ненавистному логову, вырубая в мраморе дымные дыры.

– Разнесу посольство к едрене фене!..

– Прекратить огонь!.. Обозначьте ракетой свой передний край!.. Огонь прекратился. Он чувствовал, как истерика, подобно кипятку,

стекает вниз, в желудок, порождая жжение, словно открывалась в желудке язва. Приказал:

– Вперед!.. Гони!.. Чтоб зацепить не успели!

Промчались по трассе, высекая из асфальта искры, развернув орудия в стороны туманных предместий. Пригибаясь к крышке люка, он чувствовал сквозь обжигающий ветер, как следят за ним далекие прицелы, движутся вслед за ним дульные отверстия тяжелых самоходных пушек.

Глава двадцать вторая

Они подкатили ко Дворцу, к сумрачному неосвещенному portalу. И первое, что увидел Калмыков, сползая с брони, был «мерседес», в который стреляли солдаты. Машина отсвечивала лаком, белым хромом, хрустальными фар, а в нее в упор стреляли из автоматов. Драли очередями, лохматили. Всаживали пули в багажник, в радиатор, кололи стекла.

– Падла вонючая!.. – тонко выкрикивал плосколицый казах, ударяя по скатам, из которых со свистом вышел воздух, и «мерседес» просел на обод. – Падла, паскуда! – взвизгивал казах, разряжая магазин в радиатор, из которого полилась жидкость.

Солдаты били ботинками в борта машины. В них клочкотала неизрасходованная ярость боя, стремление крушить, разрушать. Они мстили за раненых и убитых товарищей, срывали все свое зло на дорогом автомобиле.

– Паскуда вонючая! – вопил казах, стреляя по красным хвостовым габаритам, топя в металлическом теле машины свои ненавидящие пули.

– Отставить стрельбу, дурила! – вяло сказал Калмыков, огибая «мерседес». – Бак рванет!

Входя под своды Дворца, слышал за спиной – опять завизжал казах и ударила очередь.

В холле Дворца на каменном полу горел костер. Солдаты штыками крошили узорную дверь, кидали в огонь щепы. У колонн, мерцавших своими яшмами и сердоликами, лежали раненые – забинтованные головы, перевязанные плечи, в белых обмотках руки.

– Товарищ подполковник! – выступил из темноты ротный Баранов. – Ваше приказание выполнил. Танки противника захвачены. Потерь нет.

– Где Беляев? – Калмыков скользил глазами по лежащим, слыша вздохи и стоны, наркотическое бормотание тех, в чьей крови гуляло обезболивающее зелье.

– Легко ранен. Осколочком его чиркнуло.

Беляев лежал на животе с голой спиной, перебинтованной крест-накрест.

– Товарищ подполковник... Ваше приказание... – Он пытался встать, но Калмыков остановил его:

– Лежи!.. Жив, и слава Богу! – отошел, чувствуя исходящее от капитана зловоние.

В глубине комнаты, где размещалась охрана гвардейцев и куда не долетал свет костра, слышались стоны и всхлипы.

– Пить им дайте! – сказал Калмыков.

– Поставил ведро с водой, – ответил Баранов.

Третий раз подымался Калмыков по ступеням Дворца. Впервые – с врачом, восхищаясь красотой, позолотой. Вторично – во время недавнего штурма, в размытом беге, среди вспышек и взрывов. И теперь, в темноте, среди скользящих фонариков, по разгромленным липким ступеням.

На втором этаже, куда он взошел, светя фонарем, было громко, гулко. Луч осветил солдата, который мочился на пол, прямо на ковер. Струя переливалась в свете фонаря, солдат, облегчаясь, скалил зубы.

Кучка солдат швыряла в высокую люстру автоматные рожки, сбивала подвески. Хрусталь звенел, осыпался, как сосульки. Солдаты ловили стеклянную каплю, рассовывали по карманам, смотрели на фонари сквозь радужные грани.

– Домой привезу, под лампу в избе повешу! – радовался здоровенный парень, подняв к счастливому голубому глазу мерцающее стекло.

В библиотеке тлел вялый пожар. Несло дымом, едким запахом горелой бумаги и кожи. Пламя лизало полки, разгоралось и гасло, превращалось в зелено-синие химические язычки. Вновь распалось ветром, дующим в разбитые окна.

В кожаных креслах развалились прапорщики, пили вино. Сосали из горлышек, запрокидывая пузатые бутылки с наклейками. Их кадыки, грязные от нагара и пота, жадно шевелились и дергались. Оба были пьяны, не встали при появлении Калмыкова.

Маленький ловкий узбек, отложив гранатомет, трудился над узорной дверной ручкой, выламывая ее штык-ножом. Ручка не поддавалась, летели щепки, узбек пыхтел, сердился. Дергал узорную бронзу, напоминавшую лилию.

У дверей, в которые час назад вбегал Калмыков, вышибая гвардейцев, стояла группа солдат. Переминались, пересмеивались. Приоткрывали створки, заглядывали, светили фонариками.

– Что здесь? – спросил Калмыков.

– Не знаем! – Солдаты гасили фонари, воровато оглядывались, расходились.

Он вошел и в гулком свете среди перевернутой мебели, разгромленных шкафов, развороченных постелей услышал возню, частое жаркое дыхание.

Его фонарь осветил комья одеял и подушек, здоровенного, с голым задом солдата, лежащего на женщине. Ее голые синеватые колени были раздвинуты, голые руки разбросаны. Солдат давил ее лицо своей лохматой головой, ерзал, хрипел.

– Мразь!.. Отставить!.. Убью!.. – крикнул Калмыков, ударил солдата в обнаженную мускулистую поясницу. – Пристрелю!

Солдат оглянулся оскаленным безумным лицом. Фонарь осветил слюнявые губы, черные усики, мокрую кровавую ссадину на скуле.

– Уйди! – прохрипел солдат.

– Мразь! – орал Калмыков, ударяя из автомата в потолок, чувствуя, что сейчас наведет ствол на лохматую башку, снесет в упор череп.

Солдат, матерясь, неуклюже слез. На четвереньках, оглядываясь, хрипя от страсти и ненависти, пополз к дверям, а женщина осталась лежать, недвижимая, с большими расплывшимися грудями.

– Баранов! – Калмыков увидел входящего ротного. – Сам встань у дверей... Бабу береги... Если что, стреляй... – Потащился на третий этаж.

Он увидел солдатику, сдравшего с окна гардину. Тот дергал тяжелую ткань, она трещала, рвалась, сползала на голову солдата.

– Что ты делаешь? Зачем тебе? – беззлобно и безнадежно спросил Калмыков.

– Товарищ полковник приказал! – ответил солдат, выпутываясь из матерчатого свитка.

– Это ты, Калмыков? – Татьянушкин в своей короткой распахнутой куртке возник в снопе света. – Живой? Ну и ладно... Я приказал... В занавеску хмыря завернуть...

Он повернул в сторону свой фонарь. Пробежал лучом по разгромленному, с осколками бутылок бару. Скользнул по резной золоченой стойке. И у стойки на полу, вытянув босые ноги, в трусах и майке, лежал Амин. Одутловатое лицо свернулось набок. Темнела на губах сукровь. Стеклянно, недвижно выпучились глаза.

– Оpoznают его, и к чертям!..

Весь Дворец, от подвалов до крыш, дышал, хрустел, стонал. Был как женщина, которую насилуют. Срывают покровы, сдергивают драгоценности, бьют, заваливают, мучают непрерывной сладострастной мукой. И запах был – пота и крови. Запах бойни.

Калмыков подошел к окну, без стекол, с вырубленными кирпичами. Здесь поработали скорострельные «Шилки». Кабул вдали туманился, в нем ухали взрывы, колебались пожары.

Он, Калмыков, крохотная песчинка, малый и слабый, был выбран для жестокого деяния. Он смотрел на дело рук своих, на красные пожары в ночном азиатском городе, и Дворец стонал непрерывным задушенным стоном.

Часть четвертая

Глава двадцать третья

Вся его сознательная военная жизнь, где преобладали упорная работа, преодоление, чувство тревоги, была воплощением грубых материальных энергий, очерствлявших душу, огрублявших мысль. Но среди грубого и жестокого бытия оставался малый потаенный заповедник, в который он редко заглядывал, но знал о нем по слабому лучику света, бьющему из-под старинной, тесно прикрытой двери. Он предчувствовал: когда проживет свою жизнь, одряхлеет, ослабеет умом и телом, когда сторгят все грубые, поддающиеся тлению материи, он двинется по этому лучику света и найдет ту старинную дверь. Там откроется ему знакомая, с детства любимая комната, высокое мутноватое зеркало, буфет с голубыми чашками, и в креслице будет сидеть бабушка, поджидая его. Они усядутся рядом, возьмут друг друга за руки, станут рассказывать, как жили порознь, друг без друга. Она посмотрит на него своими чудными карими глазами и скажет: «Мое солнышко!.. Мой милый, мой милый мальчик!..»

Калмыкову казалось, он на мгновение задремал у разбитого ночного окна. Очнулся – за окном тусклое мглистое утро, белые дали, черная путаница деревьев. Комната, в которой он задремал, – разгромленная богатая спальня, скомканная кровать, золоченый шнур с кистью и засохший размазанный след от кровати к порогу.

Он услышал налетающий свист, ожидая удара и взрыва. Свист перешел в оглушительный рев, и в небе вырастающей точкой возник самолет. Накрыл Дворец камуфлированным треугольником, и Калмыков успел разглядеть красную звезду на хвосте.

Самолет ушел, невидимый, взмыл над кровлей, оставляя рубец звука. И вторая машина, вслед первой, возникла на бреющем, протыкая зимнее небо отточенным острием. Круто, задирая нос, взмыла над Дворцом. Калмыков, опираясь на обугленный подоконник, увидел пятнистый киль и красную звезду.

Первая машина, совершив петлю, стала увеличиваться из малой точки, обрушилась на город, неся ему разящий удар звука, страх разрушения, падающее, рассеченное небо.

Город после ночной смуты получил под утро беспощадные, крест-накрест удары по плоским крышам, лавкам базаров, глазурированным чашам мечетей. Жители, слыша, как в продырявленное небо хлещет жестокий металлический вой, скрылись в жилищах.

«Это я... Мое утро...» – думал Калмыков, подтягивая за ремень автомат. Переступил раздавленную стеклянную крупку очков. По высохшему грязно-ржавому следу вышел из спальни.

След вел по коридору, словно протащили мокрую швабру. Калмыков старался не наступать на высыхающую полосу, озирает утренний Дворец. Стены казались скользкими, в подтеках, в жирной копотии. Солдаты сидели, спали на полу вповалку, прижавшись друг к другу. Их лица казались синими, неживыми, в проступивших трупных пятнах.

Он шел по следу, слыша, как снаружи, над крышей выходит из пике самолет, сотрясая штукатурку стен, остатки стекол, разрушенную лепнину и люстры. Болел прокушенный распухший язык. Ныло запястье с рубцом от браслета.

Он шагал по коридору среди стреляных гильз, оброненных рожков, раздавленных хрусталей, стараясь не наступать на след, оставленный мертвым телом, из которого, пока его волочили, изливалась лимфа и кровь. Ему казалось, что теперь весь век он будет идти по этому следу мимо городов, деревень, по площадям, переулкам, вдоль храмов и памятников, к собственному порогу и дому.

Калмыков казался себе нечистым, в липком холодном жире, скопившемся во всех складках и порах усталого тела. Ему захотелось помыться, услышать плеск чистой воды. Он ткнулся в несколько комнат, где скопился слоистый, плавающий под потолком дым. Угадал туалет. Вошел, повернул узорную рукоять.

В раковине из зеленоватого мерцавшего камня была зловонная жижа. В кранах не было воды. Зеркало наполовину осыпалось, и длинные стеклянные лезвия хрустели и лопались под ногами. В ванной из того же полудрагоценного зеленоватого камня были нечистоты, валялось махровое, с кровавым пятном полотенце, женский огромный лифчик с твердыми выпуклыми кругляками. Калмыков поторопился выйти. Снаружи с ревом прошли самолеты, и прапорщик, просыпаясь, ошалело крутанул белками.

Он нашел Татьянушкина у стойки золоченого бара. Татьянушкин выглядел исхудавшим, желтолицым, с костяными впадинами глазниц, с провалами висков. Глаза белые, вываренные. Он щерился, тянул сквозь зубы воздух.

– Сейчас придут, опознают, и ко всем чертям! – быстро произнес он, увидев Калмыкова, будто повторял эту фразу всю ночь, а теперь произнес ее вслух: – Опознают, и ко всем чертям!

Он кивнул на длинный, обмотанный гардиной куль, у которого обрывался размазанный высохший след. Под тканью угадывалось лицо с подбородком и носом, живот с выпуклыми, сложенными кистями рук, ноги со ступнями и коленными чашечками. Гардина была саваном, в котором покоился труп.

– Попить сходить, снег пожевать! – Татьянушкин сосал воздух, словно в нем были водяные пары. Его нейлоновая куртка была прожжена, на животе торчала рубаша, штаны были полурасстегнуты. – Хрена они возятся с опознанием!

По лестнице поднимались, поворачивали в коридор двое в штатском, один в долгополом пальто с поднятым воротником, в котором пряталась голова с черной кольчатой бородой. Другой в клетчатой тужурке, отороченной мехом. Их сопровождали солдаты, лениво, небрежно шаркая тяжелыми крагами.

– Наконец-то, мать их!.. – проворчал Татьянушкин.

Первый, с бородой, не был знаком Калмыкову. Во втором, облаченном в куртку, Калмыков узнал афганца Азиза, того, что на вилле говорил о народном восстании.

Оба неуверенно, торопливо шли под конвоем солдат, ждали, куда их приведут, где поставят. Остановились у бара, переминались перед длинным, лежащим на полу кулем.

– Давай покажи! – приказал Татьянушкин маленькому солдатику, притулившемуся за резной золоченой стойкой. – Сейчас вам покажут тело, – обратился он к пришедшим. – Вы должны опознать его и сказать, Амин или нет!

Солдатик развертывал, сволакивал гардину, обнажая разведенные врозь босые ступни, синеватые ляжки, выпуклый простреленный живот, на котором, прикрывая дыру, скрючились пальцы рук, тяжелую запрокинутую голову с редкими волосами, лицо с тусклыми остановившимися глазами, черный рот, полный жидкого вара.

– Давайте смотрите лучше! – требовал Татьянушкин.

Оба наклонились к трупу, вглядывались в опавшие щеки, поросшие щетиной, в мертвые глаза, осматривали жирное тело, сальные, поросшие шерстью плечи, кудель волос на груди, ступни с подогнутыми пальцами, на которых желтели ногти.

Калмыков смотрел не на труп, а на тех, кто склонился над трупом. Вдруг заметил, что кольчатая борода отклеилась, и под пластырем обнаружилась бритая щека. Этот, в пальто, с фальшивой бородой, сказал:

– Амин!.. Он, Амин!..

Азиз издал гортанный, похожий на клекот звук. Стиснул кулак, ударил в воздух над лицом убитого. Заговорил, выбулькивая слова.

Пнул лежащее тело. Переходя на русский, коверкал в косноязычии слова:

– Собака!.. Мучил!.. Стрелял!.. Глаза колот!.. Огонь жег!.. Брата убил!.. Дядя убил!.. Достегир убил!.. Махмуд Дост убил!.. Сайвутдинубил!.. Сам подох, собака!..

Он пинал труп. От удара в животе лежащего раздался похожий на выдох стон.

Азиз отпрянул, умолк. Вторым, с приклеенной бородой, не отрываясь смотрел на убитого.

– Все ясно... Идите... – отсылал их Татьянаушкин. Устало смотрел в их удалявшиеся спины. – Айда, – сказал он Калмыкову. – Возьмем «бэтээр», закопаем...

Солдаты завернули тело в гардину с лохматой бахромой. В несколько рук подняли тяжелый куль, понесли по коридору.

Внизу его забросили на корму «бэтэера», и Татьянаушкин, сев на броню, упер в куль ступню, прижимая к уступам металла.

– Давай, водила, за стрельбище!

Калмыков поместился в люк, приказал: «Вперед!» Машина, огибая истрелянный «мерседес», покатила по серпантину, где слабо дымилась сожженная «бээмдэ» и снег на обочине был черный от разлитого топлива.

За стрельбищем в унылой низине, запорошенной песком и снегом, «бэтээр» стал. Два солдата по приказу Татьянаушкина начали тут же копать, отламывая от мерзлого грунта камни и щебень.

– Давай канистру! – потребовал Татьянаушкин у водителя. Мертвое тело, не разворачивая, стянули с транспортера, шмякнули

в тесную ямину.

Татьянушкин носком сапога затолкал поглубже гардину. Раскупорил канистру и аккуратно, как клумбу, полил бензином рыжую бугрящуюся ткань, хлюпающую, впитывающую топливо.

Калмыков, не вылезая из люка, сверху смотрел, как пропитывается саван и солдат, опираясь на лопату, длинно сплевывает.

– Отойди, а то поджарю! – прогнал его Татьянаушкин, чиркнув спичкой.

Сразу зачмокало, словно внутри лопались пузыри.

Труп горел жарко, чадно, как автомобильная крышка. Дым летел на транспортер, и Калмыков брезгливо отстранялся от частичек сгоравшего жира и мертвой крови. Думал: вот так исчезает жестокий восточный правитель, убитый им, Калмыковым.

Труп горел, черный, с разведенными стопами, сложенными на животе руками. В рыжем пламени белыми языками отдельно горели нос, соски, пах, ногти ног.

Калмыков оглядывался, стараясь запомнить место. Тусклые голые склоны. Дикие валуны. Далекая дымка хребта.

Быть может, в старости, прожив свою жизнь, он снова вернется, отыщет сухую рытвину, торчащий из глины валун. И тогда у безвестной могилы над горсткой обгорелых костей ему откроется смысл происшедшего, жестокость беспощадного мира, его собственные зло и вина. И мелькнет на мгновение дух восточного деспота, надменное волевое лицо, властный презрительный рот.

– Давай забрасывай! – Татьянаушкин понукал солдат, и те в две лопаты стали кидать глину на тлеющий полуобгорелый труп. Сквозь комья сочился наружу дым.

– Хорош! – сказал Татьянаушкин. – Если весной размочет, лисы и собаки сожрут...

Они выруливали, отъезжали, колотясь на ухабах. Калмыков оглянулся на дымящую рытвину.

Многие годы после смерти бабушки она являлась ему во сне. Вдруг возникала живая, улыбающаяся. Полное ощущение, что это явь – ее голос, улыбка, блеск любящих глаз, тепло ее присутствия рядом с ним. И от этого – счастливое изумление: она не умерла, но ее остывшее тело он клал на старый дедовский стол, где мерцала хрустальная чернильница, бронзовый

подсвечник, стеклянный шар с морским разноцветным чудищем. Но ее хоронили под плач и воздыхание родни. И вслед за этим – ослепительная догадка – ее смерть мнима, бабушка жива. Вот она, рядом. С ней можно говорить, целовать, слушать ее любимый голос. От этого – ликование, счастье, огромное облегчение, благодарность. Но вслед за этим – другая загадка, страшная, жестокая: это всего лишь сон, бабушки нет, она приснилась, и сновидение начинает улетучиваться, бабушка от него отлетает, тянется к нему, а ее у него отнимают, и там, где она только что была, теперь пустота, боль, знание, что он один, без нее, навеки.

Он просыпался с криком. Его слезы, его рыдания. Бабушка давно умерла, а он, уже стареющий человек, лежит один в темноте.

На обратном пути они повстречали колонну пленных. Тысячи гвардейцев, продрогших, полураздетых, с синими лицами, тянулись по обочине, шаркая, запинаясь. Их сопровождали десантники в беретах, в ремнях, поигрывая автоматами, с румяными от утреннего мороза лицами. «Бэтээр» стал, пропуская колонну, гвардейцы исподлобья взглядывали на Калмыкова, и в их глазах было одинаковое покорное, испуганное выражение, как в овечьей отаре.

Перед порталом Дворца стояли две самоходные артиллерийские установки с десантными эмблемами на пупырчатой броне. Сновали рослые длинноногие десантники. Покрикивали офицеры в голубых беретах. Властный, потный, без знаков различия офицер пожал Калмыкову руку. Татьянашкин сказал офицеру:

– Спасибо!.. Отлично работали!.. – и тут же крикнул желтоусому капитану: – Да пусть тут же в саду копают!.. Куда их еще тащить!..

В саду, розовом от зари, среди голых развесистых яблонь, перламутровых ледяных мерцаний пленные гвардейцы копали могилы. На снегу, готовые к погребению, лежали убитые. Из Дворца на брезентах вытаскивали новых убитых, переваливали через парапет и под гору по наледям сваливали к могилам.

– Все стволы – на учет! В общий трофейный список! – распоряжался седовласый десантник. И Калмыков понял, что у Дворца теперь другие хозяева. Он, Калмыков, сделал свое дело, и в нем нет нужды. Его поредевший батальон возвратился в казарму, туда же свезли убитых, а раненых на санитарных машинах отправляли в кабульский госпиталь.

Из Дворца, путаясь в дверях, появились солдаты с носилками. На них лежала убитая девочка, накрытая шубкой. Лица ее не было видно – только выбивались черные косицы с красными бантами. За носилками тяжело переваливались грузная мясистая женщина с желтым опухшим лицом и другая, молодая, та, которую Калмыков отбил у солдат.

Они прошли к фургону. Десантники втащили носилки, посадили женщин, и те скрылись в коробе железной машины.

Опять показались носилки, в них лежал врач Николай Николаевич, по грудь накрытый одеялом. Его острый нос был задран, рот приоткрыт, а захлопнутые коричневые веки были наподобие грецких орехов. Калмыков посмотрел на него, испытав знакомое, ослабленное усталостью чувство недоумения и боли.

– Едем к нам на виллу дерьмо смывать! – сказал Татьянашкин, дернув его за локоть. – Кое-кого захватим, и айда! – И пошел во Дворец, увлекая за собой Калмыкова.

Ожидая, когда вернется Татьянашкин, Калмыков уселся на ступеньки под картиной, где люди в чалмах сшибались в сече. На ступеньке осколками гранаты был оцарапан мрамор. Рядом темнел засыхающий кровавый шлепок. Мимо сновали десантники, стаскивали оружие, рулоны ковров, медные подносы и блюда. Дворец был наполнен бегом, треском, звоном стекла.

Калмыков увидел – по лестнице поднимается Квасов, дипломат из посольства, тучный, грузный, в распахнутом пальто. Колыхался его живот, жирный розовый подбородок. Он ста-

рался не наступать на рассыпанные гильзы, выбирал на ступеньках неизмызанное место. За ним следовали два молодых человека, по виду посольские, несли одинаковые кожаные сумки.

– Подполковник, доброе утро! – Квасов увидел Калмыкова, выкатил на него смеющиеся, умные, презирующие глаза. – Видно, не спали? Хорошо поработали! Когда-то здесь было красиво! – Он повел своей пухлой чистой рукой по закопченным стеклам, расколотым люстрам, истоптанному тряпью. – Проведите, подполковник, по своему хозяйству!

Калмыков, повинувшись не словам, а странному, ноющему любопытству антипатии к этому сытому цинизму, властной самоуверенности, поднялся и вслед за холеным юнцом, за посольскими добротными пальто и кожаными саквояжами направился по коридору.

– Да куда же вы! Направо! – Квасов направлял своих спутников уверенно, словно знал давно эти коридоры, кабинеты и залы.

Проследовал в библиотеку. Под потолком слоями висел коричневый дым, из которого косо свисала обгорелая, обколота люстра. В книжную полку вошел и взорвался снаряд гранатомета, и из черной лохматой дыры вяло сочился дым. Пол был усыпан обгорелыми страницами, тлеющими переплетами. Истоптанные ковры, стол, кресла запорошил сухой пепел. На этом сером пепле кровянеп брошенный бинт, желтели латунные гильзы.

– Здесь!.. Ключи!.. – командовал Квасов, принимая от спутников связку ключей. Вставил ключ в скважину невидимой, замаскированной обоями двери. Калмыков удивился – Квасов знал расположение комнат Дворца, его секреты и тайны. Имел ключи от дворцовых секретов и тайн.

Дверь раскрылась, и Калмыков вслед за Квасовым шагнул в небольшую, неярко освещенную комнату. Вдоль стен стояли металлические стеллажи и на них – аккуратные, завязанные брезентом тюки, закрытые деревянные ящики.

Квасов быстро, жадно оглядел стеллажи. Снял ближний ящик, раскрыл. Калмыков из-за жирного плеча Квасова увидел: на черной бархатной подстилке, продавливая ее, светясь нежной желтизной, лежали золотые изделия. Маленькие литые скульптуры людей, животных, фантастических птиц. Браслеты, украшенные орнаментами, с голубыми и зелеными камнями. Серьги, свитые из золотых струящихся нитей. Овны с крутыми рогами, украшавшие гребень. Волки, плотной стаей бегущие по рукояти кинжала. Изделия ювелиров были разложены в коробках и ящиках. Квасов снимал их с полок, раскрывал, и тусклая комната наполнилась нежным чистым свечением драгоценностей, руки Квасова покрылись тончайшей золотой пылью.

– Откуда? – спросил Калмыков, испытывая головокружение от обилия лучистой энергии.

Он чувствовал сладостное больное недоумение от вида совершенных изделий, которые хранились во Дворце за потаенной дверью, в то время как он, Калмыков, бежал, разбрасывал вокруг пламя, пули и кровь. Люди, штурмовавшие и оборонявшие Дворец, хрипели, харкали кровью, мочились и блевали в углах, а в это время прелестная золотая танцовщица с луновидным лицом, длиннохвостая рыба, ныряющая в волнах, остроклювая цапля, раскрывшая крылья, недвижно, беззвучно притаились в бархатной тьме. И вдруг теперь обнаружились.

– Откуда все это?

– Бактрийское золото! Тюля-Тепе!.. Мы знали, что оно во Дворце. Если вам интересно – из алтайских степей двигались три великих кушанских рода. Один растворился в Иране. Другой исчез в эфемерном царстве Александра Македонского. Третий осел здесь, в долине Гиндукуша. Таким образом сложилось великое царство Кушан. В культуре этого царства дышит Египет, Греция, дух монгольских кочевий. Это золото добыто из гробницы Тюля-Тепе. Ваши солдаты могли его украсть, уничтожить. Теперь оно не пропадет.

Квасов любовался, восхищался. Его лицо, еще недавно циничное, с брезгливо оттопыренными губами, с презирующими глазами, теперь было наивным, изумленным и нежным, в легчайших золотых отсветах.

– Сколько же крови пролилось вокруг этого золота! – говорил Квасов. – И сколько еще прольется!.. Сколько мерзости, глупости, дикости совершено и еще совершится!.. Война, политика – дерьмо, гнусь! Но мерзость пропадает бесследно, и остается чистейший осадок – эти самородки!

Он достал из кармана листок бумаги – список изделий, перечень ящиков и коробок. Стал перекладывать украшения в кожаные сумки, и лицо его было счастливым.

Золотым брызгом от золотой траектории полетела и упала на пол крохотная отливка – полуобнаженная женщина, стоящая на спине у льва. Калмыков поднял ее, держал на ладони. Тепло его руки согревало холодный металл. Лучистое свечение золотой богини проникало в его ладонь, разливалось в крови, и он пережил легкое головокружение, словно таинственное безымянное знание из древних времен коснулось его. Он унесет его в оставшуюся жизнь, а малая золотая скульптура, знавшая столько прикосновений, повидавшая столько пиров и пожаров, переносимая из огня в огонь, из кургана в курган, сохранит отпечаток его руки, неисчезающий оттиск его временной, обреченной на исчезновение жизни.

– Все мы куклы, кровавые куклы! – сказал Квасов, принимая, почти отнимая у Калмыкова скульптуру. – Вы получите свои ордена, похороните своих мертвецов, а золото переключает из одного сундука в другой!.. Что понаделали! – Он оглянулся на библиотеку, где тлели книги и кружился по ковру сухой пепел. – Уехать отсюда, из дерьма!..

Его лицо, еще недавно наивное, нежное, стало ненавидящим и брезгливым. Эта ненависть была против него, Калмыкова. Комбат, в своей грязной, потно-кровавой робе, с автоматом, с прокушенным языком и ноющей болью в запястье, ответил дипломату моментальной волной ненависти и презрения.

Глава двадцать четвертая

Бабушка умирала тяжело. Крепи, связывающие ее с жизнью, не отпускали. Склеротичные сосуды в голове сжимались, порождали бреды и ужасы. Она грезилась наяву, бормотала, выкрикивала чьи-то незнакомые, из прошлого, имена, названия железнодорожных полустанков, обрывки библейских притч.

Все это скопилось в ее огромной прожитой жизни, неизвестное ему, все, что перенесла она среди войны, революций, истреблений любимых и близких, среди бегств и гонений, всплывало теперь в ее бредах, в выпученных невидящих глазах, в костистых горячих руках, которыми она стискивала его руку. Не узнавала, принимала за другого, враждебного, мучающего ее. Кричала, билась. Он плакал, пугался, жалел ее.

В то лето она умирала в деревне на даче. Старая церковь, в которую упала молния, горела в дожде. Черная, переполненная ливнем туча. Горящая церковь. Бабушка в доме борется с несметными полчищами. И он плачет над ней.

Дворец был не его. Не он, штурмовавший палаты, был в них хозяин. Другие взяли их под охрану. Другие шныряли по коридорам, рыскали в закоулках, шарили в ящиках и шкафах. Обдирали Дворец.

Полковники в полевой форме пересыпали в брезентовые мешки пачки и ворохи денег, зеленые, розовые купюры. Торопливо прятали под полу тугие стопки банкнот. В кабинетах вскрывали письменные столы и бюро, извлекали документы и папки. Офицер, воровато оглядываясь, схватил со стола серебряную, инкрустированную лазуритом печатку, сунул в карман. В гостиных и ваннах отвинчивали узорчатые ручки, хромированные краны, откалывали от колонн полупрозрачные камни, отрывали от стен ковры и атласные обои. Он, убивший Дворец, расстрелявший бело-желтое, снежно-янтарное тело, отдал труп Дворца другим, и те слетелись на падаль, выклевывали из мертвого тела сочные ломти и лоскутья.

– Поехали! – появился Татьянушкин. – В госпиталь, проведем наших! А потом на виллу!

Они выехали в город. Кабул, обычно многолюдный и пестрый, был пуст и безлюден, с замурованными домами, забитыми окнами лавок. В тусклом небе железно гудели вертолеты, кружили жужжащую карусель, словно заворачивали над городом огромную жестяную крышку, консервировали его.

Министерство обороны было обуглено, у входа стояли десантные самоходки, патрули, синие беретами, двигались по тротуарам. На перекрестке застыл, накренив пушку, сожженный афганский танк, кругом валялось горелое промасленное тряпье. Тут же в земле зияла дыра и торчали огрызки телефонных кабелей. Людей не было видно, но жизнь, спрятавшись в хрупкую глиняную оболочку, как моллюск в раковину, наблюдала сквозь щели и скважины. Над Май-вандом, над мечетями и духанами, прошел самолет на бреющем, ударил хлыстом по Кабулу, оставил в воздухе воспаленный рубец.

Перед госпиталем стояли «бэтэры», отъезжали и подъезжали санитарные машины. Из зеленого микроавтобуса санитары вытаскивали носилки. На них, отрешенный, с голубыми невидящими глазами, лежал десантник – остроносый, стриженный. Солдат-санинструктор, следуя за носилками, нес флакон капельницы.

Они вошли в здание госпиталя. Здесь пахло карболкой, йодом, несвежей кислой одеждой, теплым запахом истерзанной плоти. Койки стояли по коридору, в палатах было битком. Повсюду шевелились, стонали, дышали воспаленно и хрипло забинтованные раненые. Воздух был насыщен общим страданием. Калмыков вдыхал это варево боли и муки, теплое, едкое, тошное.

Мимо санитары протолкали тележку. Навзничь, вверх подбородком лежал человек, голый, с дрожащим провалившимся животом, на котором кровятели тампоны. Из этих красных клочковатых тампонов, затыкавших пулевые ранения, били фонтаны боли. Лицо человека было белым, в капельках голубоватого пота. На ноге грязным комком торчал дырявый носок.

В коридоре на койке лежал обожженный. Его лицо продолжало кипеть, пузыриться, отекало липкой черной смолой. И из этого смоляного клокочущего лица смотрели остановившиеся, выпученные от боли глаза.

Навстречу из операционной пробежал санитар с эмалированным белым ведром. На дне колыхались, плескались желто-красные ошметки.

Они шагали по госпиталю. За матовыми стеклами операционных резали, кромсали, ломали, пилили, отсекали, вливали, вычерпывали, вонзали. В тусклой белизне огромного здания стоял хруст и скрежет. На дно оцинкованных ведер падали извлеченные сплюснутые пули, зазубренные осколки, выбитые зубы, щепы костей, разорванные органы простреленного человеческого тела.

Калмыков шагал, ужасаясь: «И это я натворил?... Моих рук дело? Я наломал, нарубил?...»

Все, кто корчился и страдал на койках, были брошены на покорение азиатской столицы, напоролись на ее минареты, мавзолеи, увязли в лабиринтах глинобитных кварталов, упали, сраженные, на площадях и базарах. Другие, кого миновали пули, захватили столицу, укротили ее, господствовали, навешивали над городом реактивные траектории звука, полосовали из неба режущими хлыстами.

«Это я натворил, понаделал...»

Они вошли в палату, где стояло несколько капельниц. Татьянушкин, обежав глазами раненых, нашел седовласого, коротко стриженного человека с отброшенной голой рукой, в которой торчала игла. Приблизился осторожно, склонился и нежно, тихо позвал:

– Коля, слышишь меня?

Глаза человека раскрылись. В их слезной дрожащей темноте мелькнула слабая искра.

– Коля, родной, держись!.. Это твоя третья дырка!.. Чтоб последняя, понял?!

Флакон в капельнице отражал зимнее солнце Кабула. В стеклянной колбочке сочилась прозрачная влага. Человек молчал, и в зрачках его зажигалась и гасла искра жизни. Он вздохнул и закрыл глаза.

Татьянушкин положил свою большую ладонь на влажный лоб человека, осторожно, нежно провел по седым волосам:

– Коля, держись!.. Сам тебя в Москву отвезу!.. Мы еще в Рыбинск с тобой скатаем, окуньков потаскаем!..

Осторожно, на цыпочках отошел от кровати, и лицо его было беззащитным и нежным, а глаза, минуту назад стальные и жесткие, вдруг наполнились синевой.

Калмыков обходил палаты, разыскивая Расулова. Нашел его в полутемном углу коридора на высоком хромированном ложе, среди флаконов, штативов и трубок.

Расулов лежал на приподнятом, с рычагами и винтами, одре, голый, раскинув ноги. Его пах был перебинтован, а ляжки и часть живота желтели от йода и запекшейся сукрови. Черные усы неопрятно топорщились, щеки поросли щетиной, а глаза крутились в глазницах, словно убегали от безумных видений.

Рядом сидела его подруга, розовощекая, тонколицая, держала руку на его голой груди. На ее пальце голубел перстенок, подарок Расулова.

– Командир! – Расулов увидел Калмыкова, потянулся к нему. – Все сделал, как надо, командир!.. Взял зенитки!.. Шел первый!.. Они мне хозяйство отстрелили!.. Из зениток по мне, как по самолету!.. Сделал, что мог, командир!..

Он пытался подняться, стряхивал с себя руку с голубым перстеньком, но страшная тяжесть прижимала его к одру. Он вращал глазами, топорщил усы и плакал:

– Что я буду делать теперь, командир!.. Лучше бы в башку мне попало!.. Лучше бы мозги мне выбили!.. Какая буду жить, командир!..

Он рыдал от боли, от позора, от бессилия. Сестра гладила его по бурлящей груди и беззвучно плакала.

Вся его неистовая энергия и страсть, его отвага и лихость, его песни, попойки, любовницы, – все было отбито стальным сердечником, вырвано с корнем. Осталась дыра, набитая бинтами и кровью.

– Уйди ты от меня! – гнал он сестру. – Уйди, говорю!.. Лучше дай мне яду!.. Глядеть на тебя не могу!..

Она гладила его, тихо рыдала. Калмыков перехватил его сухую горячую руку:

– Расулов, ты самый лучший мужик из всех, кого я встречал! Ты самый лучший, Расулов! Ушел, не умея утешить ротного, боясь, что и сам разрыдается.

Глава двадцать пятая

Он помнил, как бабушка целыми днями сидела в маленьком креслице, в стоптанных шлепанцах, с белой поникшей головой. Не спала, а дремала, думала бесконечную думу. Он боялся ее потревожить, тихо подходил, накрывал ей ноги пледом, смотрел, как колышется от дыхания ее кофта, как на стене над ее головой вдруг загорается бледное пятно зимнего солнца и шерстинки ковра, красные лняные маки начинают пламенеть. Она открывала глаза, вздыхала. Он спрашивал: «Бабушка, о чем ты все думаешь?» «Так, – отвечала она. – Вспоминаю. Жизнь свою вспоминаю». И опять погружалась в дремоту, уходила от него в другое пространство, где была молода, где окружали ее родные счастливые лица, синели далекие горы, стелилась раздольная степь, катилась по тракту коляска и жених сжимал ей под шалью руку.

Он старался угадать ее думу. Знал – когда-нибудь, если суждено ему дожить до старости, вот так же, слабый и дряхлый, будет сидеть в уголке. В его сонной, дремлющей голове будут тянуться и путаться непрерывные воспоминания, картины странствий, лица любимых и близ-

ких и бабушка в низеньком креслице, под ковром с красными маками, в пятне прозрачного солнца.

Они приехали на виллу. Высокая, в два роста стена. Железные вмурованные ворота. Прорезь, в которую смотрит зрачок или дуло. Рыкающая, рвущаяся на цепи собака.

Вошли во двор, где стыли заскорузлые виноградные лозы, темнело корявое безлистое дерево и стояла «тойота» – ветровое стекло было в лучистых трещинах вокруг пулевого отверстия.

На крыльце у порога была навалена обувь, грязные липкие ботинки, то ли в извести, то ли в нефти. Их хозяева, босые, в носках, содрав с себя рубахи, откинув в углы автоматы, пистолетные кобуры, сидели в гостиной вокруг низкого стола и пили водку.

Голые мускулистые спины, затылки, загривки, потные нагретые лица, груди закопченного, захватанного железа – вот что увидел Калмыков, войдя в гостиную, где собрались участники штурма, бравшие объекты в разных концах города.

– Мусульманский батальон подвалил!.. Двигай сюда, мужики! Стаканы берите! – Здоровенный детина, губастый, длинноногий, похожий на лошака, пустил их за стол, налил в стаканы водку, мокрый, глянцевитый, с прилипшей челкой на лбу. – Закусь хреновая!.. Сейчас поднесут!.. Ну, за встречу, мужики!.. Зато, что живы!..

Калмыков расстегивался, сдирал с себя грязную робу. Уселся среди полуголых горячих людей. Взял налитый стакан и ровными большими глотками выпил, чувствуя, как проливается внутрь горькая толстая струя, надеясь, что она превратится в огонь, а этот огонь выжжет, вытопит из плоти весь нагар минувшей ночи, разум, где скопились уродливые комья видений, очистится, станет пустым и стерильным.

Он выпил, не закусывая. Глядел на мокрые от водки губы, на ходящие кадыки, небритые щеки людей, желавших, как и он, смыть водкой копоть ночных пожаров.

Водка омыла пищевод, но не вызвала огня, а была уничтожена тяжелыми негорючими ядами, блуждавшими в крови.

– Давай, мужики, сами себе наливайте!.. Закусь хреновая!.. Орешки эти козьи!..

Калмыков налил себе снова до краев и выпил, булькая, вливая в себя прозрачную мерзость, ожидая, что будет ею отравлен, перестанут метаться в глазах видения горящих машин, оторванных рук, пробиваемых пулями тел. Сгинет длинный жирный труп, облитый бензином. Но водка утекла как в прорву, не вызвала опьянения, а только обострила зрение – он видел капельки пота на близком лошадином лице, грязный воротничок на рубахе Татьянушкина и вдали у стены на камине каменные пепельницы из драгоценных лазуритов и яшм.

– Я смотрю, они ходят как вареные, спят на ходу!.. Ну, думаю, маткин берег, сейчас влуплю! Прицеливаюсь и сквозь куст как шарахну! Прямо в башню!.. Как кастрюля лопнула!.. И башка у одного отлетела! Ей-Богу, отлетела, как мячик!..

– А я ищу, где колодец!.. Где-то здесь был!.. Днем видел, а ночью не видно!.. А патруль ходит, глазеет!.. Ну, думаю, хана! Не найду!.. Смотрю, да вот же он, снежком припорошен!.. Крышку ломиком – раз! Вниз спрыгнул, взрывчатку на кабель!.. Подпалили!.. Две гранаты с газом – херак!.. И пошел!.. Слышу сзади – херак, херак!.. И дым!.. Ну, думаю, порядок, всей связи хана!..

– А эти козлы, повстанцы! «Все как один придем! Готовьте для нас автоматы!»... Суки, ни один не пришел! Вот они, автоматы, нетронутые. Не хотят за свою власть умирать! Хотят власть из наших рук получить! Козлы вонючие!..

– А эти наверху, живой груз, как пальба началась, заперлись в комнатах! Ждут, чья возьмет. Догадываются, если мы дело провалим, я их перестреляю, как голубей!.. А как все сланилось, утром из посольства приехали, поздравили их, увезли. Я вижу, счастливые! Не верят, что царями стали!

– У меня в группе двоих убило! Одному глаз выбило! Да ты знаешь его, из Омска, на саксофоне играл!

– А у меня сапог пулей прошло!.. Как она прошла, не пойму! По голенищу и край подошвы отрезала!.. А нога-то цела, вот она!..

Калмыков пил водку, стакан за стаканом, вяло заедая орешками, все надеясь, что взорвется в его голове бесшумная прозрачная вспышка и в ней исчезнут черно-красные ночные пожары, глянцеви́тая наледь, по которой скользила лестница, и колонна Дворца, о которую брызнула близкая пуля.

Но видения убыстрялись, сливались с другими, о которых гудели, не слушая друг друга, непьянеющие потные люди.

– А ведь нас, мужики, укокошат! – сказал Татьянушкин, растягивая в волчьей улыбке рот, долго, длинно всасывая воздух. – Слишком много знаем, чтобы дальше жить!

Все умолкли, воспаленно задышали, оглядываясь вокруг, словно ждали: сквозь окна и двери просунутся стволы пулеметов и откроют огонь.

– Главному конец!.. – Татьянушкин длинно улыбался, барабанил ладонями по столу, так что прыгали стаканы, бутылки, кожа земляных орехов. – Главному конец!.. – Его руки колоутили по столу, выбивая дику́ю дрожь. – Главному конец!.. – Он дышал, улыбался, по-волчьи растягивал губы, и лицо его было безумным.

Все молча смотрели, как он улыбается, слушали его костяную деревянную дробь.

Снаружи взревела собака, гроыхнули ворота, послышался шорох шин. Дверь отворилась, и в холл вошел генерал. Он был строен, сух, с морщинистым, в мелких трещинах и надколах лицом. Его афганская форма из тонкого сукна была гладко выглажена. Начищенные туфли блестели. Он оглядел застолье внимательным зорким взглядом – беспорядок и грязь, комья сброшенной одежды, груды автоматов и гранат.

Люди, увидав генерала, вскочили из-за стола, принялись набрасывать на себя рубахи. Татьянушкин, в котором сорвалось с тормозов и пошло вразнос невидимое колесо, замер. На горле у него взбухла синяя жила, на скулах выдавились желваки. Он шарил по груди, отыскивая на рубахе пуговицу, и руки его ходили ходуном.

– Прошу садиться! – сказал генерал, сделав слабый взмах рукой, и Калмыков успел разглядеть его чистые подстриженные ногти.

– Поздравляю вас с успешным завершением операции. От имени командования благодарю всех!

Кто-то вытянулся по стойке «смирно». Кто-то скомканно и невнятно прохрипел: «Служим Советскому Союзу». Татьянушкин шарил трясущимися пальцами по груди, отыскивал и не находил пуговицу. Калмыков вспомнил эту руку, сжимающую цевье автомата, хватавшую канистру с бензином.

– Операция проведена на самом высоком уровне, – продолжал генерал. – Подавлены и ликвидированы очаги сопротивления при численном превосходстве противника. Безукоризненно осуществлено блокирование главного объекта. – Генерал повернулся к Калмыкову: – Уверен, эта операция сохранится в истории спецназа как классическая. Она будет изучаться, войдет в методические разработки. Сообщаю, вас вызывает на доклад в Москву министр обороны. Из первых уст хочет узнать о ходе операции. Все участники, живые, раненые и убитые, будут представлены к высоким боевым наградам!

Он умолк, устало вглядывался в лица людей, которых посылал в бой и которые, выполнив приказ, вернулись из боя. Калмыкова удивило его обращение: «Все участники, живые, раненые и убитые», словно те, кто был мертв, тоже стояли здесь по стойке «смирно» и выслушивали его поздравления.

– Я узнал, что врач Николай Николаевич погиб, – сказал генерал. – Приехал к нему за таблетками и узнал, что погиб. Жаль! – Он тронул рукой грудь в области сердца, и Калмыков

не мог угадать, был ли это жест солидарности и ему жаль погибшего доктора, или у генерала болело сердце, ему не хватало таблеток и он жалел, что не может их взять у доктора.

– Товарищ генерал, присядьте с нами! – пригласил кто-то его. – Вот здесь чисто, товарищ генерал!

– Нет, благодарю, отдыхайте! – ответил генерал, озирая беспорядок и разгром в гостиной, не желая оставаться среди этого беспорядка, мешать усталым и пьяным, выполнившим его волю людям. Прощал им грязь, вонь, неопрятную пьянку.

Повернулся и вышел. Прошуршали колеса машины.

Татьянушкин продолжал хватать пальцами неприкрытую, в красных пятнах грудь. Лицо его, бледное, невидящее, с белыми бельмами глаз, с побледневшим хрящеватым носом, было в мелких конвульсиях. Он нащупал ворот, рванул, выдирая из ткани длинный лоскут. Потянулся раскрытой пятерней к стакану, схватил и метнул в стену, рассыпая колючие брызги. Двинулся, шатаясь, к камину, схватил узорную пепельницу, шмякнул под ноги, дробя на мелкие цветные осколки. Смел с камина медные сосуды, бубенцы, литого болванчика, швырнул с грохотом на пол. Подцепил узорную резную табуретку и ударом в стену превратил ее в щепы.

Он шел по гостиной с пустыми глазами, с открытым ртом, из которого падала пена, и громил и рушил все на своем пути.

Двое бросились к нему, повисли на руках, крутили локти за спиной, а он вырывался, хрипел, двигал взбесившимися мускулами и костями, и из груди его излетали стоны и вой.

Калмыков подскочил, схватил его голову, сжал виски. Заглядывал в его белые глаза, тряс, бил по щекам, приводя в чувство:

– Перестань!.. Ну их всех!.. Перестань, тебе говорю!.. Татьянушкин приходил в себя. Конвульсии спускались сквозь шею

и грудь в трясущийся живот, в ноги, в землю, в преисподнюю, откуда вышли. Он смотрел на Калмыкова прозревшими бледно-синими глазами. Упал ему лицом на грудь, слабо всхлипывая:

– Как же мы, брат, с тобой!.. Брат ты мой, как же мы так!..

Калмыков гладил его макушку, затылок. Прижимал к себе, чувствуя щекой его быстрые теплые слезы.

Глава двадцать шестая

От бабушки в детстве он слышал рассказы о своей далекой исчезнувшей родне. Эти родовые предания волновали его, как сказки, в которых присутствовал он сам, еще не родившийся. Прадед, ямщик, разъездами по степным вольным трактам сколотил состояние, купил в городе каменный дом. Деньги, все, что имел, отдал в ссуду соседу, без расписки, под честное слово, а тот исчез.

Прадед не находил себе места, винил, что поверил на слово ненадежному человеку, разорился, пустил семью по миру. Жена видела, как мается муж, готов наложить на себя руки. Ночью запылила лампу, поставила самовар, разбудила детей, одела и привела к столу. Сказала: «Отец, все в руках Божьих. А мы и с нищенской сумой проживем». Они пили чай в ночи, дружные, любящие, готовые на совместные тяготы и лишения. Беда миновала – сосед вернул деньги.

Через три поколения, из уст в уста, передавался этот рассказ о семейном ночном чаепитии. Керосиновая лампа. Медный сияющий самовар. Бурлящий кипяток из крана. Вздыхает, дует на блюдце бородастый широколобый человек. И множество детских глаз смотрят, как он пьет чай из блюдца.

На аэродроме среди солнечных белесых холмов, сверкающих белых хребтов стоял батальон, готовый к погрузке. Ротные шеренги, бруски «бэтээров» и «бээмдэ», грузовые машины. Серые, с недвижными винтами транспорты опустили аппарели. На лицах людей, на ромбах брони был сверкающий отсвет снегов. Кабул вдалеке туманился солнечной дымкой, переливался, разноцветно мерцал.

Калмыков стоял на бетоне перед расстеленными плащ-палатками, на которых лежали убитые.

Переодетые в форму спецназа, в синих запекшихся ранах, черных синяках и ожогах, в затверделой сукрови, в зазеленелой мутнопрозрачной слизи. Их приоткрытые, с белеющими зубами рты, остекленелые, раздвинувшие веки глаза, всклокоченные волосы, сложенные на животах руки делали их незнакомыми, неузнаваемыми. Те, кого прежде знал Калмыков, помнил их голос, румянец, быстрые движения, готовность исполнить его команду, теперь лежали чужие, и на их искаженных лицах было отвращение к нему, Калмыкову.

Он шел вдоль брезентовых полотнищ, на которых лежали убитые.

Начальник штаба Файзулин поднял изумленные брови, скосил свое круглое, с проступившей щетиной лицо, словно не желал смотреть на Калмыкова, пославшего его на смерть. Калмыков вспомнил, как, вернувшись из отпуска, Файзулин, посвежевший, загорелый, рассказывал ему, как с женой и детьми собирали малину и варили варенье.

Солдат Амиров, истерзанный взрывом мины, с выбитыми глазами, был худ, изломан, одно плечо выше другого, синеватая тонкая шея вытянута, как у задушенной птицы. Калмыков вспомнил бег по осенней пустыне, обморок Амирова, его блуждающие глаза, словно в предчувствии будущего страшного взрыва.

Сержант Шарипов, и в смерти громадный, с одной рукой, лежащей на могучей груди, с ледяным колтуном слипшихся черных волос. Он казался беззащитным и о чем-то просящим, и Калмыков вспомнил перламутровое утро, голубой арык в крутящихся воронках, и Шарипов бурлил, клокотал, наполнял арык своими мускулами, розовой спиной, гулким смехом и гоголом.

Убитые – оператор, прожженный кумулятивной струей, ротный старшина, напоротившийся на короткую очередь, санинструктор, не успевший вколоть себе ампулу, погибший от болевого шока, – убитые лежали перед комбатом, показывая свои увечья и раны, винили его в своей смерти.

Он двигался вдоль плащ-палаток, беззвучно просил прощения, оставляя на «потом» свое раскаяние, свою встречу с ними в другой, предстоящей жизни.

В ротных шеренгах, готовых к погрузке, проходил досмотр. Особисты, прилетевшие с десантной дивизией, рылись в вещмешках, охлопывали солдат по бокам, выворачивали наизнанку карманы. Отбирали трофеи, захваченные из разгромленного Дворца. На фанерном щите высилась и росла горстка бус, мусульманских четок, японских часов и браслетов. Из вещмешков извлекались монетки, пластмассовые пуговицы, хрустальные подвески от люстр. Из вывернутых карманов в ловкие руки обыскивающих падали авторучки, медные безделушки, инкрустированные блюдца и пепельницы. Изымалось все, что было захвачено в выгоревших, закопченных палатах, что могло бы напоминать о бое, постепенно превращаясь в домашний хлам на потеху детям и внукам.

Особист, деловитый желтобровый майор, извлек из вещмешка фарфоровую пиалку. Лейтенант, хозяин вещи, не давал, вырывал сосуд.

– Это что, богатство какое? Да я из этой пиалки друга напоил, когда ему брюхо пробило!

– Не положено, лейтенант! Давай-ка сюда!

– Не положено? А вы там были ночью? Ни хрена не дам! – Лейтенант побледнел от бешенства, размахнулся, шмякнул пиалу о плиты, и она разлетелась в прах.

– Вы мертвых общите, майор! – Калмыков подошел, стал между лейтенантом и особистом. – Скорее кончайте свой шмон!

– Занимайтесь своим делом, комбат, – сухо сказал майор. – У каждого свои функции.

Его твердые умелые руки шарили в вещмешках и карманах, ссыпали на фанеру медяки, стекляшки, пластмассу – свидетельства, отпечатки деяний, о которых полагалось забыть.

Уже заезжала в самолет немытая техника, втянули на тросах «бээм-дэ», прожженный, с выгоревшим нутром транспортер, когда подкатила вереница санитарных машин и из них стали появляться раненые. На костылях, с поджатыми перебинтованными ногами. С повязками на головах. С подтянутыми на перевязях руками. Других несли на носилках, над которыми санинструкторы держали бутылки капельниц. В прозрачных колбах, на бинтах, на бледных, обескровленных лицах лежал все тот же чистейший отсвет белых хребтов.

Появились носилки с Расуловым. Похудевший, обросший, с бегающими глазами, он лежал под толстым одеялом. Рядом шла медсестра, несла над ним стеклянный, наполненный солнцем флакон. Калмыков углядел на ее протянутой руке серебряный перстенок с синей каменной каплей.

– Ты мне дай свой адрес, – просила она. – Буду тебе писать.

– Нету адреса!.. Не пиши!.. Забудь!..

– Я ведь тебя люблю!.. Приеду к тебе!..

– Некуда приезжать!.. Забудь!.. Командир! – простонал он, увидев Калмыкова. – Пусть меня заносят на борт!.. К черту все!.. Надоело!..

Баранов, Грязнов и Беляев, прихрамывающий, страдающий от раны, грузили на борт личный состав. Калмыков летел вместе с ранеными до Ташкента, где ждал его другой самолет, в Москву, на доклад министру.

Он поднялся внутрь фюзеляжа. Там было сумрачно, желтела направляющая балка с лебедкой, светил сигнальный фонарь. Среди груды коробок, распухших чемоданов, упакованных ковров он увидел человека, не сразу узнав в нем Квасова.

Дипломат сидел среди своего багажа, тучный, в добротном пальто с бобровым воротником, насмешливо смотрел на Калмыкова, переступающего по клепаному полу.

– Ну вот, опять мы встретились, товарищ подполковник! Сделали каждый свое и смываемся, следы заметаем!.. О чем знаем, будем молчать, не так ли?

Он рассматривал Калмыкова, положив пухлую руку на кожаный чемодан, был ироничен, с барственным превосходством. Увозил в чемоданах благоприобретенное достояние, подарки жене и детям, тайные сувениры любовницам, вина, ковры, драгоценности, хромированные магнитофоны. Его не коснулась ищущая рука майора-особиста. Он был из тех, неприкасаемых, кто вечно прав и богат, знает тайные пружины политики, невидимые механизмы жизни, толкавшие его, Калмыкова, на штурм дворцов и казарм, окунавшие людей в копоть и кровь, бросавшие их на операционные столы и носилки.

– Вы подвиньте, пожалуйста, вещи. Здесь положат носилки с ранеными, – сказал он, не глядя на Квасова.

– Как я подвину! Они аккуратно уложены. Там стекло, хрусталь!

– Хрусталь?... А кости людские – не хрусталь?... А трупы не аккуратно уложены?...

Калмыков чувствовал, как слепое жгучее бешенство застилает глаза. Он ненавидит, готов застрелить этого сытого, в бобровом воротнике, человека.

– Валите к черту!.. Слышите!.. Вон!.. Башку продырявлю!..

– Да вы что! – защищался от его ненависти Квасов. – Не имеете права!.. Ответите!.. Я по личному распоряжению посла!..

– К едрене фене!.. Прапорщик! – крикнул Калмыков. – Выкинь это дерьмо с чемоданами!.. Чтоб духу не было!..

Прапорщик, кивнув солдатам, не слушая вопли Квасова, вытаскивал чемоданы и ящики, ковры и коробки с посудой, выкидывал их из кормы самолета на бетонные плиты.

– Ответите!.. Озверели от крови!.. Докладную послу!..

Квасов сбежал с самолета. Калмыков с наслаждением слушал хруст разбиваемого о плиты стекла, визг и хрип дипломата. И уже вносили на борт носилки, клали на пол раненых, и бутыл над головой Расулова роняла в трубку прозрачные капли.

Впервые страх смерти он испытал не за себя, а за бабушку. Это было в детстве, когда вдруг показалось, что бабушка, дремлющая в пятне зимнего желтого солнца, больше никогда не проснется и он останется один в опустевшем, враждебном мире с серым дымом из красной, кирпичной трубы, с обледелым деревом за морозным окном. Этот страх, однажды возникнув, не исчезал никогда. Бабушка жила долго, дожила до его возмужания, но боязнь ее потерять не отступала, лишь меняла свои проявления. Это неотступное, бессознательное чувство воспитывало его веру в этику. Постоянное ожидание ее смерти превращалось в непрерывную молитву о продлении ее дней, и эта молитва была главным содержанием его детских переживаний. Когда бабушка умерла, молитва продолжалась. Он молился, чтобы там, куда она перешла, жизнь ее продолжалась и смерть ее пощадила.

Самолет звенел и дрожал, двигался по бетонному полю. Калмыков прижался лицом к иллюминатору. Из неба, из синевы возникали военные транспорты, снижались, касались земли, выбивали клубы резиновой гари, удалялись, вращая пропеллерами. Другие самолеты на дальнем краю аэродрома стояли под разгрузкой, из них вылезали зеленые фургоны, гусеничные транспортеры, тяжелые самоходки. Солдаты вытаскивали зарядные ящики, амуницию. Штурмовые вертолеты парами взмывали и уплывали в сторону гор. По краю аэродрома катили «бэтээры», разворачивались «боевые машины пехоты».

Калмыков смотрел в иллюминатор, готовый покинуть Кабул, и навстречу ему двигалась война, вливалась железом и гарью в солнечные предгорья. Повсюду блестел металл, вспыхивала вороненая сталь.

Он чувствовал, как в невидимый раструб вливалась война. Наполняла собой чашу кабульского аэродрома. Будет копиться, полниться, переливать через край, затопит кишлаки и долины, просочится по арыкам в засушливые степи. Он, Калмыков, соорудил этот раструб, эту пуповину войны. Он был тем, кто первый привел войну в эти земли.

Самолет разгонялся, взлетал. Качнулись, прижались друг к другу сидящие на железных лавках солдаты. Застонали беззвучно раненые, пропуская сквозь раны вибрацию фюзеляжа. Калмыков смотрел на мелькавшую землю, на которой его батальон оставил метины пуль, следы крови и пороха. Незавершенное военное дело, оставляя его завершение идущим на смену.

Самолет шевелил в синеве закрылками, покачивался с крыла на крыло, медленно возносился среди тесных глазурованных склонов, на которых застыли завитки снежных буранов, серебрились уснувшие метели. Земля, удаленная, в клетчатых кишлаках и полях, туманилась в огромной прозрачной линзе. Кабул казался картой в чешуйках и царапинах, в графике предместий и районов. И вдруг с высоты, вознесенный в синюю бесконечность, он увидел Дворец, бело-желтую каплю на сверкающих снегах. Голова закружилась от необъятной прозрачной глубины, на дне которой находился Дворец. Там, перед Дворцом, еще оставался на снегу след его башмака, ствол старой яблони, который он задел на бегу, лежали на ступеньках горстки смятых стреляных гильз.

Ему показалось, что он спит и это сон. Жизнь его прожита, и он в старости, в немощи, вспоминает этот город, и в тумане снежного солнца – видение Дворца.

Самолет повернул, и видение исчезло. Медленно текли за окном близкие пики хребта, и на них спиралями и свитками, как свернувшиеся пушные звери, лежали снега.

У него вдруг померкло в глазах, упало сердце. Ему показалось, что сейчас самолет взорвется. Где-то здесь, в упругих шпангоутах, заложен заряд. Стрелка часов приближает мгновение взрыва. Самолет расколется, и все они высыплются в обжигающий разреженный воздух, просыплются, как личинки, на снежные пики хребта. Самолет, обладающий грозной тайной, будет взорван, чтобы тайна навеки вмерзла в недоступный высотный ледник.

Ужас длился мгновение. Самолет мерно гудел, перекачивал по своему металлическому длинному телу плавные волны вибрации.

Он подошел к Расулову. Ротный дремал на своем брезенте, закрыв глаза. Резиновая трубка струйкой вилась над обнаженной рукой. В капельнице дрожала солнечная хрупкая капля. Калмыков положил ладонь на лоб Расулова. Лоб был влажный. Расулов, не открывая глаз, благодарно шевельнул губами. Некоторое время Калмыков держал ладонь на лбу Расулова, и они, соединенные вибрацией самолета, влажным дышащим теплом, пролетали над белыми вершинами.

Солдаты, сменившие афганскую серую форму на свою, зеленую, сидели на лавках, и по их лицам скользил едва различимый, слабый свет ледников. Калмыков вспомнил, как совсем недавно они летели в обратном направлении, огромная луна приближалась из черных пространств, и казалось, батальон летит на Луну.

Теперь они возвращались из космоса, ободренные о другие планеты, иссеченные жесткой радиацией, истратив на этот полет свои жизненные силы, земное, отведенное для жизни время. Вернутся на землю и найдут там другое тысячелетие, других обитателей, забывших о них, для которых они чужды и не нужны.

Ротный спал на брезенте, слабо шевелил губами под колючими усами. Калмыков наклонился, поцеловал его в лоб.

В Ташкенте он обеспечил погрузку раненых в санитарные машины. Роза, гадалка в черно-красном цветастом платке, шла за носилками Расулова, целовала его и плакала.

Машина перевезла Калмыкова на гражданский аэродром, где его поджидал белый нарядный лайнер, улетающий в Москву. Опаздывая, последним он поднялся по трапу, занял свое место в салоне.

Люди кругом старательно пристегивались ремнями. От женщины рядом с ним тонко и сладко пахло духами. Другая женщина, узбечка, в переливах разноцветного шелка, держала на руках ребенка. Черноглазый мальчик тянулся к Калмыкову, сжимал и разжимал кулачки, и Калмыков слегка отстранился от этих крохотных, с розовыми ногтями пальцев.

Люди кругом не знали о нем. Не знали, что он недавно стрелял, убивал, пробегал по кровавой луже, на руке его взбух сине-желтый рубец, а прокушенный во время атаки язык болит и ноет.

Он отстранился от ребенка, чтобы тот не коснулся его скверны, его болезни, не заразился от него.

Он дремал, проносясь в небесах по огромной плавной дуге.

Глава двадцать седьмая

После дневных хлопот, когда их дом затихал и мама засыпала, а он сквозь желтую горящую шелку заглядывал в соседнюю комнату, он видел: бабушка в белой ночной рубаше, в кружевном чепце лежит на кровати, держит в свете лампы маленькую книгу Евангелия. Образ золотится, медная пряжка тускло желтеет.

Бабушка вздыхала, клала книгу на грудь, лицо ее было задумчивым и мечтательным. Ее мысли витали вдалеке от тесной московской комнаты, в других землях, где в старинный город на белой ослице въезжает Христос. Толпа ликует, стелет на землю ковры, усыпает его путь цветами.

Эти евангельские рассказы и притчи он слышал от бабушки в детстве. Они не были просто сказаниями, служили не развлечению, а являлись историями ее собственной жизни, где совершалось нечто важное, глубокое и поучительное.

Премудрость слов и поступков тех давнишних людей служила для бабушки уроком и назиданием. Она постоянно училась, постоянно сравнивала свою жизнь с поведением тех людей.

На всю жизнь он сохранил убеждение, что существуют правила, по которым надлежит поступать, и эти правила записаны в книгу с золотым обрезом. Бабушка поступала по этим правилам, и кто-то невидимый, написавший книгу, был доволен бабушкой. К нему, невидимому, поднимала она глаза, лежа на деревянной, с витыми спинками, кровати в час московской полуночи.

Москва была в снегу, в скрипах, шелестах, в облаках бело-розового пара, в новогодних игрушках и елках. Он шел по улицам, наслаждаясь зимним, родным, с детства любимым городом, который принял его в свой январский мороз, не спрашивая, не ведая, откуда он вернулся.

Румяное московское небо. Синий, весь в инее троллейбус. Закутанная в шарф краснощекая красавица. Московская в теплых ботах старушка. Облупленная церковь. Темный памятник с белой снежной подушкой на голове. Заиндевелая в узорах витрина, где мигает зеленая елочка. Он шел в толпе, толкаемый, незамеченный, любил этот московский люд, одинаковый во все времена, и казалось, где-то рядом, в переулке, семенит бабушка, несет кошелку с хлебом, и он сам со школьным портфельчиком скользит с разбега по черному длинному накату, догоняет товарища в растерзанном пальто и ушанке.

Он пришел на прием к министру. Тот встал из-за стола, прошагал к нему по паркету, крепко пожал руку и усадил за маленький столик, на котором, выточенная из драгоценных сплавов, стояла модель подводной лодки. Им принесли чай в хрустальных стаканах и серебряных подстаканниках. Министр выслушал его доклад о проведенной операции, о деталях штурма, о потерях и пленных.

– В Чехословакии мы действовали крупными силами и не встретили сопротивления. В Кабуле сопротивление могло быть огромным, кровь могла быть большой, но вы справились с очень трудной задачей, отделались малой кровью. Ваши действия были профессиональны и свидетельствуют о высокой степени выучки.

Зазвонил телефон, один из многих, белых, черных и красных, с государственными гербами на дисках. Министр встал, снял трубку, выслушал терпеливо рокочущую мембрану. Негромко ответил:

– Пусть они дойдут до Кандагара в место дислокации. Месяц перетерпят в палатках, а потом мы им построим городки, прорубим скважины, и будут по асфальту кататься.

Министр закончил разговор и вернулся за столик.

– Мы вынуждены были взять под контроль процесс в Афганистане. События развивались не в нашу пользу, грозили нашему южному флангу. Могли отрицательно сказаться на ситуации в республиках Средней Азии.

На стене кабинета висела огромная карта мира с голубыми океанами, желто-коричневыми горами и плоскогорьями, зелеными долинами великих рек. Легкий пар поднимался над хрустальными стаканами.

Министр, старый, усталый, испытывавший огромную тяжесть государственных забот, непомерный груз обороны, угрюмое давление мировых соперников, двигавших по континентам сухопутные армии, толкавших в морях корабли и подводные лодки, подымавших в небо армады самолетов, – министр смотрел на Калмыкова слезящимися стариковскими глазами и говорил:

– Благодарю за службу. Отправляйтесь в отпуск, куда-нибудь в хорошее место, где есть баня, бассейн. Отдохните, отдышитесь. Я подписал вам наградной лист на высшую награду Родины. Еще раз спасибо за службу!

– Служу Советскому Союзу! – ответил Калмыков, вставая, вытягиваясь, чувствуя, как болит воспаленный прокушенный язык.

Министр проводил его до дубовых дверей, и вслед уже звонил телефон с государственным гербом на диске.

Бабушка, ее любовь, ее нежность, непрерывные хлопоты и заботы окружали его, как воздух и свет. Ее предприимчивость, страсть, разумение были опорой их маленького хрупкого мира, в который она вносила порядок, благополучие и добро.

Бабушкина любовь – вот что создало его, уберегло от множества бед и жестокостей, поместило в защитную, останавливающую зло оболочку, в которой созревала душа.

Сколько он ни помнил себя, куда бы ни увлекала его память, везде была бабушка, ее любимое лицо, ее умиленный голос: «Мальчик, мой милый мальчик!...»

Вот она тянет его санки по морозной солнечно-желтой улице. Трамвайные рельсы блесят. Солнце – как желток на обшарпанном старом фасаде. Бабушка замерзает, охает, тихо стонет, но везет его по бесснежным скрипучим булыжникам, вдоль блестящего рельса, и он за все ей так благодарен.

Вот она бинтует ему разрезанный палец. Дует на рану, приговаривает, охает, отвлекает от боли. Сквозь слезы, пугаясь крови, задыхаясь от ожога йодной капли, он видит ее близкую седую голову, ловкие хлопотливые руки, ему легче, спокойней, боль отступает.

Бабушка дремлет на клетчатом пледе в тени огромного дуба, в полупрозрачной тени, среди летающих разноцветных мушек. Он сторожит ее сон, зеленой веткой отгоняет насекомых, и у самой ее головы под краешком пледа – смятый синий цветочек.

Когда она умерла и он остался один, тот охранный покров, в который она его облекла, продолжал защищать от зла и несчастья. Меньше зла исходило от него к другим, меньше зла доставалось ему самому. Внезапно, в ночи, в пробуждении звучал ее голос: «Мальчик, мой милый мальчик!...» Она была здесь, рядом, он видел, любил ее чудное родное лицо.

Он лежал в темной комнате со смугло-золотистыми, проступавшими сквозь сумрак предметами.

За морозным окном на бульваре, наполняя разводы стекла цветным мерцанием, мигала елка, заиндевелая, в шарах и хлопушках, окруженная каруселью огней.

Все было так, как она, его желанная, говорила. Зима, чугунная решетка бульвара, снег на черных деревьях, ночная новогодняя ель. Все, как она обещала в те осенние неправдоподобные дни, когда на картинах музея в топоте, пляске мчался по траве хоровод, девочка балансировала на кожаном шаре, паслась вдалеке туманно-белая лошадь, и они пришли в ее дом, его поразил тонкий запах духов, исходящий от ее подушки, она говорила о чем-то чудесном, и он дремал, улыбаясь, чувствуя на груди ее губы.

Теперь он лежал в той же комнате, и ему казалось, что все это было не с ним – осенний хоровод, балерина на шаре, – а с кем-то другим, жившим прежде него, а он лишь слышал об этом от кого-то иного, исчезнувшего. Он же, недвижимый, с окаменевшими мускулами, остановленной мыслью, неясно чувствовал, как скользят ее руки по его каменной недышащей груди, слушал, не понимая, ее причитания.

– Где же ты был все это время? Не написал, не позвонил!.. Что с тобой стало? Что они с тобой понаделали!..

Она наклонилась над ним, белея плечом, растирала ему грудь ладонями, вглядывалась в него. А он не понимал, не слушал ее. Он был, как статуя, твердый, недышащий, с окаменелым сердцем, свернувшейся кровью, остановившимся, как кристаллический лед, дыханием.

– Ты так внезапно уехал!.. Где ты был?... Ты видел что-то ужасное? Сделал что-то ужасное?... Но теперь ты будешь со мной? Я тебя отопрею, оживлю, только оставайся со мной!..

Горячая капля упала ему на грудь, как на холодную плиту. И там, где она упала, плоть его ожила, грудь задышала, и медленная волна вернувшейся жизни прокатилась по телу. В этой волне вернувшейся жизни зазвучали глубинные звуки, слышались гулы и рокоты, словно угрюмая музыка бездонных глубин. И в этой музыке, похожей на обвалы лавин, падение хребтов, хлопанье потоков и ливней, возникали видения.

Ночной синеватый снег, ртутные вспышки прожектора, и солдат задевает за яблоню слегой от штурмовой лестницы.

Горит и дымится броня, из люка медленно возникает лицо, кровавое месиво, и в нем пузырится и дышит рот с обрывками губ.

Тусклый свод коридора, бегущий с автоматом солдат, и длинный разящий огонь впиивается в руку солдата, отрывает ее и уносит.

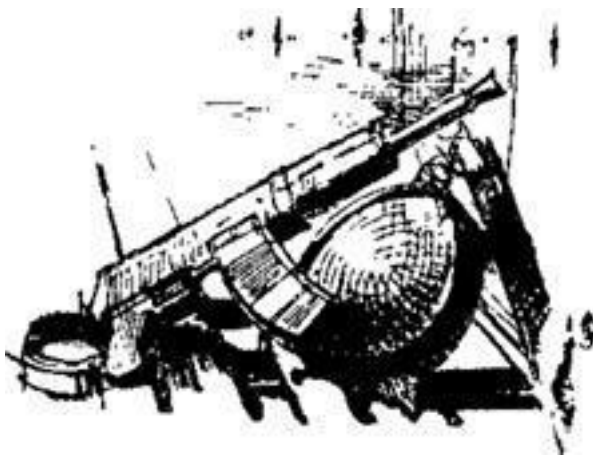
Дубовые створки дверей, узорная рогатая ручка. Полуголый в дверях человек, и в его волосатую грудь, в жирные обвислые плечи впииваются острые очереди.

Плещет из канистры бензин. Бугры и комья под тканью. Зловонный чадный огонь, и в открывшейся сквозь ткань голове, из горящих глаз и ушей тонкое белое пламя.

Он лежит на спине, вспоминая, обреченный на жизнь и на память среди гулов и рокотов мира, где двигались материки, лопалась земная кора, выгибалось дно океанов. И над гибнущим миром, как последнее видение Вселенной, среди гаснущих звезд и светил, парил Дворец. Бело-желтый, стройный, окруженный лучами, в неземной красоте и величии.

Он тянулся на это видение. Женщина над ним рыдала.

1994 г.



СОН О КАБУЛЕ

роман

Часть первая

Глава первая

Генерал внешней разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев сидел среди зимнего солнца в московском домашнем кабинете. Смотрел на коллекцию бабочек, собранную им за годы поездок в джунгли, саванны и сельвы. Военные действия, бомбардировки, рейды диверсионных групп совершались среди несметного сонмища легкокрылых разноцветных существ, пропускавших сквозь себя пыльные колонны броневиков, утомленные цепи «командос», пикирующие вертолеты. Разведчик, охотник за знаниями, улущая мгновения, он становился охотником за крылатым восхитительным дивом. Выхватывал сачком из горячего африканского воздуха алую нимфалиду, слыша, как слабо шелестят ее крылья в прозрачной кисее. Мимо, по горчичной ядовитой пыли, проходил изможденный чернолицый отряд, и солдат-анголец с изумлением смотрел на ловца.

Отряды, с которыми он воевал в Америке, Африке, Азии, были давно разбиты. Операции, которые он разрабатывал, оказались бессмысленны. Режимы, которым он помогал, канули в вечность. Советская разведка вместе с огромной страной, казавшейся непобедимой и вечной, превратилась в пыль, в «бросовую агентуру», в гниющие остатки разложившихся бессильных структур, с которыми он не желал иметь дело. От великих доктрин и деяний, от прославленных армий и океанских флотов, от всесильной красной империи, которой он страстно служил, осталась огромная, во всю стену коллекция бабочек. Ряды застекленных коробок, в которых, как солдаты с тонкими остриями, маршировали бессчетные батальоны бабочек, каждая из которых была разноцветной страничкой его походного дневника. Тончайшими письменами на цветных чешуйках, среди серебристых прожилок, золотых и малиновых пятен были записаны боевые эпизоды, имена агентов, лица дипломатов и военных, многих из которых убили. Коллекция была огромной летописью прожитой жизни со множеством драгоценных узорных букв. Напоминала многоцветный лоскутный плащ, в который была укутана его жизнь.

Он смотрел на свое богатство. Останавливал зрачки на махаонах, сатирах, лунных сатурниях, и за каждой бабочкой открывался крохотный, расширяющийся ход в иное пространство и время. Он нырял в него, как в сказочный кипящий котел, погружал свое старое тело, выныривал молодым и свежим.

Он остановил свои бегающие, одурманенные чудесными зрелищами зрачки на песчано-серой, с острыми кромками нимфалиде, пойманной в южной Анголе, в партизанском лагере СВАПО. Второй экземпляр был наколот тут же, тыльной стороной наружу. Напоминал ритуальную маску бушменов, раскрашенную красными и синими глинами, соком зеленых растений, с наведенными белилами и пятнами угольной сажи. Серебристой металлической пудрой были нанесены магические знаки и символы. Орнамент крыльев был похож на татуировку воинов, которые с колчаном и стрелами, голые, на избитых ногах, выходили на обочины пыльных проселков. Смотрели трахомными глазами, как пробираются помятые джипы с солдатами, зенитная установка трясется в кузове пятнистой «тойоты», переваливается в колее уродливый, похожий на костяную черепаху броневик.

Он поймал этих бабочек в партизанском лагере, откуда уходили боевые группы в Намибию взрывать водоводы, ведущие к кимберлитовым трубкам, высоковольтные мачты, питающие кимберлитовые трубы. Расцветка и рисунок бабочки тайным образом воспроизводили песчаные цвета Калахари, подземное залегание руд, глубинные линзы воды. Бабочка была крохотным атласом Намибии, географической картой, нарисованной безымянным географом. Самолеты ЮАР, воюющие, в блеске винтов, «импалы» и «канберры», бомбили лагерь. Гремели взрывы, с хрустом валялись деревья, стреляли зенитки, кричал с оторванной рукой партизан. Белосельцев, падая в красный песок, видел, как в редких вершинах проносятся штурмовик, сверкают стеклянно винты, трепещет огонек пулемета. Вблизи дымилась воронка, сочилась ядовитая химия взрыва. И на это зловонье, на отраву пироксилина, слетались бабочки. Падали в жаркую ямину, пропитанную дымом и смрадом. Пьянели от запахов, замирали, словно пронизывались радиацией, таинственным пьянящим наркозом. Белосельцев, слыша удалявшуюся стрельбу, склонился к воронке, к горячему дымному кратеру, из которого поднимались запахи древних земных составов, духи молодой горячей земли, сернистые испарения взрыва. Бабочки, сотворенные в первобытное время, в ранние дни творения, летели к воронкам, управляемые реликтовой памятью, вкушали сладость газов, воздух юной планеты. Он брал их руками, как крохотные, отлитые в тигле слитки.

Теперь в своем зимнем московском кабинете он смотрел на бабочку остекленелыми зрачками, запаянными в прозрачное остановившееся прошлое. Это галлюциногенное созерцание прекращало движение времени, прерывало неумолимый ход событий, увенчанных катастрофой, сделавшей бессмысленной его жизнь. Логика его поступков, бесчисленные разведывательные комбинации, неисчислимы траты были направлены на процветание Родины, на укрепление ее сил, становление могущества. На осмысленное служение великому и правому делу. Теперь же, после катастрофы, превратившей страну в руины, ее идеи и символы – в отребья, ее вождей и адептов – в жалкое скопище проигравших бездарей и бессовестных лихоимцев, все прежние его устремления, все повороты его судьбы и карьеры утратили смысл и вектор. Стали бессмысленным броуновским движением безвольной песчинки, толкаемой бессчетными, не имеющими объяснения столкновениями. В созерцании бабочек он был готов провести все оставшиеся, уже немногие годы, заслоняясь этим витражом от гнусного, не принадлежащего ему бытия, в котором ему, пенсионеру разведки, гарантировано прозябание, скудный, позволяющий выжить паек и множество нескончаемых пыток, стоит включить телевизор и увидеть в стеклянной колбе, среди синего веселящего газа, личины палачей и мучителей.

Каждая коробка с плотно размещенными бабочками напоминала всесвятскую икону, где тесно, рядами, застыло строгое недвижимое толпище святых, пророков, крылатых ангелов, венценосных воинов, толкователей божественных истин, мучеников за веру, благодатных устроителей храмов. Их долгополые одежды, разноцветные плащи, их доспехи и рясы, их крылья, короны и нимбы кидали в ее зрачки тончайшие цветные лучи. Его созерцание бабочек было безмолвной молитвой к Творцу, создавшему всякую тварь, сотворившему и разрушавшему царства, каравшему и награждавшему всякую душу. Душу его, Белосельцева. Бессловесно, не мыслью, а кристалликами глаз он вопрошал Творца, в чем его вина и ошибка. В чем его грех, повлекший за собой несчастья страны. Как, в служении чему надлежит провести последние недолгие дни, чтобы искупить этот грех. Но бабочки, укутавшись в плащи, облекшись в доспехи, молчали. Посылали в зрачок крохотные цветные лучи, словно в каждой, окруженной нимбом голове был помещен невидимый лазер, писал на сетчатке глаза неведомые письмена.

Он снова подвинул взгляд, пробегая среди драгоценных коробок, где каждая бабочка напоминала геральдику рыцарских родов и фамилий. Задержался на золотисто-медовой данатиде, с черным ожерельем пятен, с жемчужно-белой чередой похожих на капли вкраплений. И сладко, мучительно замер. От бабочки, от ее тонких пластин прянуло отражение минувших

дней. Он почувствовал лицом дуновение слабого ветра. Он поймал данаиду в Джелалабаде, среди кустов благоухающих роз, в свой первый приезд в Афганистан. Ветер, что коснулся его лица, был душистым воздухом, наполнявшим райский сад, в котором, как ангел, летала прозрачная бабочка. Это воспоминание породило мгновенную цепь зрелищ и лиц, из которых, как из бестелесных молекул памяти, воссоздался мир, где он, молодой разведчик, обретал драгоценное знание. О Востоке. О войне. О смерти. О таинстве любви. О вероломстве. О бесценном загадочном даре, имя которому жизнь, куда на краткий миг, как в прозрачную пленку света, залетает из сумрака человечья душа. Пребывает в страстях, уладах и муках. Не успевает понять этот светлый дар, перед тем как вернуться во тьму.

Ему, изнуренному, ослабевшему во всех костях и суставах, с погасшим зрением, с омертвлением чувств, вдруг захотелось, пусть перед смертью, на одно лишь мгновение, оказаться в том сухом, солнечно-желтом пространстве, под синевой азиатского неба. Пройти вдоль белевой глинобитной стены, по которой скользит его легкая тень. Вдохнуть сладкий дым горящей душистой сосны. Увидеть над дувалом висящую деревянную клетку с малой лазурной птичкой. Проследить скольжение шелковой паранджи, под которой вьется недоступное прелестное тело, мелькает маленькая смуглая пятка. На краю кишлака, где течет стеклянно-зеленый арык, увидеть вечерние горы, розовые, с голубым ледником. Горы Центральной Азии, от которых откатилась разгромленная империя русских.

Он смотрел на бабочку, на ее хрупкие песчано-желтые лепестки. Они сближались, как тончайшие клеммы, готовые замкнуть распавшееся время, вернуть ему звуки, цвета и запахи. Он чувствовал приближение бесшумной, набегавшей из прошлого волны, которая в момент, когда клеммы замкнулись, разразилась громким звонком телефона.

Он слушал настойчивый, неумолкавший звонок, страхась подойти, надеясь, что волна, вызванная его колдовством, отхлынет обратно в океан несуществующего прошлого, не брызнет ему в лицо. Но звонок грохотал, прошлое просачивалось в его одинокий дом сквозь ветхие оконные рамы, в щели дверей, в малую скважину, чуть прикрытую бабочкой. Одолевая предчувствия, он потянулся к трубке.

– Виктор Андреевич, друг ситный, живой аль нет?... Это твой закадычный!.. Чичагов!.. – Предчувствия его оправдались. Из прошлого – из гончарного Кабула, из бирюзового Джелалабада, из зелено-изразцового Герата, из красного Гордеза возник этот голос. Генерал Чичагов, действующий начальник разведки, с кем познакомились двадцать лет назад в февральских снегопадах Кабула, сквозь которые по Майванду мчалась машина, и зеленый минарет Пули-Хишти напоминал огромный чешуйчатый хвощ, – звонил Сергей Степанович Чичагов, материализованный его колдовскою мыслью.

– Не разбудил?... А то у пенсионеров, я знаю, первое дело после обеда на диванчик прилечь!

– Да нет, дневная бессонница...

– Знаешь, сижу сейчас в своей дребедени. И вдруг, понимаешь, мысль о тебе. О том, как мы с тобой куролесили. И тогда, в первый раз, во время хозарейского бунта, и позже, во время Панджшера, и во время операции «Магистраль», когда из-за тебя нас едва не прихлопнули... Думаю, дай позвоню. Дай проведаю старого друга!..

– Спасибо за звонок...

– Слушай, у меня есть прекрасная, вкуснейшая бутылка бордо!.. Прямо из Франции... Что, если я к тебе сейчас прикачу, посмотрю на твои благородные морщины, свои покажу, и мы, как два старых товарища, как два линиялых камышовых кота, как два хрыча, наконец, разопьем бутылочку красного?...

– Прямо сейчас? – испугался Белосельцев, понимая, что в этом натиске бушует, надвигается вызванная из прошлого волна и она не сулит ему благоденствия, а неведомую угрозу. – У меня не убрано, хаос...

– Что, я холостяцких домов не видал?... Приберись, приготовь стаканы...

– Право, не знаю...

– Еду!.. – Короткий зуммер. Золотистая данаида в коллекции. Холодок опасности в самом центре его испугавшегося сердца.

Белосельцев неохотно, с раздражением убирался в квартире. Комкал, зашвыривал в шкаф разбросанную одежду. Запихивал на полки и в ящики недочитанные, забытые по углам книги. Сметал в совок скопившуюся на полу мохнатую пыль. Мыл на кухне винные рюмки. Готовил для кофе чашки. И думал с недоумением, с нарастающим раздражением, зачем он был потревожен в его одиночестве, в разноцветном тумане, сквозь который, как сквозь сладостно-ядовитый дым кальяна, пролетали бесшумные образы прожитой жизни.

Чичагов был мастер многоходовых комбинаций, в которые сложно, не ведая о замысле, вовлекались люди, совершая на разных отрезках интеллектуальной траектории каждый свое действие, затем исчезая, иногда бесследно. Лишь в последний момент в эту прихотливую извилистую линию вставлялся Чичаговым недостающий малый отрезок, замыкавший ее на конечный результат. Этой виртуозной способностью он пользовался в Афганистане, сражаясь между собой мятежные племена, ссорил воинственных алчных вождей, сталкивал пуштунов с белуджами, таджиков с хазарейцами, добиваясь ослабления противника, по которому затем наносились удары правительственных войск. Слишком поздно недалекие главари моджахедов догадывались о лукавстве, когда над их головами проносились пятнистые эскадрильи вертолетов, разносили в прах мятежные кишлаки, потаенные горные базы.

Из нескольких белых яичек, отложенных в диссидентских кухнях, с невероятной скоростью размножились прожорливые черно-блестящие муравьи. Населили квартиры артистов, газетчиков, карьерных дипломатов и властных чиновников. В одночасье источили страну, казавшуюся стальной, превратили ее в трухлявый дырчатый пень. Перед зданием госбезопасности в лучах ночного прожектора накинута стальная петля на шею чугунного тулова. Держинский закачался, как висельник, под стрелой японского крана. Множество офицеров разведки, наделенные штатным оружием, бронетехникой, спецчастями, молча глотали свой позор. В гранитное здание, управлявшее половиной земли, явился хлыщ, заявивший оперативному составу, что он видит свою роль в разрушении советской разведки и останется здесь до предельного ее ослабления. Тогда Белосельцев, вместе с группой генералов, добровольно ушел в отставку, не желая служить мерзавцам. Другая часть перекинулась на работу к банкирам, создавая им службу разведки, безопасности и подрывных операций. Чичагов остался в строю, послушный новым властям. Он был лучше тех, что ушли к банкирам. Ничем не запятнал себя в кровавые дни октября. Но был нелюбим Белосельцевым, который одичал и замкнулся, порвал все прежние связи, подолгу жил в деревне, высаживая на грядках цветы. Теперь настойчивый визитер вызывал у него неприязнь. Работая веником, сметая в совок черепки разбитой недавно чашки, Белосельцев готовил Чичагову несколько язвительных фраз. Продолжал тайно тревожиться по поводу причины визита.

Чичагов явился с мороза шумный, говорливый, с длинным покрасневшим носом, желтыми залысинами, редкими бесцветными волосами, которые он по привычке процеживал сквозь гребешок. Первые секунды своего появления, покуда раздевался в прихожей, шмыгал в платок, заглядывал в зеркало, он потратил на то, чтобы побольше наболтать, набормотать, налепетать незначительное, веселое, бестолковое, желая скрыть за этой мишурой зоркую настороженность, пытливую чуткость, чтобы исследовать, в каком состоянии пребывает хозяин, понять, насколько достижима поставленная им задача.

– Так что вот, как говорится, старый друг лучше новых двух!.. И я, понимаешь, свое бречное тело, и все такое, чтобы навестить опального товарища, Меньшикова в Березове!.. Ну и, конечно, так, ради собственного, как говорят, удовольствия, чтобы рюмочку бордо пропустить!.. – он передал Белосельцеву пакет с бутылкой и нарезанной, проперченной, смугло-

красной бастурмой. Через несколько минут они сидели в кабинете среди янтарных солнечных пятен, мерцающих бабочек, держали рюмки, полные густого, почти черного, с рубиновыми искрами вина, и Чичагов говорил:

– Ну что, дружище, все теснее наш круг!.. Все меньше людей, к кому можно вот так прийти и знать, что будешь понят с первого слова!.. За те времена, когда мы встречались в твоём кабульском номере, и в посольской мраморной гостиной, и в офицерском модуле в Кандагаре, и в штабной палатке в Шинданте, и где только мы не встречались!.. За нас, дружище!..

Вино было чудесное, вязуще-густое, терпкое. Губы, еще не прижимаясь к стеклу, чувствовали легчайшее жжение, словно их касалось незримое пламя. Белосельцев видел, как уменьшается вино в хрустальной рюмке Чичагова и поверх стеклянной кромки смотрят на него немигающие острые глаза, будто в каждый закатили блестящую дробинку. Ждал, когда эти дробинки вылетят и ударят.

– Как в конторе? – спросил Белосельцев, удивляясь вялости и формальности вопроса, который на самом деле не интересовал его. Он уже не чувствовал себя членом разведывательного сообщества, не чувствовал себя посвященным. Монашеский орден распался. Выродился в департамент бездельных малооплачиваемых чиновников, которые были не нужны государству, имитировали деятельность. Обрубив с ними связь, он испытывал драгоценность своего одиночества. Дал обет молчания, обет послушания, обрекавшего на отдельность и несвязанность с миром, когда становится возможным долгожданное общение с Тем, кто незримо управлял его жизнью, берег под пулями, спасал от крушений. Теперь, когда страсти покинули его изнуренное тело, он хотел проверить свою яркую, огромную жизнь, проведенную среди сражающихся континентов, – проверить ее заповедями священных текстов – Библии, Корана, Дхаммапады, Авесты, которые терпеливо, долгие годы, смотрели на него с книжной полки. Завтра он уедет в деревню и там, в последних снегопадах, подкладывая в печь тяжелые смоляные поленья, будет читать и думать. – Так что, бишь, в конторе творится?

– Сам знаешь, бессмыслица... Спецы, вроде тебя, ушли. Новички без царя в голове, не знают, кому служить, за что служить... Реорганизация за реорганизацией... Американцы и евреи лезут во все щели... Пропади оно все пропадом...

– Зачем же служишь? – Белосельцев почувствовал, что лицо его помимо воли обрело едкое, почти брезгливое выражение. Заслонился рюмкой, не желая, чтобы Чичагов его рассмотрел. Делал вид, что играет рубиновой искрой в вине.

– Но ведь кто-то должен отстаивать интересы матушки-России... Кто-то должен следить, чтобы последнее не растащили...

Чичагов производил впечатление теплого и мягкого снаружи. Это была теплота и мягкость неостывшего пепла, какой бывает на недогоревшем полене. Дунь на него – и полетит серый рыхлый сор, запорошит глаза, испачкает лицо и руки. Но под этим пеплом чувствовались негоревшая сердцевина, глубинные твердые сучки, окаменелые волокна. В Чичагове еще оставался крепкий внутренний материал, способный превратиться в жар, в слепящий огонь. И эту способность Белосельцев воспринимал как опасность. В лысеющей редковолосой голове Чичагова зрели замыслы, и в этих замыслах было отведено место ему, Белосельцеву, пока неизвестно какое.

– Я вот все думаю: конечно, многих Афганистан погубил, но многих и возвысил. Пусть «афганцев» между собой перессорили, даже в девяносто третьем заставили пострелять друг друга, а все-таки существует «афганское братство». Если подопрет, можно пойти к «афганцу», сказать: «Давай, шурави, помоги!» И поможет... Я тут недавно в Думу ходил, к Ивлеву. Об одном личном деле просил. Вроде по разные стороны баррикад, я – власть, он – оппозиция, лидер протеста, а все равно помог. Помнит, как мы его полку под Кундузом коридор проби-вали. Вот оно и есть «афганское братство».

Чичагов умел маскировать свои замыслы. Свою основную мысль, основное, не случайно произносимое имя он окружал множеством сорных слов и имен. Так ракета кидает на город противника смертельную боеголовку, окружая ее множеством ложных целей, помещая в мусорное облако металлической фольги и обрезков. Радары врага слепнут от множества мерцающих вспышек, и город беззащитен, на его крыши из космоса летит, окруженная мерцающей пылью, звезда Полюнь.

Белосельцев не знал, случайно ли в разговоре Чичагова возникло имя генерала Ивлева, «афганца» и «чеченца», сделавшего вдруг ослепительную карьеру политика. Среди ординарных, утомивших народ оппозиционеров он, не принадлежавший движениям и партиям, любил армию, стал главной угрозой режиму. Мог увлечь войска за собой. Не позволил бы им повторить трагедию девяносто третьего года, когда армия, без вождей, управляемая проходцами, не веря оппозиции, стреляла из танков по горящему Дому Советов. Ивлева боялись в Кремле. Видели в нем возможного мятежника и путчиста. Белосельцев старался понять, было ли произнесенное Чичаговым имя случайным, или опорным, – летело по баллистической кривой, вписанное в траекторию удара. Вспоминал гарнизон под Кундузом, врытый в землю контейнер трейлера, в котором содержались пленные, и они втроем – Белосельцев, Чичагов и командир полка Ивлев – допрашивают чернобородого, в красной повязке афганца, шевелившего разбитыми в кровь губами, рассказывающего о расположении «безоткаток» и минных полей.

Но Чичагов больше не говорил об Ивлеве. Перескочил на другое, оживленно рассказывал:

– Все-таки иногда, дружище, мы слишком с тобой угрюмы, пессимистичны и, в сущности, старомодны. А ведь жизнь не кончается, она состоит не только из дерьма и трухи. В ней есть и сильные, положительные моменты. Иногда среди этого развала и свинства встречаешь сильных, новых людей! Не просто богачей, которые наворовали и теперь не знают, что с этим делать. А русских купцов и промышленников, в которых, сам не знаю откуда, появляются русские начала, русские заботы, русские интересы. Значит, не все захватили евреи! Есть еще у матушки России сыны!

– Кого имеешь в виду? – Белосельцев все еще не мог понять, в чем замысел Чичагова. С какой точки начинается прихотливая линия его интриги. Среди множества впустую нанесенных метин нельзя было выбрать ту, от которой повлечется извилистая кривая его интеллектуальной затеи. Поиском этой истинной точки, среди множества мнимых, был занят ум Белосельцева. Этот начавшийся поиск увлекал его помимо воли, был игрой, с помощью которой Чичагов захватывал его в свои невесомые тенета. Невидимые, они уже висели повсюду в его кабинете. Он чувствовал себя бабочкой, к которой приближается прозрачный белый сачок, наполненный душистым ветром и солнцем, с пестрыми крапинками засохшего цветочного сока и умертвленных, пойманных прежде существ. – Где ты нашел среди воров и еврейских банкиров настоящих русских купцов?

– Ну, конечно, ты не можешь поверить! Сидишь, как медведь в берлоге! А ведь за это время жизнь не осталась на месте. Разумеется, есть помойки, свалки отходов, на которых кормятся многие наши прежние товарищи. Но есть и абсолютно новые явления, неизвестные тебе области, в которых, я бы считал, полезно тебе побывать, чтобы уж совсем не свихнуться! Например, абсолютно новый театр. Виктюк, его эротические музыкальные действа! Пусть он педераст, но очень, очень талантливый!

– Твои русские купцы – педерасты? – Белосельцев не стал заслонять рюмкой свою брезгливую улыбку. – Очень, очень талантливые русские купцы?

Чичагов добродушно рассмеялся над своей оплошностью:

– Да нет же, это молодые самарские парни, из спортсменов. В Советском Союзе – разные там рекордсмены и мастера. Потом, когда все развалилось, пошли в охранные структуры, к

бизнесменам, которые воровали бесхозное добро государства. Стреляют от живота и в глаз. Я думаю, после их работы, по весне, из-под снега много кого откапывали. Потом, похоже, как показывают в голливудских фильмах, они своих охраняемых уколошили и стали хозяевами. Грабили по-черному, кровушку лили, как пиво. Остепенились, нажитое вложили не в банки, а в производство, кто в нефть, кто в торговлю, кто в шоу-бизнес. Поставили церковь, другую. Батюшка их окормляет, «разбойников благоразумных». Выучили языки. Ездят за границу не жизнь прожигать, а ума-разума набираться. Разглядели, что в России творится, как их матушки в деревнях живут, жмых жуют. Поняли в один прекрасный момент, что они русские люди, и в отличие от евреев жить будут здесь, а не на берегу Генисаретского озера. И вот мы видим новый тип. Не коммунисты, но патриоты. Капиталисты, но ненавидят Америку. От сохи, но заботятся о сохранении русского ракетно-космического комплекса. Вот такие ребята. Теперь они в Москве возглавляют крупные фирмы.

Азарт, с каким Чичагов исполнил этюд о самарских парнях, убедил Белосельцева, что истинная точка обнаружена. Быть может, он не разглядел поставленные прежде отметины, но эту он зафиксировал. От нее он может начать отсчет. Повести осторожную линию через вторую обнаруженную точку. И чем больше их будет вскрыто, тем точнее выпишет он траекторию интеллектуальной интриги, которую задумал Чичагов. Ибо в этой долгоносой голове с желтыми восковыми залысинами постоянно, как в чреве паука, вырабатывается интрига. Опутывает людей, провисает едва заметной стрункой от дома к дому, от окна к окну. И многие уже залетели в неслышную, неразличимую для глаз кисею. Теперь залетает и он, Белосельцев. Ему было неприятно. Он презирал Чичагова, неутомимого интригана, не умевшего остановиться, не способного оборвать вырабатываемую его головой паутину. Именно эта болезненная, необоримая страсть оставила его в разведке, сделала слугой режима. Но если бы этого не случилось, если бы он ушел, повторив судьбу Белосельцева, реактор, расположенный в его голове, вырабатывающий нить, продолжал бы работать. Переполнил его мозг волокнами комбинаций, и он задохнулся бы от собственной паутины.

– Так что твои патриоты-разбойники? – небрежно спросил Белосельцев, увлеченный началом контрразведывательной игры, которая тоже была патологией профессионально ориентированного ума, не умевшего по прошествии лет освободиться от вмененных ему установок.

– Ты можешь расхохотаться. Можешь погнать меня вон. Но прошу, собери в себе остатки воображения и творческого любопытства, коими ты всегда отличался в управлении, и внемли моей просьбе!

Это был упрощенный прием – прямая лесть и имитация искренней беззащитной наивности, которые должны были вовлечь Белосельцева в замысел. И этот упрощенный прием сработал. Белосельцев с удивлением почувствовал интерес – не к самарским парням, а к тому, что является замыслом. Уже несколько точек стояло на графике среди множества ложных отметок. Линия, которую он выводил, напоминала медленную экспоненту, неутомимо, как нарастание болезни, взбирающуюся вверх.

– Эти сердобольные самаритяне, иначе не могу их назвать, – Чичагов продолжал шутить, забалтывая какое-то глубинное содержание, недоступное Белосельцеву, – в своем экономическом росте эти стервецы поднялись до того, что стали контролировать, ну не прямо, а косвенно, ряд направлений, связанных с космосом и ядерными технологиями. Что-то про центрифуги, про обогащение, про двигатели, уж не знаю, что точно... Ты слышал, в каком состоянии находится все это хозяйство. Безденежье, остановка заводов, народ разбегается, американцы скупают акции, банкротят, свертывают производство. И там, где делали боевые лазеры, стали выпускать елочные игрушки. А там, где лепили плутониевые полушария, там клеят дамские прокладки...

Белосельцев вдруг потерял к разговору интерес. Словно отвел от добычи оптический прицел, и олень, подпрыгивая, мелькая белыми ляжками, унесся и исчез в деревьях. И можно

стоять, прижавшись к сырому стволу, слушать, как шелестят капли в редкой желтой листве, и чудесный холодный запах осени, и оранжевые плоды бересклета, и палая листва под ногами, и в блестящих ветках скользнула мокрая бесшумная птица. Он уедет в деревню и там, натопив жарко печь, раскроет божественные тексты и прочтет про ослияту, на которой Христос въехал в священный Град.

– Эти парни, как бы это поточнее сказать, видя, как цереушники и моссадовцы прихлопывают окончательно стратегическое производство России, решили передать часть технологий Ирану. Ну конечно, не за красивые глаза, а за деньги, и весьма немалые. Из побуждений конечно же меркантильных, но и одновременно патриотических. На полученные от иранцев деньги они поддержат производство, подкормят научные исследования, отгеснят Сороса, хотя бы на год продлят жизнь заводов и институтов. Конечно, это, если угодно, криминал. Выдача государственной тайны. Почти что измена Родине. А разве не криминал, не выдача тайны, когда цереушников допускают в секретные центры, открывают такие сейфы, куда даже мы с тобой не заглядывали. Разве это не предательство, не измена?...

Белосельцев перестал следить, выпустил из внимания график. Точки рассыпались, как семена из перезревшей цветочной головки, упали на влажную грядку, и теперь нужно терпеливо ждать осень и зиму, когда растает снег, потянутся из грядки свежие зеленые ростки, он станет их беречь, спасать от дикой травы, дожидаясь, когда вспыхнет гроздь садовых ромашек, и тогда ходить, огибая полную жестяную бочку, шлепать по мокрой дорожке, любясь на цветы, и ночью сквозь сон думать – там на грядке ромашки, милые. Он завтра же уедет в деревню, чтобы в одиночестве, без утомительных, его не затрагивающих глупостей, понять, наконец, чем был дар, который вручил ему при рождении Творец, как он с ним обошелся, как, в каком виде вернет и положит к ногам Творца.

– Я с ними знаком, настоящие русские парни. Если угодно, наше будущее. Среди всеобщей апатии и свинстве – это сгусток энергии, воли. Русские пассионарии, если хочешь. Слушай, Виктор Андреевич, помоги им! Посмотри опытным взглядом, так ли они всем занимаются. Ну их связи с иранцами, третьи страны, посредники. Они там чуть ли ни «Хесбаллу» подключили, по Бейруту при белом свете разгуливают. Оформление документации, соблюдение формальностей, выбор контактов – все это у них в беспорядке. Нет специалиста по Востоку. Помогите добрым людям. Конечно, не безвозмездно, не за спасибо. Они наградят, заплатят, а то на нашу-то пенсию не больно икорки поешь. Я им о тебе говорил. Помогите парням чисто сработать, чтобы не наследили. Чтобы не вышел у них «русский ирангейт»!..

Это словосочетание возвратило его в реальность. Будто к нему, уходящему, протянулись две длинные руки и вернули обратно к месту, от которого он стал удаляться. «Русский ирангейт», – повторял он, закрепляя эти слова на графике, как еще одну уловленную жирную точку. Старался восстановить утерянную линию, провести ее через утраченные координаты. – «Русский ирангейт»!

– У меня есть к тебе немедленное предложение. Через час у иранцев прием. Сняли «Президент-отель», будет много всякой публики. Хорошая еда, разумеется, без алкоголя. Будут пассионарии самарские. Я обещал, что тебя привезу, познакомлю. Поедем! Я бы и сам этим всем занялся, но мне, действующему, не с руки. Давай подключайся, помоги русскому делу!..

Там, куда его звал Чичагов, была яма, накрытая легкими прутьями, присыпанная разноцветными листьями, обложенная мхами, с посаженным умелой рукой красноголовым грибом. Но под всем этим была черная глубокая яма, и со дна ее торчал белый отточенный кол. Белосельцев грудью, сердцем ощутил его острие, входящее в легкую пенистую мякоть его пронзенных розовых легких. Он должен был отказаться, отшутиться, свести разговор к пустякам. Разлить по рюмкам остатки вина и, лениво потягивая бордо сквозь почерневшие от винограда зубы, дать понять Чичагову, чтобы тот поскорее ушел. Здесь ему нечего делать. Здесь, в этом маленьком кабинете, увешанном бабочками, заставленном старыми книгами, живет не развед-

чик, а одинокий мыслитель, чьи последние силы направлены на постижение священных текстов, на постижение звезд, снегопадов, первых цветов, всего, к чему десятилетиями стремилась душа.

Черные точки графика были как малые икринки, отложенные невидимой проскользнувшей рыбиной. В каждой таился малек, таилась возможность будущего. Из каждой точки, как из зародыша мироздания, вырывались бесчисленные возможности будущего, включающие в себя конец света. В его власти было выбрать одну из них. Или передавить их все. Умертвить все линии жизни, кроме той, по которой он уже совершает движение. И понимая все это, поражаясь своей слабости, неспособности одолеть искушение, невозможности избежать гибели, он согласил.

– Едем, – сказал Белосельцев. – Посмотрим твоих ребят.

У подъезда ждала машина Чичагова, черная, похожая на дельфина, с фиолетовой сигнальной колбой, с крепким, затянутым в кожу шофером.

– В «Президент-отель»! – скомандовал Чичагов, и машина скользнула в поток, разбрасывая вокруг гневные вспышки, заметалась среди глазированных мельканий. Белосельцев испытывал чувство, будто его извлекли из одной, облюбованной, обжитой ячейки, где он уютно и дремотно существовал долгие годы. Поместили в другую – в бархатный мягкий салон машины с запахами лаков, одеколона и табака, разноцветных, красиво разбросанных циферблатов. Мчат в загадочном направлении по вечерней, едва узнаваемой Москве, среди нарядных фасадов, серебристых снегов, начинавших светиться реклам, чтобы заключить в новую, уготованную ему Чичаговым ячейку. Словно он был чьей-то собственностью, муравьиной или пчелиной личинкой, взращивался кем-то для неясной задачи.

Тверской бульвар был в розовых деревьях, льдистых снегах и черных чугунных решетках, скользнул за окном длинно и трогательно своей красотой. Арбатская площадь напоминала белый мраморный зал, великолепный, с хрустальными люстрами, черным взиравшим Гоголем, у которого на голове был берет из снега. Кремль с розовой башней и нежной заиндевелой стеной вызвал в сердце привычное с детства тепло, словно кто-то невидимый прижался к груди губами и медленно, мягко выдохнул. Полет по мосту вдоль «Ударника», по отлогой дуге, был связан с потерей веса, и это было похоже на секундное счастье, когда главы соборов, как золотые острые почки, готовы были раскрыть в морозном небе золотую листву. Якиманка, вся в торопливых огнях, с далекой, еще невидимой церковью Иоанна Воина, породила забытое веселье, не связанное с обликом города, а с Кустодиевым, с румяными небесами, медными самоварами, дородными пышными купчихами, в испарине после калачей и обильных чаепитий. И все это кончилось, когда машина встала перед огромным отелем, неудобным, похожим на слоистую гору, вернувшим Белосельцеву настороженное ожидание.

У входа толпились автомобили с тяжелыми сытыми задами, зеркальными затемненными стеклами, из которых поднимались надменные, с властными лицами дипломаты, нарядные, в галунах и эполетах военные, великолепные, в мехах и вечерних платьях дамы, оказавшиеся вдруг на морозе, – длинная голая шея, лак прически, крохотный, в мочке уха, бриллиант.

– Возьми вот пригласительный, – Чичагов протянул ему зеленую, мусульманского цвета карту. Они предъявили ее, оказались в просторном холле.

Едва ступив на широкую мраморную лестницу, окруженный вышагивающими, исполненными достоинства людьми, ароматами духов, дорогих Табаков, рокотом сдержанных голов, приглушенным смехом, ловя на себе молниеносные пытливые взгляды именитых гостей, Белосельцев оказался в знакомой атмосфере дипломатических раутов, где каждый наблюдает за каждым, каждый дружелюбен к другому, у каждого для другого заготовлено словцо или шутка, за которыми прячется деликатное дело, глубинный интерес, хорошо укрытая корысть.

У входа в банкетный зал стоял посол, сутулый, тучный перс с длинными влажными глазами, горбатым носом и мягкой улыбкой. Принимал поздравления, отпускал гостя к стоящему рядом военному атташе в орденах, позументах, любезно, в улыбке, показывающему из-под усов белоснежные зубы.

– Поздравляю вас, господин посол, с Днем национального праздника. Желаю великому иранскому народу благоденствия и мира, – эти слова Белосельцев произнес на фарси. Почувствовал, как крепче сжалась теплая бархатная рука посла и в миндалевидных глазах возник мгновенный живой интерес к незнакомцу, владеющему персидским языком.

Чичагов влился в зал, мгновенно растворился среди пиджаков и мундиров, мужских усов и женских причесок, и его длинноногая лысеющая голова временами появлялась у длинных столов с закусками, у мангалов, где дымилось на спиртовках смуглое мясо, среди высоких кувшинов, в которых были налиты алые и золотистые напитки. Белосельцев, держа в руках фужер с гранатовым соком, отпивал маленькие горько-сладкие глотки. Рассматривал мерное движение лиц, жующих ртов, дамских драгоценностей и офицерских наград, растекавшихся в медлительных течениях, в которых перемещались не просто люди, а двигались и сталкивались интересы, информационные потоки, заговоры и интриги. Складывались особые, на несколько часов отношения, сплетавшиеся в сложный клубок симпатий, вражды, подозрительности и обмана, среди которых достигалось множество невидимых целей.

Невидимые, неузнаваемые, закамуфлированные улыбками, услужливыми жестами, безукоризненными костюмами и модными галстуками, сновали разведчики. Угадывали друг друга по неуловимым признакам, манере держаться, повязывать галстук, слушать собеседника, мгновенно, боковым зрением оглядывать зал. Их сообщество состояло из иранцев, русских, арабов, европейцев, с вкраплениями ЦРУ и МОССАДа, которые скрывались под личиной бизнесменов, художников и священников. Все они вкрадчиво выведывали, выпрашивали, незримо вербовали, неслышно сдавали, склеивали крошки информации, невзначай роняли крупницы дезинформации. Касались друг друга локтями, незаметно помечали, оставляя на пиджаках едва различимые метины, по которым их можно было опознать. Особым детектором, чувствительным к этим метам, обнаруживал их Белосельцев. Чувствовал, что и его, выпавшего несколько лет назад из сообщества, узнают. Осматривают молниеносно, словно снимают мерку для костюма или для гроба. Передают весть о его присутствии.

– Виктор Андреевич, сколько лет, сколько зим! А кто-то говорил, что болеете! – К нему подошел верткий, бритый наголо, бородавчатый человек, в котором Белосельцев признал эксперта по вопросам Афганистана, ученого одного из академических институтов. В свое время он участвовал в разработке ситуационных анализов на последних отрезках афганской войны, встречался с Белосельцевым в Кабуле и в Женеве. Потом он изменил свою точку зрения. Его статьи, трактовавшие афганскую войну как ошибку и преступление, попадались в прессе. – Я всегда говорил, что мы действовали в Афганистане исходя из фактора Иранской революции. Мы не должны были допустить нечто подобное в Афганистане. Помните, в Кабуле, во время путча, нам показывали листовку: «Начинаем исламскую революцию Афганистана». Разве мы не должны были реагировать?

Это был хитрый ученый червь, проникавший во все круги, проползавший сквозь все политические периоды, протачивающий в них дыры, оставляя после себя кучки ржавых испражнений. Белосельцев вежливо отвечал, ненавязчиво отделялся, наблюдая, как его лысый череп мелькает рядом с эполетами кувейтского военного атташе.

– Виктор Андреевич, вы меня узнаете? – Перед ним стоял высокий, с пепельными волосами и усталым морщинистым лицом мужчина. Щурился, сжимал складки лба, словно старался выдавить из состарившегося до неузнаваемости лица свое прежнее молодое выражение. – Бейрут... Мы привозили морем оружие...

Белосельцев узнал его. Встречались в торговом представительстве, куда приехал в тот день Арафат. Бейрут был наполнен палестинскими боевыми отрядами, на окраинах возводились рубежи обороны, последние советские транспорты прорвались сквозь эскорты американских эсминцев, израильские танки двигались с юга, и все уже чувствовали, что солнечный, прекрасный город, омываемый лазурным морем, скоро превратится в черные дымные огрызки, над которыми, пикируя, станут пролетать «миражи».

– Где вы сейчас? – спросил Белосельцев, пожимая руку старому знакомцу, чье имя так и не вспомнил.

– Так, с одной фирмой кручусь. Ни шатко, ни валко. Не то что в прежнее время, – они расстались, не желая ворошить это прошлое, невозвратное время, испытывая друг к другу симпатию, необъяснимую друг перед другом вину.

Особую популяцию составляли бизнесмены, как правило, молодые, крепкие, с уверенными жестами преуспевающих, свободных людей. Говорили по-английски, иранцы и русские, иногда слишком громко, демонстрируя свою независимость и преуспевание. Иран, закутав женщин в чадру, отдав управление в руки имамов, вымаливая каждый день у Аллаха благоденствия, жадно усваивал современные технологии, строил заводы и атомные станции, запускал ракеты и новые самолеты, рвался в цивилизацию, прокладывая в нее свой исламский путь, без наркотиков и проституток, с четками и сурами Корана. Среди этих подвижных, с дорогими часами и шелковыми галстуками людей Белосельцев высматривал того, самарского, с кем ему предстояло познакомиться.

Тут же, как и на всяких приемах, толклись случайные люди, «друзья страны», всякого рода литераторы, преподаватели, журналисты, отставники и просто те, кто пришел полакомиться вкусной восточной едой, запить ее сладкими соками, сожалея, что исламский прием исключает алкоголь.

– Виктор Андреевич, хочу вам представить! – появился Чичагов, возбужденный, довольный, совершивший сложные траектории среди тесной толпы, наговорившись, назнакомившись всласть. Рядом с ним стоял стройный худощавый молодой человек с правильным, красивым лицом. Его пушистые светлые брови, тонкая переносица, серые внимательные глаза, чуть улыбающиеся мягкие губы напоминали портреты молодых дворян, бунинских героев, чеховских офицеров, своей рафинированной утонченностью возвещавшие о близком конце сословия. Однако аристократизм молодого человека источал не закат и упадок, а скрытую нервную силу, сдерживаемую подвижность и умело остановленную, непроявляемую понапрасно энергию, готовую обнаружиться в момент предельного риска. За его спиной возвышался громила, которому было тесно в пиджаке, откуда вываливались распухшие, раскормленные мускулы.

– Имбирцев Федор Иванович, – сказал молодой человек, крепко, властно и доброжелательно пожимая Белосельцеву руку, глядя ему прямо в зрачки, – Сергей Степанович обещал меня с вами познакомить.

– Мне кажется, вы понравитесь друг другу, – радовался Чичагов, и в его торжествующем лице, весело потираемых ладонях, расширенных от возбуждения глазах было нечто от фокусника, сдернувшего таинственный покров с ящика, в котором вдруг оказались эти два человека, плод его искусства и колдовства.

– Я хотел вам предложить одно дело, – сказал Имбирцев. – Должно быть, генерал Чичагов уже вскользь успел рассказать. Мне нужен опытный консультант по Ирану, способный оценить степень риска, который меня подстерегает. Сергей Степанович считает, что вы – самый подходящий для этого человек.

Мимо них шнырнул приземистый юркий персонаж с белесыми усиками и чуткими ушами, которые он попеременно наставлял в разные стороны. Скрылся в толпе и вновь вынырнул, встал поодаль, схватывая губами кусочки мяса, нанизанные на остренькое копыцецо.

– Мне кажется, вам не следует здесь говорить о делах, – сказал Чичагов, кивая на вкушавшего человечка. – Вас могут услышать, а могут попросту записать направленным микрофоном... Я с вами прощаюсь, – произнес он, пожимая Белосельцеву не ладонь, а локоть, на правах старого товарища, кивая доверительно Имбирцеву. – Если какие-то затруднения, обращайтесь! – и ушел, пробираясь сквозь толпу, то и дело поворачиваясь в разные стороны, раздавая рукопожатия. А Белосельцев и Имбирцев остались среди невидимой, сооруженной Чичаговым конструкции, в которую были вписаны ненавязчивыми, необременительными усилиями.

– Я благодарен за то, что вы согласились прийти, – сказал Имбирцев. – Генерал Чичагов прав, здесь не место обсуждать деликатные проблемы. Если вы примите мое приглашение, мы можем сейчас же отсюда уйти в более подходящее место и там поговорить без помех.

– Согласен, – сказал Белосельцев, отдавая себя во власть незримого течения, стараясь не шевелиться в потоке, чтобы лучше выявить его направление и скорость. Оставаясь неподвижным, почувствовать русло, в котором он совершает скольжение.

Они пробрались сквозь курлыкающую, вкушающую, добродушно-веселую, чутко-настороженную толпу. Оделись, и сияющая, как серебряный слиток, машина в сопровождении джипа с охраной помчала их по вечерней Москве. Расцвеченные фасады напоминали огромные прозрачные льдины, и они ныряли, неслись среди фантастической, выпиленной из льда Москвы, которая при первом тепле должна была растаять, превратиться в потоки цветной воды. Так слезы смывают белила, румяна, цветную тушь, и под слоем эстрадного грима открывается усталое родное лицо с любимыми материнскими морщинами.

– Мы поедem в казино, – сказал Имбирцев. – Это часть моего бизнеса. Рестораны, театры, выставочные залы. Но главные деньги – нефть, строительство, инвестиции в военное производство.

Белосельцеву был остро интересен этот белокурый утонченный молодой человек, появление которого еще десять лет назад было невозможно. То исчезнувшее время, к которому принадлежал Белосельцев, оставляло Имбирцеву небогатую возможность стать губернским чемпионом по легкой атлетике, а потом, по прошествии лет, прозябать неизвестным тренером в детской спортивной школе, гоняя юнцов по разбитым, черным от шлака дорожкам. Теперь же, когда рухнула страна, когда, казалось, невозвратно погибло все, что было Белосельцеву свято, когда кругом, среди всеобщей мерзости, копошились прожорливые неопрятные упыри, чьи скользкие плотоядные лица напоминали кишечники, чей вид вызывал страдание и рвоту, появление Имбирцева, его красивое спокойное лицо, аккуратное взвешенное поведение, масштаб его дел внушали Белосельцеву интерес и симпатию. Он почти забыл об интриге, в которую его помещал Чичагов. Увлекся не интригой, а незнакомым, внушавшим симпатию человеком.

Казино, к которому они подкатывали по сумрачной улице, светилося издали, словно огромное павлинье перо. Разноцветный туман растекался от пульсирующей рекламы ввысь, в стороны, пропитывал сугробы и стены. Отражался в сосульках, в окнах домов, в высоких налесах крыш, в столпившихся перед входом лимузинах. Казалось, прохожие, пассажиры машин, окрестные жители дышат этим многоцветным росистым воздухом, пьянеют, живут с блаженными счастливыми глазами.

Охрана расторопно раскрыла дверцы автомобиля. От подъезда кинулся встречать нарядженный под гусара портье. В гардеробе радушные служители принимали пальто и шапки. Отдавая верхнюю одежду, Белосельцев с удивлением заметил, что вешалки были полны великолепных шуб, норковых и куньих мехов, песцовых и горностаевых воротников, словно здесь разделся дорогой кордебалет, и он сейчас увидит множество красивых женских лиц, обнаженных плеч, длинных танцующих ног.

– Прошу вас, – пригласил Имбирцев, пропуская гостя вперед. Белосельцев шагнул, проходя сквозь прозрачную мембрану теплого воздуха, и множество ярких отражений и вспышек, сочных и яростных звуков, разгоряченных и яростных лиц обступило его, словно он оказался

на палубе плывущего корабля, далеко от ночного морозного города, в теплых морях, на золотом, уходящем в глубину столбе света. – Мы сядем в сторонке и побеседуем, и никто не посмеет нам помешать.

Имбирцев повел едва заметным повелевающим жестом, и на этот жест из разных концов сияющего пространства появилось одновременно несколько людей. Каждый совершал свое привычное, вмененное ему дело, в результате чего как бы сам собой расчистился ход к нарядному бару. Освободился из множества столиков самый удобный. Образовалось вокруг него ненавязчивое кольцо охраны, состоящей из крепких молодцов в черном, подносивших к губам переговорные устройства с антеннами. Появилась прелестная белозубая девушка, расставила на столике серебряное блюдо с моллюсками, широкогорлую бутылку с красным итальянским вином.

– Начнем с этой легкой необременительной закуски, которая вчера еще плавала в водах вблизи Палермо. – Имбирцев улыбался, лил в бокалы широкую струю вина, ловко цеплял серебряными щипцами розовые ракушки, похожие на те, из которых в пене рождалась Афродита. – За наше знакомство.

Из-за столика, как с верхней палубы, были видны многочисленные игральные столы, покрытые геометрическими фигурами, линиями, цифрами. В них были врезаны медные сияющие рулетки. Метались зайчики света, крутились и цокали шарики. Крупье в цветных жилетках длинными лопаточками двигали горки фишек. Игроки окружали столы, нервные, нетерпеливые, то огорченные, то восхищенные, захваченные каббалистическим мельканием цифр, магическим зайчиком света. Умоляюще взирали на скачущий красный шарик, который, как маленький божок, перелетал из одного золотого сегмента в другой. Увлекал игроков в бесконечную сужающуюся бездну, наполненную красным дымом едкой необоримой страсти, которая вовлекала душу в погоню за недостижимым, неутолимимым счастьем, в сравнении с которым любовь или подвиг или благодатная молитва были слабым намеком на счастье. Какой-то кавказец с кривым, как кинжал, носом взмахивал руками, хватал себя за длинные волосы, и его соперник, синеглазый юнец, хохотал, поднимая вверх сжатый кулак как победивший боксер.

– Я собираюсь передать иранцам элементы ядерных технологий. Часть из них я уже передал. Я налаживаю поставку в Иран документации некоторых узлов и изделий, переброску специалистов. Как обычных технологов, так и высококвалифицированных инженеров. Предполагается через третьи страны переправить в Иран способных русских физиков, математиков, металлургов. Разместить в наших элитных институтах иранских аспирантов, чтобы те могли овладеть недостающими знаниями по ядерной энергетике, включая военные аспекты. Чертежи и детали передаются через сложные связи, третьи страны, фирмы-посредники. Я привлекаю организации, ряд которых имеет сомнительную репутацию, например, «Хесбалла». Все это носит весьма хаотический характер и нуждается в контроле. Вы тот человек, чье знание Востока, оперативное мышление и долгие годы работы в разведке, который мог бы вести у меня это направление. Разумеется, небезвозмездно... – Имбирцев оглянулся и, казалось, взглядом исторг из-под земли могучего верзилу, сопровождавшего их в автомобиле. – Покажи изделие!

Тот погрузил кулачище в бездонный карман пиджака, извлек и поставил на стол среди тарелок с моллюсками точеный драгоценный цилиндр с золотыми клеммами, заводской маркировкой, легированными трубками. Цилиндр своими формами, золотыми сплавами напоминал изделие ювелира. Скульптуру абстрактного художника, заключившего в поверхности, овалы, в тончайшие надрезы и выточки сверхсложную суть.

– Центрифуга для обогащения урана. Нет равных в мире. – Имбирцев касался цилиндра своими длинными крепкими пальцами, и они отражались в зеркальной прецизионной поверхности. Белосельцев помнил свое посещение ядерного центра в Сибири. Высокий, стерильно чистый зал, в котором от потолка и до пола, как тысячи жужжащих веретен, работали центрифуги. Пропускали сквозь себя раскаленный урановый газ, расщепляя его на отдельные фрак-

ции, выделяя боевую компоненту. Огромный, в тайге, завод, где сложными превращениями, без человеческих рук, возникало оружие. Он видел сквозь прозрачную толщу, как манипуляторы, похожие на клешни, вытряхивали из формы серебристую полусферу. Часть боеголовки, что в сочетании с другой, подобной, сдвинутая мощным усилием, превращалась в ослепительный взрыв над Нью-Йорком, оплавляя восковые небоскребы. Теперь центрифуга стояла среди ребристых ракушек, как маленькая статуя Афродиты. — Я должен буду передать ее в Тегеран.

Белосельцев не торопился отвечать. Смотрел, как под пластинчатым золотым потолком, уносившим ввысь размытое отражение зала, под гирляндами огней, напоминавшими виноградные лозы, зеленеют столы, по которым ловкие руки рассыпают атласные карты. Несколько японцев играли, мерцали очками, указывали пальцами на валетов и дам, бесстрастно расплачивались. Кончили игру, разом встали. Двинулись через зал, туда, где на диванах сидели молодые женщины. Несколько длинноногих красавиц поднялось им навстречу. Японцы взяли их под руки, маленькие, по плечу своим спутницам, покидали зал. Те набрасывали на плечи пышные шубы, выходили в легкую пургу, где их подхватывали просторные лимузины, мчали среди разноцветных сугробов.

— Вы можете назвать мою деятельность шпионажем в пользу другой страны. Разглашением государственной тайны в целях обогащения. Но, поверьте, мною движет не корысть. Иранские деньги для меня — не главное. — Имбирцев тонким ножичком растворял черно-перламутровые раковины мидий, выскребая липкий язычок моллюска. — Эти великолепные заводы, построенные в СССР, сегодня останавливаются в интересах Америки. По ядерным центрам рыскают ЦРУ и МОССАД. Их агенты в Кремле закрывают производство, разгоняют коллективы ученых. Одних скупают, как скот, Америка и Израиль, другие идут на толкучки торговать колготками. На вырученные деньги я продлю работу заводов, загружу лаборатории и исследовательские институты. Спасу остатки ядерной мощи страны. Россия перестала быть препятствием Америке для установления мирового господства. Президент управляется евреями, он фишка в руках Пентагона. Только исламский мир, только великий и могучий Иран остановят жидов и Америку. Я хочу, чтобы у Тегерана был ядерный меч, чтобы исламские баллистические ракеты могли долететь до Нью-Йорка. И я сделаю все, чтобы русско-иранский союз состоялся. Не сейчас, а после того, как мы отделаемся от этой Язвы желудка, от этого Цирроза печени, этого Шунтированного сердца.

Белосельцев заметил, как неподдельно побледнело от ненависти лицо Имбирцева, словно тонкая переносица и узкие скулы проморозились, как у лыжника, бегущего в ледяном ветре. Эта ненависть была искренней, обращалась на тех же, кого бессильно ненавидел Белосельцев. Но Имбирцев был силен, дерзок, в нем чувствовалась неистребленная сила и страсть, и это восхитило Белосельцева. Они, старики, оказались разгромлены, но на смену им, посреди распада и немощи, таинственно проявились русские нерастратенные энергии, о которых в Писании говорится: «Дух дышит, где хочет».

Посреди зала, на возвышении, был помещен сиреневый «форд», натертый до блеска, предназначенный для лотереи. Помимо карточных столов и рулеток вдоль стен стояли игральные автоматы. В их электронных головах взрывались пучки лучей, гасли и зажигались светила, падали сбитые самолеты. Игроки в наушниках с отрешенными лицами смотрели на экраны невидящими глазами, которые, казалось, были залеплены цветными ядовитыми бельмами. В этот зал собирались люди, чтобы утолить загадочную, не имеющую объяснения страсть. Инстинкт игры, который присутствовал в человеке наравне с инстинктом продолжения рода, инстинктом смерти, инстинктом разгоряченного страстью самца. Расставленные вдоль стен хромированные и застекленные приборы, установленные, накрытые сукном столы, крутящиеся золоченые рулетки и атласные карты были ловушками, где улавливались взрывы игровой похоти. За этими столами, у вращающихся ослепительных тарелок и чаш люди утоляли голод

своих игровых вожделений. Казино было огромной столовой, где оголодавших игроков окормляли, вливали в них терпкое пойло редких выигрышей и частых разорительных проигрышей.

– Я дозрел до этих мыслей не сразу. Сначала делал бабки, как все, любой ценой, с любыми партнерами. Потом увидел, как живет наш русский народ. В такой богатой стране, с такой добротой и талантом живет как раб под пятой у жидов. Мне говорили попы: «Помоги народу, отмоли несправедливые деньги, построй церковь». Я две церкви построил, два священника у меня на содержании. Но нам нужны не просто попы деревенские, а те, кто освящает спускаемые на воду авианосцы, кто служит молебн на запуск новой ракеты, кто ставит свою часовню в атомном городе или на базе подводных лодок. Нам нужны талантливые русские политики, генералы, разведчики. Вы, люди старшего поколения, не сумели спасти страну. Она погибла не без вашего участия. Теперь мы, молодые, начинаем ее восстанавливать, и нам нужна ваша помощь.

Это были веские слова красивого уравновешенного человека, в котором лишь однажды проступили белые пятна ненависти и тут же вновь затянулись розовым нежным цветом. Чтобы проверить глубину и истинность слов, Белосельцеву нужно было проникнуть не просто в организацию сидящего перед ним человека, но и в его душу и разум. А это требовало огромных усилий, кропотливой многодневной работы, предполагало глубинные побуждения. Страны, обучившей его профессии разведчика, больше не было. Служение, являвшееся главным его побуждением, было прервано. Едва ли он станет тратить остатки сил на неверное, рискованное и, скорее всего, обреченное дело. Но сидящий перед ним человек внушал симпатию. Порождал надежду на то, что сопротивление народа не сломлено, что сохранились силы для отпора, и эти силы нуждались в разумном сбережении, опытном управлении.

На отдаленной эстраде над головами игроков музицировал оркестр. Музыканты качали хромированными саксофонами, похожими на изогнутых морских коньков, шевелили перламутровыми гитарами, напоминавшими раковины. И можно подозвать очаровательную официантку и заказать к красному итальянскому вину извивающийся кусочек саксофона или перламутровую, под острым соусом, гитару. У столов бушевали разгоряченные неистовые люди. Крупье в одинаковых пестрых жилетках напоминали бесстрастных дрессировщиков, которые дразнили животных, заставляли их кидаться в сияющие кольца рулеток. Повсюду стояла охрана в черном, зорко наблюдала за цирковым представлением, готовая в любой момент вмешаться, если взлетит чей-нибудь разгневанный кулак или, не дай Бог, мелькнет вороненая сталь пистолета.

– Все свое состояние, все свои связи я посвящу русскому делу. Я создаю организацию, если угодно, «партию нового типа». Она законспирирована, имеет несколько этажей конспирации. Ее ядро связано священной клятвой. Нам нужны специалисты, способные заниматься разведкой и контрразведкой, способные нейтрализовать тех продажных разведчиков, которые за деньги служат жидам-банкарам. Один из моих друзей, которому я верил, как брату, продался жиду Кугелю, агенту МОССАДа. Он раскрыл одну из моих операций. Я вынужден был его устранить. Его машину взорвали. Он взорвал, – Имбирцев кивнул на верзилу, стоявшего поодаль, положившего огромные ладони на пах. – Я делаю вам предложение возглавить «иранский проект». Мне нужна защита и консультация. Чтобы не случился «русский ирангейт», как говорит генерал Чичагов. Вот моя визитная карточка. Я дам вам мобильный телефон. – Имбирцев извлек маленькую золотую ручку и писал на визитке номер телефона. На карточке радужно мерцала голографическая эмблема, словно крохотное перо павлина. И пока он писал, Белосельцев запомнил и несколько раз повторил: «Кугель, агент МОССАДа». – Я был рад познакомиться. Не требую сиюминутного ответа. Вы знаете, как меня отыскать, – он передал Белосельцеву карточку, давая понять, что их встреча закончена. Верзила проводил его к выходу, посадил в просторный, как шкаф, «мерседес», и молчаливый шофер помчал его среди многоцветных сугробов, сквозь радужную росу, опадавшую с огромного павлиньего пера.

Он вернулся домой, в кабинет с развешанной коллекцией бабочек. Стоял утомленно, разглядывая мертвенные нарядные батальоны, вооруженные синей сталью иголок. Время, в котором он пребывал, расщепилось, и одна его часть отслоилась тончайшими перепонками бабочек с орнаментом военных дорог, речных переправ, рубежей обороны, увлекала его вспять. Другая часть стремилась вперед за метельные окна, обрекая его на неясное и тревожное будущее. Он отыскал под стеклом данаиду, пойманную в джелалабадском саду, и она, как авиамастка, подхватила его и понесла в исчезнувшее драгоценное время.

Глава вторая

Офицер разведки Белосельцев, приглашенный в кабинет к генералу, слушал его трескучий, распавшийся на сухие волокна голос, смотрел на остроносое больное лицо и старался запомнить не столько слова, сколько сухой дребезжащий звук, в котором, как и во всем его облике, обнаружился убыстряющийся распад, дробление, вторжение инородной, расщепляющей материи. Стены кабинета, обшитые темным дубом, воплощали строгую окаменелую незыблемость. Зеленая настольная лампа была из времен, когда ее зажигала белая властная рука замнаркома. Портрет Дзержинского над головой генерала, написанный маслом, висел с тех пор, когда посетители кабинета носили длинные френчи с красными кубами и ромбами, за окнами, за тяжелыми, на медных кольцах портьерами, шумела иная Москва, светились иные небеса, в которых шли неуклюжие, как бронепоезда, бомбовозы, окруженные жужжащими серебристыми «ястребками», и над розовой площадью, над брусками полков, над ползущими танками проплывало в небе звенящее, в блеске пропеллеров металлическое слово «Сталин».

Стол генерала, с дубовыми углами под зеленым сукном, усеянный кляксами старинных чернил, прожженный горячим пеплом выкуранных полвека назад папирос, был пуст. Несколько белых листков, изрезанных колючими генеральскими письменами, красная картонная папка с агентурными донесениями, свежая, еще не раскрытая черно-белая газета и маленькая синяя ваза из гератского стекла, слюдяная, с потеками, льдистого изумрудно-прозрачного вещества, с таинственным излучением, словно внутри горел немеркнущий светоч, – лампада, зажженная в кабинете чьей-то волшебной рукой. Этот фетиш, изделие гератских стеклодувов, Белосельцев увидел год назад, когда был представлен генералу. С тех пор на докладах и встречах, на совещаниях и во время внезапных вызовов этот зелено-синий, волшебный цвет волновал Белосельцева. Хотелось взять этот хрупкий сосуд, поднести к глазам, посмотреть сквозь него на окно, на зажженную лампу, на лицо генерала.

– Теперь, когда мы оговорили формальности, попробую объяснить, почему я тебя посылаю. После того как из Кабула вернулась наша главная аналитическая группа и подготовлен общий отчет, ты поедешь отдельно, в режиме «свободного поиска», и привезешь информацию, которой не будет в отчете. Ты привезешь не факты, не сведения, не вскрытые взаимодействия и связи, – ты привезешь впечатления. В них, полученных с помощью интуиции и образного сознания, будет заключаться ответ – предстоит ли нам крупномасштабная азиатская война, или Афганистан – лишь локальное приложение сил, как это было в Венгрии, Чехословакии и на китайской границе. Я давно оценил твой ум, твоё кропотливое усердие, но я оценил также редкое свойство, которым ты обладаешь. Которым когда-то обладал и я. Ты мыслишь образами, системами образов, а это и есть наиболее экономный и целостный способ выражения истины. Настоящая разведка – это поэзия. «Илиада» или «Слово о полку Игореве» – есть сохранившиеся во времени отчеты военных разведчиков. Ты возмешь себе «журналистскую легенду». Не обременяй себя шифрограммами в Центр. Резидент оповещен о твоих маршрутах. Через месяц ты придешь ко мне в кабинет и положишь на стол три странички отчета. Это и будет твоя афганская «Одиссея». Проиллюстрируем ее вместе миниатюрами из «Бабур-намэ»!.. –

генерал засмеялся, и смех его коричневых губ напоминал хруст кофейных зерен, перетираемых ручной кофемолкой.

Офицер разведки капитан Белосельцев слушал генерала, оказывающего ему знак высшего расположения, посылавшего под пули в страну, где сам генерал провел свою молодость, откуда вывез гератскую голубую лампаду. Теперь она сияла зеленоватой лазурью среди московской зимы.

За огромным холодным окном сыпал снег, заваливал круглую площадь, в центре которой возвышался конический памятник. Белый снежный сугроб на бронзовой фуражке, белые эполеты на бронзовых плечах, и вокруг в гулах, в мерцании стекла и металла – сверхплотный горячий сгусток. Завиток, в самом центре Москвы, где раскручивалась мировая спираль. Волчок, заставлявший кружиться отдаленные пространства и земли. Он, Белосельцев, как крохотный камень, выпущенный из огромной пращи, полетит с этой площади в азиатскую даль, где сверкает лазурь минаретов.

– Мы начали афганский поход с бельмами, вслепую. Наши политики не знают Востока, военные не знают Востока, разведка не знает Востока. Мы готовились воевать на европейском театре, брать Рим, Париж и Мадрид, полагая, что Самарканд и Бухара – это и есть Восток, а все, что южнее Амударьи, спит непробудным сном. Но Восток проснулся. Мы въехали туда на танках, но война в горах требует снайперских винтовок. Мы понесли идеологию туда, где властвует религия. Мы предлагаем культуру тем, кто ценит обычаи и заповеди. Русская школа разведки великолепно знала Восток, но последние ее представители были изгнаны из разведки после расстрела Берии. Я – лишь недоучка, лишенный учителей. Человек, обделенный мистическим опытом, не сможет понять Восток. Мне казалось, я обладал мистическим опытом. Мне кажется, и ты обладаешь. Русская душа, измученная западной мыслью, стремится на Восток, мечтает о Востоке. Лермонтов в бурке с газырями на кахетинском жеребце мчался на Восток. Верещагин с мольбертом надевал тюбетейку, рисовал гробницу Тимура. Я наматывал чалму, кутался в накидку, сидел в чайхане на рынках Кандагара, Герата, Гордеза. Поезжай на Восток, посмотри на него непредвзято, любящими глазами. Вернись и расскажи, что увидел...

Белосельцев, в генеральском кабинете, у стола, сбитого из кубов и цилиндров, напоминающего мавзолей или здание «Днепрогэса», глядел на белое, в падающих хлопьях окно и чувствовал дыхание Востока. Горячий солнечный ветер, вылетающий из обожженных глиняных губ. Голубой сладкий дым, в котором туманятся изразцовые дворцы и мечети. Кусты чайных роз, обрызганные алмазными каплями. Огненно-черные взгляды мужчин из-под пышных белых тюрбанов. Укутанные в шелковую паранджу розовые, как лилии, женщины.

Лишь дважды за время службы он был на Востоке, в Пакистане и Турции. Запомнил, как сладкий обморок, рынок в Равалпинди. Мессиво золота, шелка, заваленные плодами прилавки. Рокот и шарканье клубящейся несчетной толпы. Утренний Босфор был синий, густой. В проливе, оставляя стеклянный след, плыл белый корабль. Первый луч солнца краснел на минаретах Софии.

Теперь его поездка в Кабул обещала быть долгой. Уже был собран дорожный баул. Заряжен цветными слайдами аппарат. Марлевый сачок – бабочки, его тайная страсть, – был уложен на дно баула. Его фарси, не находивший применения в Москве, тревожил гортань и язык, как вкус перезрелого граната. Скоро он расцелует на прощание с матерью, и сияющая махина, заглатывая турбинами голубой студень неба, унесет его на Восток.

– У меня были «легенды» дервиша, торговца опиумом, рыночного менялы. Я разведывал танковые проходы в горах, на случай прорыва в Индию через Джелалабад. Брал пробы фуражного зерна для нашей кавалерии в районе Хоста. Исследовал заболевания гепатитом и проказой под Кандагаром. Промерял броды через реку Герат для артиллерии и пехоты. Мы всерьез готовились выйти к «теплым морям». Сталин утвердил разведывательную директиву. У меня одно ножевое и два пулевых ранения, полученные во время афганской разведоперации. После

Сталина и Тегерана мы охладели к Востоку. И жестоко за это заплатим. У меня есть мечта: перед смертью побывать в Бамиане, лечь на желтую горячую землю и увидеть, как в красной горе улыбается огромный, вырезанный из песчаника Будда. Верблюды пьют из арыка, пускают сквозь рыжие зубы серебряные пузыри...

Белосельцев видел, как смертельно болен генерал. Казалось, в его остроносом лице, в тоскующих темных глазах, в голом коричневом черепе завелись невидимые муравьи. Копышата, точат, роют крохотные пещеры, превращая генерала в труху. И скоро его не станет. Он вернется к своему тотемному зверю, превратится в смуглую бабочку, обитающую на горячих осыпях Гиндукуша, на каменной скале Бамиана. И, быть может, он, Белосельцев, оказавшись в афганском ущелье, взмахнет сачком над жарким откосом, над крохотной цветущей полынькой, и в прозрачной кисее затрепещет, забьется резными крыльями пойманный в сачок генерал.

– Введение войск – стратегическая ошибка. Мы подготовили вариант операции, исключавшей ввод войск. Мы предлагали ограничить наши действия районом Кабула. Сделать ставку не на наивного мечтательного Тараки, похожего на детского сказочника, а на блестящего волевого Амина, которого поддерживала армия. Мы предлагали опираться на простонародное крыло партии «Хальк», которое работало в деревне, воевало на фронтах. И отдалиться от крыла «Парчам», состоявшего из городской интеллигенции и профессуры, умевшей говорить с трибун и не знавшей устройство «Калашникова». Политбюро отвергло наш план. Мы убили Амина и ввели дивизии. Армия вторглась в районы пуштунских племен, расшевелила дремлющий муравейник. В несметном количестве эти муравьи выползут из своих убежищ, из своих песчаных нор и горных пещер и, быть может, доползут до Ташкента. Я хочу, чтобы ты среди патетических речей и наивных иллюзий разглядел катастрофу. Допущенные под Кабулом ошибки нам придется исправлять под Москвой...

Белосельцев, офицер советской разведки, не понимал генерала. Он верил в незыблемость и мощь государства, которому верой служил. Рассматривал мир, как арену соперничества. Как театр возможной глобальной войны, где страны и континенты, океаны и дно морей содержали уран и нефть, разделялись на военные блоки и связывались подлетным временем баллистических и крылатых ракет. Афганистан, куда его направляла разведка, был объектом соперничества. Американские авианосцы в Персидском заливе, осуществив массовый взлет авиации, через полчаса могли бомбить нефтяные поля Сибири. Советские штурмовики с аэродрома Кандагара через десять минут после взлета могли топить авианосцы в заливе. Генерал говорил о катастрофе, о совершенных непоправимых ошибках, но прочность и мощь страны, несокрушимость системы позволяли исправить ошибки, выдержать перекосы в политике. Крымский мост над Москвой-рекой был спроектирован с пятикратным запасом прочности. С таким же запасом был спроектирован Советский Союз. Белосельцев не понимал генерала, сострадал ему. Генерал уменьшался и таял, распадался на множество мелких, не связанных друг с другом частиц. Был готов исчезнуть. А он, Белосельцев, в своей силе и молодости наращивал присутствие в мире, расширял над ним свою власть. Еще немного, и на мощной советской машине перелетит в другую часть света, которая тоже станет советской.

– Мы, аналитики, знаем больше, чем все остальные. У меня предчувствие огромной беды. Не той, в Кабуле, которую ты обнаружишь. А этой, в Москве, которая никому не видна. Разбитый кувшин с молоком летит со стола, и пока он летит, осколки, прилипая друг к другу, сохраняют форму сосуда. И молоко в разбитом кувшине сохраняет форму сосуда. Но едва кувшин коснется пола, и он превращается в груды бесформенных черепков среди белой бесформенной лужи. Наше общество, как красивый глазированный, расписанный орнаментами кувшин, в бесчисленных, едва различимых трещинах. Оно падает, еще не наткнувшись на преграду. Афганистан – преграда, на которую натолкнется Советский Союз. Не умом, а всей своей биологией я чувствую начало распада. Мои чуткие клетки уловили это начало, отторгаются одна

от другой, ненавидят одна другую, и я весь распадаюсь. Ты молод, в цветении сил. Тебе многое дано увидеть и многое дано пережить. Ты будешь свидетелем больших потрясений...

Белосельцев изумленно слушал. Генерал в своем державном кабинете, среди телефонов кремлевской связи, под недремлющим оком Дзержинского, награждал его признаниями так, словно завтра умрет. Напутствовал его не в Кабул, а в далекое грозное будущее, где его, генерала, не будет. Белосельцев вдруг испытал странное помрачение, затмившее снежное большое окно, словно им в одночасье была прожита вся огромная предстоящая жизнь. Он оказался у другого ее конца, перед самым ее завершением. Старый, одинокий, бессильный, перенесший утраты и тяготы, сидит в сумраке деревенской избы, без огня, без тепла, посреди непроглядной выюги, и ждет, когда из метели протянутся к нему две белые женские руки, унесут его из этого мира.

Видение налетело и кануло. Он снова был в кабинете генерала разведки. Молчали телефоны с металлическими гербами страны. Драгоценно сияла голубая гератская ваза. Генерал смотрел на нее, как в таинственный стеклянный прибор, сквозь который видел жаркие кишлаки, смуглолицых людей, многолюдные моления и торжища, и он, молодой разведчик, под белой чалмой и накидкой, смотрит на солнечный брод, по которому в брызгах и пене, в блеске винтовок и сабель проходит военная конница.

– Разведка – это способ познания. Познание имеет предел. За этим пределом – неведомое. Неведомое в философии именуется истиной. Неведомое в религии именуется Богом. Монахи разработали систему познания Бога – аскеза, молитвенное молчание, неуклонное, с падениями и взлетами, восхождение. Художники и философы, приближаясь к порогу познания, творят многообразие стилей и школ, стараются, каждый по-своему, приблизиться к истине. Разведчик – это художник, монах и философ. После изнурительных кропотливых трудов его посещают прозрения. Сквозь формулу деления урана, или данные о полете ракет, или дислокацию гарнизонов врага ему открывается истина. Ты отправляешься на Восток, где понимание приходит как чудо. Твое оружие – ум и душа. Не торопись хвататься за автомат, не спеши вынимать из кобуры «Макарова». Постарайся пережить откровение. Чувствуй и думай так, чтобы тебя посетило чудо...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.